ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[5] 2011

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

ВСЕ СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ...

Основан в 1955 году

[5]
2011

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

Все счастливые семьи...

3 Антониу Лобу Антунеш *А мне что делать, когда все горит?* Фрагменты романа. Перевод с португальского Екатерины Хованович

62 Дагоберто Гилб *Дядя Рок.* Рассказ. Перевод с английского А. Светлова

70 Петер Фаркаш *Восемь минут.* Повесть. Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева

128 Фруде Грюттен *Песни пчелиного улья.* Главы из романа. Перевод с норвежского Веры Дьяконовой

142 Тереза Боучкова *Год петуха.* Фрагмент романа. Перевод с чешского Нины Фальковской. Послесловие Инны Безруковой

197 Маргарет Этвуд *О сиротах.* Миниатюра. Перевод с английского Т. Казавчинской

Из семейного архива

201 Тадеуш Ружевич *Наш старший брат.* Фрагменты книги. Перевод с польского и вступление К. Старосельской

Документальная проза

228 Роса Монтеро *Истории страсти.* Главы из книги. Перевод с испанского и вступление Марины Киеня

№

256 Анатолий Вишневский *"Семья эволюирует..."*

Статьи, эссе

265 Светлана Силакова *Новые слова для новой семьи*

Наши интервью

269 *Новые детские книги – мосты между взрослыми и детьми.* С Ириной Балахоновой, главным редактором издательства "Самокат", беседует Наталья Мавлевич

БиблиофИЛ

275 *Среди книг* с Верой Калмыковой

278 *У монитора* со Светланой Силаковой

Авторы номера

283

© "Иностранная литература", 2011

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

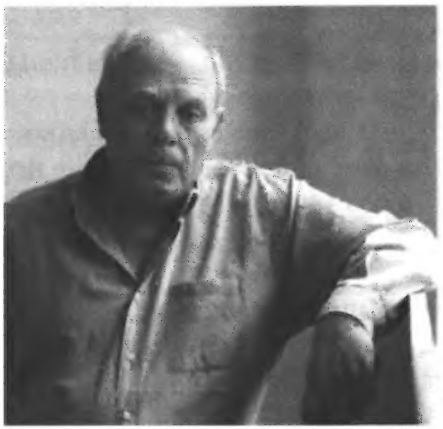
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Ю. А. Ларикова
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
Л. Г. Харлап
С. С. Шабуцкий

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и
Фонда "Фонд Ельцина"

Антониу Лобу Антунеш



А мне что делать, когда все горит?

Фрагменты романа

Перевод с португальского Екатерины Хованович

Посвящается
Марисе Бланко за ее беспощадную дружбу

моему кузену Жузе Марии Лобу Антунешу Нолашку, сделавшему все для того, чтобы жизнь казалась мне медом

а также всем нам до боли родному и близкому поэту Франсишку Са де Миранде, который не поленился дойти до нас из шестнадцатого столетия, чтобы подарить название этой книге.

Я — ты, и ты — Я, и где ты, там и Я, и Я во всем, и где бы ты ни пожелал, собираешь ты Меня и, собирая Меня, собираешь и себя.

Св. Епифаний Кипрский
Панарий, или против ересей. 26:3

Я был уверен, что вижу все тот же вчерашний или позавчерашний сон
вчерашний
так что просыпаться не стал, просто думал во сне <...>

© 2001, António Lobo Antunes e Publicações Dom Quixote
© Екатерина Хованович. Перевод, 2011

я чувствовал, в какой позе тело лежит на кровати, как нога больно придавила складку на простыне, а подушка

как всегда

провалилась в щель между матрасом и стеной, а пальцы

сами по себе, без моего участия

ищут ее, хватают, тащат ее назад, складывают вдвое под щекой, а щека склоняется на нее, какая часть меня — подушка, какая — щека, руки обнимают наволочку, а я наблюдая за ними

— Они мои

потрясенный тем, что они принадлежат мне, замечаю что один из платанов изгороди, смутная клякса на стекле ночью, отчетливый сейчас, входит в сон, приподнимая мне голову

только голову, ведь складка простыни все еще давит

и направляет мой взгляд в сторону окна, в сторону кабинета, где доктор то ли выписывает справку то ли составляет отчет

<...>

— Как зовут твою мать?

моя мать Жудит мой отец Карлуш почти ничего не чувствуют очень трудно помочь им снова почувствовать что бы то ни было

у меня нет матери, у меня две матери и Руй во втором гробу в церкви, люди на длинных скамьях, старичок с пуделем и я хохочущий прислонившись к бронзовым ручкам гроба, старый костюм мужа доны Элены с пастилками от кашля в кармане и пустой коробочкой от зубочисток

нет, одна-единственная зубочистка тук-тук

он был мне короток, они чистили его щеткой, капали мне на голову бриллиантин, отступали на шаг и отклонялись назад чтобы оценить как я выгляжу, довольные, забыв о похоронах, ровняли мне пробор

— Он тебе в самый раз надень его

меня поставили перед трюмо, муж доны Элены обошел вокруг, осмотрел меня, я отвернулся и спросил молча

— Хотите быть моим отцом?

почти ничего не чувствуют очень трудно помочь им снова почувствовать что бы то ни было

а он не ответил, он расправлял мне пиджак на плечах, он знал латинские названия деревьев, гладил стволы и деревья думаю отзывались ему с благодарностью

— Сеньор Коусейру

в армии он служил на Тимóре где получил пулю в бедро

— Японцы малыш день за днем в воде по горло на рисовых плантациях рядом с буйволами

не верю

когда он приходил за мной в полицейский участок, куда меня заносила волна героина, и каждая кишка дрейфовала по отдельности, я слышал стук его трости задолго до того как он войдет, я знал точно в какой момент он вытрет затылок платком, то и дело появлявшимся из кармана, скомканным от смущения, трость нащупывала меня между корней кустарника, между буйволиных рогов, среди трупов туземцев

— Японцы малыш

он совал платок в карман и помогал мне собрать в кучу желудок, легкое, руку, которая кажется собралась сделать благодарственный жест и невзначай зависла под потолком <...>

он здоровался с деревьями, вспоминал про японцев, он показал мне мундир капрала, выцветший от сырости на рисовых полях, три дня и три ночи по шею в воде и в конце концов им надоело ждать малыш, он смотрел на меня как мама смотрела на отца

— И ты это надеваешь Карлуш?

он не показывал, бедняга, как я его разочаровал, когда лампа светила ему в лицо у него не было зрачков, морщины сверху и снизу а вместо зрачков светящиеся кружки, дона Элена

обручальное кольцо доктора постукивало по колпачку авторучки

— Как зовут твою мать?

и никакой голубь не раскачивался на платане

<...>

моего отца зовут сеньор Коусейру, моя мать дона Элена, клоун, которого Руй считал моим отцом, мне уж точно не отец, я ничего о нем не знаю, я не знаком с ним, мой отец уехал или у меня вообще его не было или ладно пусть он растворился в воздухе и материализовался через несколько лет чтобы я мог прислониться к его гробу и хохотать, старичок с пуделем весь исходит негодованием

— Боже мой

клоун который мне не отец перебирая маникюрные наборы, бутылочки с силиконом, ватки

— Где конверт с деньгами Руй?

шаря на полке под блузками, отодвигая ленты, шляпки, мантильи, мой отец настоящий мужчина, он знает все о японцах, помнит латинские названия деревьев, он убивал буйволов на Тиморе, его зовут сеньор Коусейру

<...>

мы передавали деньги в окошечко никого не видя, ждали, потом забирали газету, на углу сторожил мулат складывая и раскрывая детский перочинный ножик, ладони мягче моих, розовые с черными линиями, я думал будет страшно но не было то есть было не так страшно как я думал, проверить по-

рошок может это мел, может известка, как это делается Руй, покажи как это делается, муж моего

нет он не муж моего отца, он муж клоуна, они спали в одной постели значит поженились, до него были другие, Алси́деш, Фа́уштy

клоун

— Знакомься это Алсидеш знакомься это Фаушту

но те с ним по ночам не спали, уходили домой, Фаушту швырнул его на китайский сундук папа сел, согнулся, застонал

слушай, сказал папа, я был неправ

— Вонючий педик

сорвал ему с шеи цепочку, сунул себе в штаны а клоун

— Прости

<...>

* * *

Когда я был маленьким они выставляли меня за дверь, поближе к лошадям и морю а сами оставались в доме так что волны гасили их голоса, и слава Богу я мог на час или на два забыть о них, папа у холодильника на котором стоял Белоснежкин гном все вертел и вертел гнома не видя его, а мама все спрашивала и спрашивала и шепот ее уносили сосны, и обязательно надо было достучаться до них колотя ладонями по шкафу или ломая машину с деревянными колесами как только мама

— Ну почему Карлуш?

и

— Ну почему Карлуш?

звучало не в гостиной, а перебегало с дерева на дерево по хвое вместе с пятнами света, Белоснежкин гном сам по себе вправо-влево на холодильнике вопрос мамы но без мамы

— Ну почему Карлуш?

тот же вопрос и сегодня

и вчера

тот же вопрос и сегодня в больнице пробегает вдоль ограды по платанам, посмотришь на стволы — вопрос в каждой ветке, слог за слогом, колотить ладонями по шкафу <...>

— Ну почему Карлуш?

невеста схватила Белоснежкиного гнома чтобы он перестал плясать, объяснить психологу который дал мне бумагу и карандаш что это не арбуз и не что-то вроде

— Это не арбуз и не что-то вроде

это Белоснежкин гном которого невеста отодвигает подальше

— Перестань его вертеть ты мне действуешь на нервы

она не разрешала мужу трогать, вот это муж, а это сын, а это машина с деревянными колесами, игрушка сына, у меня была большая машина, если вы не велите платанам замолчать я уйду <...>

там откуда не слышны голоса, душ тоже во дворе и всю ночь капли на цемент, лужица где осы в августе, открывается кран и мыло кладется на подоконник, то есть у моих родителей мыло лежало на подоконнике, у меня оно выдерживало одну секунду, а потом, ведь я был маленький и меня можно было не слушаться, соскальзывало на пол, схватить его скорее раньше чем осы, по воскресеньям они влетали в комнату через прореху в сетке натянутой на окно от которой волны становились в клеточку, а у папы кроме мыла

дезодорант, одеколон, мамин крем потихоньку, я подглядывал и папа переставал мылиться и смотрел на меня, что-то особенное в нарисованном человеке, не в папе, робость, стыд, страх как будто, психолог — овальную линию и стрелку, крем на ягодицах, на плечах, на груди

— Это твой отец?

<...>

сеньор Коусейру помог мне собрать чемодан, белье, тапочки, афиша где папа в вечернем платье о которой я и забыл что взял ее с собой сюда

— Ну почему Карлуш?

— Нет

— Ну почему папа?

сеньор Коусейру быстро свернул ее и засунул между рубашками, если я

— Ну почему папа?

папа нем как рыба, мне казалось, что он заговорит, но он нем

вы поговорите со мной папа скажите мне

я просыпался в Бику-да-Арейя от скрипа пружинного матраса за перегородкой, а потом мамина нога

потихоньку

ложилась на другую сонную ногу, бесконечная пауза и в это время лошади

море

сонная нога бесшумно отодвигалась, доска перегородки резко дергалась, голос моего отца

— Нет

— Ну почему папа?

и лошади и море или не море и не лошади, а шарканье маминых тапочек по полу после того, как пружины проскрипели снова, с досадой, я заметил, что она ушиблась о шкаф, мы

все время ушибались о шкаф, наш дом то и дело на нас натыкался, поначалу удивленно, а потом и со злобой, обе руки хватались за колено, но прежде вырывалось

— У черт!

я слышал, как она спустилась с крыльца, руки на створке ворот, петли скрипят, ворота ходят туда-сюда, ни луны ни сосен, только чешуя прибоя, я заметил, что она странно дышит, ночная рубашка как-то съежилась, что-то белое колыхалось в воздухе и тогда я

— Не плачьте мама

это не море и не лошади, нос сморкается в рукав, руки обнимают и в то же время отталкивают меня

— Иди в дом простудишься дурашка

в конце концов все же обнимают, рубашка опять колышется, тело у нее такое теплое, чужие слезы становятся моими, не плачь Паулу не плачь, если бы дона Элена взяла меня на руки и унесла, если бы сеньор Коусейру поговорил со мной о Тиморе, если бы меня кормили с ложки джемом из гуаявы <...>

их шкаф никогда меня не ушибал, большое добродушное зеркало, в которое помещалась вся комната, а напротив другое зеркало на ножках, и доны Элены три и меня трое и сеньоров Коусейру трое, трое капралов на рисовых полях Тимора, не убирайте палец с моего лба, мне он не мешает, мне приятно, а дона Элена

— Смотри не напугай его

она разрешала мне дергать ее за сережки, менять местами шпильки в волосах, когда меня положили в больницу, врач — сеньору Коусейру, пока пожарные развязывали мне руки, колики оттого что организм требует героина, отец умер а меня разбирает смех

смех

объяснить им, что если бы я не смеялся, то не мог бы продолжать смеяться

— Мне ведь надо смеяться вы понимаете что мне надо смеяться доктор?

врач — сеньору Коусейру

— Это ваш внук?

Паулу облокотившись о гроб собственного отца какой ужас о гроб собственного отца то ли обнимая его то ли отталк

на крыше машины "скорой помощи" загоралась и гасла мигалка так что волны шли от стены к стене

— Паулу

я стащил деньги у доны Элены, и дона Элена ни слова полиции, взломал шкатулку для украшений и ни одной завалящей сережки, только шпильки и всякая металлическая ме-

лочь, чтобы гремела и было слышно, если ее возьмут, просил в долг от ее имени в бакалее, бакалейщик схватился за метлу

не ударил

— Убирайся с глаз жулик

проделать новые дырки в ремне: брюки широки, а дона Элена — супчик, вино с хинином, микстуру

— Вот тебе укрепляющее Паулу

положите мне палец на лоб сеньор Коусейру, пока он у меня на лбу колики стихают, сколько отметин от иглы на руках, не руки а ветки, я куст дона Элена, десны становятся дряблыми, я губой прикрываю дырки на месте выпавших зубов, пепельница на столе у доктора в отчаянии, в нетерпении

— Ну разбей же меня

каждый раз как мигалка на крыше "скорой помощи" рождает ее из небытия, я продал настенные часы а дона Элена ни звука, и сеньор Коусейру

— Это ваш внук?

ни звука, одинокий гвоздь как свидетель обвинения, левее второй гвоздь, трость казалось собралась шевельнуться, беззлобно

ну ради вашего же здоровья выйдите из себя, накричите, рассердитесь на меня <...>

дона Элена на жестком стуле обитом вельветом из-за больного позвоночника, иногда я заставал ее на кухне и она наклеивала пластырь улыбки поверх гримасы боли

— Пройдет

улыбка маловата: уголки губ выглядывали из-под нее, когда ей казалось, что я ушел, улыбка исчезала, она делала шаг-другой опираясь на спинку скамьи

тостер тоже можно унести, и мясорубку, явиться к ним и указывая на гвоздь

— Это не я

нет

стрелиция в неразбитом кувшине, гвоздики

— Это я гоните меня из дому это я

два тюльпана

нет, изобразить возмущение, протянуть им пустые ладони в доказательство невиновности

— Меня ведь сегодня и дома не было как же я мог это сделать?

два тюльпана и герань, не отвечайте, не спорьте со мной пожалуйста, сеньор Коусейру знал латинские названия деревьев, он щекотал деревьям стволы и они отзывались, до чего же огромный гвоздь, а если попросить у того парня из Кабо-Верде, чтобы вернул часы

— Одолжите мне часы на недельку я их вам обязательно принесу

детский ножик раскрывается и складывается, сандалия пихает меня в бок

— Ты еще тут?

лабиринт переулков и все ведут в тупик, старые стены, щелястые окошки, но где же город, какой-то памятник, но чей памятник и на какой площади, по ночам папа, клоун в парике, на высоких каблуках в вечернем платье, искал Руя, поднимал его с земли, а меня будто и нет вовсе

— Руй

Руй из грязной лужи

— Говенный педик

а клоун, отец, вытирал ему ссадину, пачкая прозрачный палантин, це

я разве говорю целовал, мама?

целовал его, оба

простите

в одной постели, папа в платке, а меня будто и нет на свете, укладывал Руя в машину, укутывал одеялом, фары позвякивали на ухабах, а я оставался один в Ше́лаш

<...>

на Принсипе-Реал темный пруд, деревья чьи названия знает сеньор Коусейру а я нет, ключ в замочной скважине изнутри так что мне не войти, машины-мусоросборщики собирают контейнеры с мусором, машины с мигалкой

с двумя

одна на крыше

только не синие а желтые

они то рисуют меня то стирают, то убегают, то возвращаются

и я то убегал то возвращался

<...>

свет на лестничной клетке на улице А́нжуш, прежде чем я ступил на половик, дона Элена, спотыкающаяся, бессонная, облегченно вздыхающая, довольная

— Сынок

что видит меня, а я ненавижу ее и думаю только о том, как стащить еще и пылесос, бронзовую пепельницу, обручальные кольца свекра и свекрови на ватной подушечке, залезть в ящик с инструментами

— Вы что не видите что я терпеть вас не могу меня тошнит от вас я вас презираю?

и колотить молотком радио, по которому она слушала вечерний Розарий, повторяя за священником слова не выпус-

кая из рук вязания, молясь за меня, сеньор Коусейру с веранды, откуда плывет запах липового чая

— Это наш мальчик Элена?

главное не слышать стука трости, он пожалеет если он с тростью, к счастью только шарканье домашних туфель по полу и старческий кашель, выкинуть вон чайник

все сжечь, все переломать, дона Элена

— Паулу

не сынок

— Паулу

я не ее сын, я никогда не был ее сыном, а у моего отца ключ в замочной скважине так что мне не войти, искусственная шиншилла на проволочных плечиках, муслин, веера, Руй и клоун играют в шашки и им на меня плевать, если дона Элена осмелится

— Сынок

разобью вдребезги супницу

— Вы мне не мать

сначала жар, потом холод, потом желание разбиться вдребезги самому, не знаю что значит умереть, но избавьте меня от тела, ускользающий смысл разговоров, пугала в халатах, приставляющие мне таз к груди

— Проблюйся

<...>

вороны не только на оконном стекле, вороны на кедре, на деревьях чьи названия знал сеньор Коусейру, вороны не плачьте мама, вороны иди в дом простудишься балда, вороны волны, вороны лошади, вороны больничные санитары, вороны врачи велевшие привязать меня к кровати

— Это ваш внук?

трость сеньора Коусейру сначала выписывает смутные арабески, а потом замахивается на японцев

— Нет, он мне не внук, он мне

если он назовет меня сыном тут же разобью вдребезги супницу

вороны четырежды семь, пятью семь, шестью семь, опять угодил за парту придурок, колики, рвота, холод в животе, ложка, спичка, не давайте мне лекарств и я не стану ломать машину с деревянными колесами, он мне не дедушка он мой отец, как теперь его успокоить, мой отец, клоун

— *Ну почему Карлуш?*

в парике с губной помадой вылезающей за края губ, бретельки платья сползли с плеч, в открытое окно

штора, люстра, оловянный каркас и несколько лампочек по кругу, три из них зажжены

сколько будет семью три?

остальные перегорели

— Возвращайся к доне Элене не буди соседей

голос совсем не похожий на тот, что пел со сцены, украшения блестящие только в свете софитов, ванны не было, умывальник из мраморной крошки и запах испанских духов вместо кошачьей вони, воду нагревали в кастрюлях, потом несли ее покачиваясь в облаке пара, держа тряпичными ухватками за обе ручки, клоун

— Я обожглась!

Руй лежа тянется за газетой

— Ты обожглась дорогая?

ярко-красное пятно покрывается волдырями, папа в поисках крема от ожогов, а под руки попадаются то лаванда, то ацетон, то портреты его — рыжей, его — блондинки, его — севильской танцовщицы с огромными кастаньетами и в пышной вуали, Руй, перелистывая страницу, проверяя на месте ли сигареты

— Ты не можешь найти крем дорогая?

<...>

* * *

Мне нравилось бывать на Принсипе-Реал по воскресеньям из-за шляпок, туфель, цилиндров с атласными лентами спадающими на спину, из-за шлемов с виду железных а на самом деле фетровых украшенных голубыми плюмажами, в Бику-да-Арейя был только шкаф с зеркалом в котором отражение ушибалось раньше чем мы, нам не больно но мы осматриваем колено потому что отражение его осматривает и мажем йодом видя что отражение мажет свое, почти пустой шкаф, какие-то тряпочки, несколько поясов, несколько шерстяных кофт, а дома у папы женская одежда занимала всю кухню, кладовку, сыпалась на диван раскинув рукава, оробевшая дона Элена раздвигая паутину из густого аромата духов ставила меня на пол, Руй

нет, тогда еще не Руй, Лусиáну, Тадéу

мелькал где-то на заднем плане

кажется голышом

и ни тебе доброго утра ни здрасьте, помню как некий сеньор с проседью косясь на телефон засовывал под лампу бумажные деньги, папа

— Ты уверен, что твоя жена ничего не знает?

портмоне выныривает из кармана пиджака, две бумажки, три бумажки, папа успокаивает гостя накрывая телефон ладонью

— Не знает

сеньор Коусейру отчего-то смущенный когда я возвращался на улицу Анжуш хватал меня и отрывал на сантиметр или два от пола <...>

моя мать Жудит мой отец Карлуш я Паулу

моя мать полная дама, мой отец мужчина с тростью рисующий линии на клумбе и стирающий их, если бы я тогда догадался о человечках из газеты, о японцах, о деревьях <...>

колотить руками по дверце шкафа

<...>

* * *

Все потому что иначе я не умею, смеюсь когда должно быть не до смеха, издеваюсь над теми кто разочарован во мне

— Паулу

я мучил их потому что переживал за них и наказывал себя за это тем, что мучил их еще сильнее, хотел остановиться и не мог, пытался сказать

— Я тревожусь за вас значит это не я

сказать не так, не словами, показать как я переживаю оттого что заставляю их страдать не меньше чем страдаю сам

я не страдаю

ладно ты не страдаешь главное успокойся Паулу

я отталкивал дону Элену которая

— Сынок

презирая ее за то она волнуется за меня и желая

чтобы она волновалась за меня, когда я толкал ее это означало

— Мне нужно ваше внимание

и тем более означало

— Мне нужно ваше внимание

чем меньше она плакала и жаловалась

плачьте, ругайтесь, заставьте меня прекратить это безобразие, жалуйтесь на меня, почему вы не отказались жить со мной под одной крышей как моя мать, отец, брат моего отца, другие, те что оправдывались

— Нет времени

старались отделаться

— Хватит надоедать

гнали меня прочь

— Ты мне здесь не нужен слышишь ты что не понял ты мне здесь не нужен

а я спускаясь по лестнице

— Простите

ну а дона Элена не оправдывалась, не старалась отделаться, не гнала меня прочь, разрешала засыпать при свете, пыталась взять меня на руки и отнести в спальню, а я

— Отстаньте

сеньор Коусейру

— У тебя же артрит Элена

тайком давала мне денег, лгала из-за меня в банке

— Тут пришло платежное поручение сеньора

а она

— Почерк возможно не похож но чек подписала я

и так из-за меня расстраивалась что клерк проникался к ней жалостью, просила кредит чтобы оплатить счет, управляющий тихо в мою сторону

— Мерзавец

возьмите управляющего вместо меня к себе домой дона Элена, кормите его моими бульонами, моими бифштексами, поите моим вином с хинином, управляющий все тише и тише, выкручивая мне руку

— Если бы не старушка сидеть бы тебе давным-давно за решеткой

дочь умершая еще до моего рождения, челка и две тоненькие ножки, сеньор Коусейру придерживал ей седло велосипеда, а теперь велосипед со спущенными шинами ржавел на крытом балконе, я нажал на звонок — жалкий дребезг, шум отодвигающегося кресла, трость сеньора Коусейру скачет счастливым галопом

— Ноэмия

но в седле никого, улыбка превращается во что-то такое что вызвало бы у меня жалость, если бы существовало что-то такое что способно вызвать у меня жалость, воскресные прогулки, цирк на Пасху, хомячок

клетка хомячка на шкафу

сеньор Коусейру вынимает платок из кармана, убеждается что платок на месте, сует его обратно, то есть пытается засунуть не попадая в карман, дар речи возвращается не сразу

что толку знать латинские названия деревьев?

— Никогда больше этого не трогай

трость словно побитая бредет обратно к креслу, черточки карандашом на косяке входной двери, метр десять, метр двадцать, метр двадцать пять и все, выше метра двадцати пяти — ничего кроме менингита

— Не может быть

обеты, молитвы, челка на подушке гроба, я снова нажал на звонок, кресло — ни звука, ну вот теперь рассказывайте мне о своих японцах если сможете

я поворачивал фотографию Ноэмии лицом к стене, роскошная этикетка у бедняги, Фото Ауреа, если бы я мог пожалеть кого-нибудь

не могу

услышав их шаги на лестнице по воскресеньям когда они возвращались с кладбища, я садился в седло и жал и жал на звонок, дона Элена снимала траур и будто ничего не слыша надевала кухонный фартук, сеньор Коусейру поправлял фотографию на вязаной круглой салфетке, платок свисал у него из кармана а в голове все бежал и бежал хомячок крутя колесо клетки, рисунок гуашью, желтое солнце с длинными ресницами

Вручает этот пейзаж лучшему папе на свете дочь и большая подруга Ноэмия Коусейру Маркеш

найти гуашь в ящике стола, перекрученные тюбики, облезлая кисточка, я тренировался на счетах за газ, начал с посвящения

Вручает этот пейзаж лучшему опекуну на свете воспитанник и большой друг Паулу Антýнеш Лима

но Лима наползало на Антунеш, облако заслоняло лучшего опекуна на свете а солнце выходило кривое, овальное, лучи вылезали за края счета за газ и продолжались на скатерти, порвать и облака и солнце и лошадь похожую на мышь

на хомяка

на котором сеньор Коусейру скакал в доспехах и с мечом по рисовым полям Тимора, порвать мазню и швырнуть в кресло

— Мне эта дрянь не нужна забирайте

запереться на балконе и крутить педали ржавого велосипеда пока не стемнеет, объехать на нем вокруг света, добраться до Парижа с Ноэмией Коусейру Маркеш на багажнике щекочущей мне спину своей челкой, воскресные прогулки, цирк на Пасху, Поезд-призрак, я бесстрашно засыпаю в темноте держа ее за руку, ты должна дорасти до отметки метр сорок три у входной двери, у меня метр сорок четыре, я громадный, если бы я спросил тебя

— Будешь моей девушкой?

что бы ты ответила, в ее комнату мы не заходили, только дона Элена меняла цветы в кувшине, покрывало белесое от пыли, металлическая сова со стеклянными глазами на изогнутой полочке, в окне унылые здания проспекта Алмиранте Рейша, время от времени как всегда невпопад высказывались церковные колокола, тучные, ученые, рассеянные, выплевывая пригоршню воробьев на площадь, колокола затихали — и ни одного воробья, только челюсти черепичных крыш пережевывают кроны деревьев, сеньор Коусейру глядя на фотографию

— Тебе не кажется что сегодня у нее цвет лица получше?

не знаю где дожидались птицы очередного неурочного боя часов

— А ты знаешь о воробьях Ноэмия что стало с воробьями Ноэмия?

тени и тени укутывают вещи саваном, укутывают саваном тебя, раскрасить все в голубой и розовый и зеленый

в цвета неистраченной гуаши

стащить у папы перстни и подарить их тебе, не обменять на наркотик, а просто подарить тебе, в тот день когда ты умерла во что тебя одели, кто одевал тебя, расскажи мне о гробе, о венках, где ты теперь, дона Элена шинкуя капусту с другого конца квартиры

— Что?

сеньор Коусейру натягивает на ладонь манжету чтобы стереть соринку с рамки

— Я спросил не кажется ли тебе что сегодня вечером у нее цвет лица получше?

синие и розовые и зеленые тюбики в деревянной коробочке вместе с потускневшими монетками и засохшим майским жуком, в другом ящике портреты артисток, браслет из проволоки с художественными завитушками, школьная тетрадь, Диктант: Заповеди блаженства, блаженны нищие духом ибо их есть Царствие Небесное, блаженны изгнанные взаправду ибо их есть Царствие Небесное, не возмущаться когда Руй

— С покойницей гуляешь Паулу

блажен унижающий себя ибо возвысица, проволочный браслет, сердечки, колечки, мы умираем а наши вещи становятся возвышенно-загадочными, браслет решив было исповедаться мне

— Всю жи

раздумывает и падает на тетрадку, Задание на списывание: Моя Родина, моя родина расположена в самой западной точке европы ее берега омываются атлантическим океаном площадь ее составляет восемьдесят девять тысяч квадратных километров и называется она, не обращать внимания на недоуменный вопрос врача

— У тебя оказывается есть подружка Ноэмия почему же ты никогда с ней нигде не бываешь?

дона Элена вытирая руки полотенцем, с обрезками капусты застрявшими в волосах, осыпавшими плечи, подходит к портрету, два осторожных рукава стирают соринку с рамки, устраивают фотографию на овальной салфетке, фотография качается

— Смотри чтоб не упала

палец опять скребет стекло счищая что-то невидимое, дона Элена глядя поверх очков

— Да по-моему цвета и в самом деле поярче

от прокисших роз вода в кувшине становится грязной, один чулок натянут, другой сполз, время стирает нос, брови, левая опущенная рука постепенно сливается с юбкой, скоро и лицо расплывется, сползет и второй чулок а потом

через сколько недель через сколько месяцев?

не останется и чулок, только смутное пятно там где одинокая сандалия из последних сил сопротивлялась неумолимой поступи веков, ее площадь составляет восемьдесят девять тысяч квадратных километров и называется она Португалия, одинокая сандалия, одинокая туфля, ботинок со специальной ортопедической стелькой для улучшения походки а может всего лишь блик от лампы и если смотреть под другим углом он исчезнет и нет ничего, ты не существуешь, тебя не было и нет, врач — сеньору Коусейру

— Он говорит что у него есть невеста по имени Ноэмия вы знаете такую?

пальцы сеньора Коусейру нащупывают платок, как будто платок еще лучшая трость чем трость, платок выползает из кармана, возвращается обратно в карман, та же рука достает второй платок, тоже полотняный, теряется где-то на макушке, сеньор Коусейру — не капрал с Тимора, а шея лишенная туловища, изогнувшаяся чтобы лучше видеть портрет

— Я спросил не кажется ли тебе что сегодня вечером у нее цвет лица получше?

и счастливо улыбаясь устраивается поудобнее в кресле, Сочинение: Моя дочь, вопреки ожиданиям, моя дочь выздоровела, Руй: погоди-погоди что-то я совсем запутался ты что с покойницей что ли встречаешься, той которая умерла еще до твоего рождения Паулу, я меняя иглу в шприце да ты обалдел как это я с ней встречаюсь, если бы я сумел пожалеть сеньора Коусейру но не могу, вот и страдать у меня никак не получается, я только и умею что бить посуду и повторять таблицу умножения на семь, а страдать не умею, трость, диабет, Руй, забыв затянуть шпагат выше локтя, метр двадцать пять говоришь, одиннадцать лет говоришь, а сойка все время сидела тут, а мы ее и не заметили, то ли хвост то ли брюшко мелькнуло в ветвях фигового дерева, Руй запусти в нее камнем Паулу

мы думали она улетела, как вдруг опять насмешка на две ноты, Руй ослабил шпагат и ни одной вены, созвездие ранок, запусти в нее камнем Паулу, куском кирпича, комом земли, любым дерьмом, а то эта тварь мне все нервы истрепала, моя комната на Анжуш рядом с комнатой покойной, почти каждую ночь я просыпался мне казалось что она там шевелится, я садился на кровати и прислушивался и только тогда до ме-

ня доходило что это дона Элена, а на следующий день свежие розы в кувшине, купленные на рынке заодно с мясом, помидорами, майораном, не алые, почти розовые, поискать гуашь и раскрасить их в синий цвет, нарисовать солнце на стене и облака и волны Бику-да-Арейя, настоящие волны, большие, сколько раз возвращаясь из Шелаш я видел как сеньор Коусейру держит за руку дону Элену без сил опустившуюся на софу, и не мог выдумать ничего лучшего чем издеваться над ними потому что тревожусь за них, злиться на себя за то что я их терзаю и наказывать себя мучая их еще больше

— У вас никого нет кроме меня ваша дочь умерла

или

— У вас никого нет кроме меня а мне вы противны

или

— Вам бы наверняка хотелось чтобы я умер как та другая парочка дряхлых идиотов

ненавижу вас

нет, не могу вас ненавидеть

ненавижу

притулившись друг к другу в уголке гостиной, они пили чай, они не ужинали, они утешались портретом дочери, пара идиотов, озабоченно разглядывая челку выгорающую под стеклом, тебе не кажется что сегодня вечером у нее цвет лица получше, не утешайтесь, не обольщайтесь, не выдумывайте нет там ни цвета ни лица, молчите уж, завтра вы заберете меня из больницы и прощайте платаны, врач

<...>

моя мать Жудит мой отец Карлуш

как будто я им принадлежу а я им не принадлежу, я не принадлежу никому и ничему кроме парней из Кабо-Верде которые живут в Шелаш, как будто я их сын а я не сын им, как будто я всего лишь табличка с надписью на кладбище а я еще не умер, и не умру, я завтра вернусь на улицу Анжуш сеньор Коусейру, помогите мне донести чемодан из больницы сеньор Коусейру, не давайте им монетку на кофе приятель, не давайте им сигаретку приятель, платаны неподвижны, <...> мама что-то ищет в гостиной, заглядывает под ковер, в наволочку

— Ты деньги видел Паулу?

слышать волны, не слышать ее, чайки на перекладинах моста, идиотская сойка — с трубы на трубу

— Это не я не я

мама шарит в чайнике где в счастливую пору пуговицы, ключи, мелочь, где папа хранил травы в пакетике и готовил отвары, мама уставившись на мое отражение в зеркале

— Ты украл у меня деньги Паулу?

— Это не я не я

— Где мои деньги Паулу

папа никогда не сердился на Руя, а просто сидел разглядывая пустой бумажник, ни о чем не спрашивая, не ругаясь, не угрожая, говорил ты не понимаешь Паулу, я и не прошу чтобы ты понял, говорил оставь его в покое, подрабатывал еще в одном заведении чтобы платить мулатам, не в дискотеке с иностранным названием а в частном доме в Кашиаше, за тюрьмой налево на проселочную дорогу, проехать арку и недостроенные дома, навес у старого вяза, папа в халате, с еще более глубоким вырезом и сильнее накрашенный чем на дискотеках

— Я клоун Паулу

двое или трое мужчин пьют с ним в гостиной, диван обтянутый черной кожей с серебряными ножками с которых облупилось серебро, еще одна артистка из папиной дискотеки с хлыстиком в руке помогает одному из господ развязать галстук а тот закатывая глаза

— Ты меня накажешь Андрейя?

папа мне по секрету слава Богу не прикасаясь ко мне, если бы он меня тронул я бы его убил

— Я клоун Паулу

будто он любит меня, будто я его люблю, но не люблю же и вот доказательство: это не я предложил

— Давай уйдем отсюда папа

это мой рот а я за это растерзать был готов собственный рот, сеньор с которого сняли галстук стоя на четвереньках на диване расстегивал рубаху, такое белое брюхо, такие круглые плечи

— Ты меня накажешь Андрейя?

я хотел поправить его: это не Андрейя а Абе́л, днем он работает в ресторане в Алма́де, знаете, если сдернуть с него парик обнаружится что это мужчина, он не накачивал себе ничего из флаконч иков в грудь, как делал мой отец, и грудь у него распирало и он стонал от боли, мне почудился поезд но какой там поезд, это просто ветер в зарослях дрока, может танкер ищет устье реки, может сердце у меня в ушах стучит как вагоны на стыках, бывало что я нервничал и плакал

я не плачу

или мне хочется плакать

не скажу

сеньор указал на меня отцу, в то время как его шофер под навесом разворачивал газету

— Зови своего любовника сюда, Сорайя

и снова поезд, тот на котором когда я был маленьким мы приезжали из Бейры, дюжина соек и все прячутся от нас, не

одна сойка, дюжина, двадцать соек, пятьдесят хохочут в кронах деревьев как я в церкви, одолжите мне велосипед дона Элена чтобы я вернулся к вам, можно я побуду на кухне пока вы трете хрен на терке

— Зови своего любовника сюда Сорайя

<...>

— Я клоун Паулу

только не папа, только не мой папа дона Элена, поклянитесь мне что мой папа никогда, он живет с мамой и со мной в Бику-да-Арейя, по праздникам мы веселимся в Арра́биде, в Трое, я подражаю ему в походке, хотя мама

— Твой отец извращенец

молчите мама

он просто такой, он любит цирк, аплодисменты, любит веселить людей, когда я был маленьким он заворачивался в тюль

— Ну разве я не смешной Паулу?

а еще шляпка, еще хвостик как у сойки с ее издевательскими двумя нотами

— Достали эти сойки!

а я их так и не видел, лакированные туфельки, булавочно-тоненький голосок как у женщин

но он не женщина, понятно же что не женщина, он клоун, у него клоунские жесты, клоунские ужимки от которых я колочу ладонями по дверце шкафа, ломаю машину с деревянными колесами, но не оттого что расстроен, а оттого что рад

я рад

дона Элена

нет вру, дона Элена была годом или двумя позднее, мама, такая нарядная такая стройная со мной в саду где ромашки и горечавка и дверные петли поворачиваются без единого стона

Бику-да-Арейя тогда еще крошечный поселок, домов десять-одиннадцать от силы, девочка-ровесница не дававшая покататься на своем трехколесном велосипеде, потом училась на секретаршу и кажется я ее встретил

да нет, не может быть, та была блондинка, звали ее Да́лия и голову ей мыли отваром ромашки с лимонным соком

— Далия

невидящий взгляд, здоровая нога задрана, волосы под беретом не поймешь светлые или темные, ей не нужен шпагат чтобы найти вену, спускалась с камня на камень срываясь в грязь, тетя подвивала ей локоны щипцами, медленно, основательно, раздуваясь от гордости

— С такими-то волосами да с таким фарфоровым личиком выйдешь замуж не иначе как за доктора

Далия сосредоточенно крутит педали трехколесного велосипеда если я вдруг

— Нашла себе доктора Далия?

сопение, резкий разворот, все три колеса вертятся изо всех сил а я в немом восторге, я в восторге от нее до сих пор, стать бы мне доктором, бухгалтером, военным интендантом, был бы у меня мопед и не было бы отца-клоуна

— Скажи где ты живешь Далия

берет, отекшая нога, теплый плащ в августе и все равно такой холод, правда Далия, если у нее не было с собой денег она скорчившись садилась на камень и ждала а в просвет между пуговицами выглядывали драные брюки и военная гимнастерка, тетя отгоняла меня боясь заразы

— Сгинь шалопай

когда никто не видел я нарвал папиных ромашек, выдрал прямо с землей и корнями и разбросал их у нее на крыльце, встав на цыпочки я мог разглядеть как она после ужина очень серьезно листает книжку с картинками, готовясь к секретарским курсам и к тому чтобы выйти замуж за доктора, а тетя подвивает ей локоны

— Не шевелись красавица

зачем спрашивать

— Где ты живешь Далия?

если не в особняке с увитым зеленью навесом и с доктором, значит одна в фургонах-фруктовозах с тарелочкой для милостыни у ног, личико все потрескалось, гипсовые морщины неловко замазаны лаком, ни кола ни двора, тетя сто лет как покойница, щипцами для завивки волос гремят цыгане чтобы отогнать лошадей

<...>

* * *

как только приехали в Фонте-да-Телья мне велели спуститься по крутому пандусу я спотыкался в темноте о кирпичи

— Осторожно парнишка

при каждом шаге под ногами хрустело что-то живое, извивающееся, двое полицейских с фонарем но свет фонарей не попадал на дорогу, он падал на стены бараков, на женщину в окошке, убегал в переулки в которых мы в прошлом году с Руем, выхватывал из темноты деревянную руку на столбе указывающую в сторону пляжа, за домом без печной трубы – дюна, дворняга с бантом облаивающая труп, джипы, свет всех фар на пляжном полотенце, на нем Руй, сигарета в руке, такой же веселый как когда заходил за мной на улицу Анжуш

— Что ты сегодня стащил у моего отца Руй?

он не видит меня но такой же веселый, лимон, шприц побольше наших обычных, но не с героином, пустой, брюки и ботинки как ни странно не украденные, пахнет водой, смертью совсем не пахнет, и шепот

— Паулу

как тогда когда дона Элена на кухне а он – взгляд исподтишка на картины, взгляд на подносы, на Ноэмию Коусейру Маркеш угасающую в рамке

уже угасшую в рамке

— У старушенции ничего ценного нет?

у старушенции в жизни не было ничего ценного, они бедняки, мы уже унесли часы, позолоченную пепельницу, шкатулку которая оказалась подделкой под слоновую кость, они изучали пустоту на месте пропавших вещей не говоря мне ни слова, не из-за того что меня боялись, они боялись что я уйду, на прошлой неделе я случайно застукал старушенцию когда она целовала мое пальто прежде чем повесить его на вешалку, поначалу они хотели затащить меня в комнату дочери и напялить ее панамы и фартучки с запахом залежалости но я

— Нет

старье поношенное, если бы тут была хотя бы машина с деревянными колесами и шкаф который можно колотить руками, сеньор Коусейру – мне, нет, фотографии в рамке, железному ящику с пучком хризантем

— Ноэмия

даже сейчас когда я вхожу в дом, но еще не дошел до гостиной

— Ноэмия

Ноэмия Коусейру Маркеш без глаз, без губ, без лица, сократившаяся до велосипеда со спущенными шинами, до лепестков в кувшине которые рассыпаются стоит до них дотронуться, до дребезжалки на руле способной переполошить весь дом, Руй на пляжном полотенце в фокусе фар

— Ноэмия

гад

а тем временем щенок с бантом отброшенный ботинком полицейского скуля возвращается, папа умолял чтобы ему прикрыли раны на груди, сняли капельницу, посадили его на кровати, это его муж мама

— Руй?

вы видите никто из нас ему не нужен, только Руй

<...>

* * *

Теперь после смерти отца кажется я начал искать пути к нему, но как их найти — не знаю. Не знаю. Я ломаю и ломаю голову но ответ всегда один — не знаю. Все кажется мне таким

непростым, таким запутанным, таким странным: клоун ухитрявшийся быть одновременно и мужчиной и женщиной или то мужчиной то женщиной или иногда чем-то вроде мужчины а иногда чем-то вроде женщины так что я не мог понять как к нему обращаться

— Как мне к вам обращаться?

В то время когда папа был женщиной или чем-то вроде женщины но не знаю

не знаю

выворачиваю мозги наизнанку и все равно не знаю, те с кем он жил тоже не знали, они то обращались к нему как к недомужчине то как к недоженщине хотя папа покупал им одежду, содержал их, готовил им обеды с таким униженным видом как будто просил прощения

прощения за что?

он злился на меня потому что мне за него вроде как было стыдно

— Катись отсюда и чтоб я тебя больше не видел

одолжите мне что угодно, билет на поезд, руку доны Элены, коня из Бику-да-Арейя чтобы укатиться отсюда

пальцы как будто тянулись ко мне хотели меня коснуться и не касались, и — неожиданно прорезавшимся мужским голосом

— Разве ты не слышал что я велел тебе убираться?

и тут же раскаивался, сморщившись как от слез но без слез, аромат духов возникал еще до его прихода и долго стоял в комнате после того как он уйдет, терпкий, густой, как саморазоблачение

конь из Бику-да-Арейя был бы мне очень кстати, а билет на поезд не годится потому что кони из Бику-да-Арейя никогда не уходят из леса если только цыгане не продадут их или не пристрелят а поезда исчезают во тьме, я сам слышал как стук их колес обрывается где-то за домами

я не решался спросить

— В чем вы вините себя папа?

он тем временем наряжался для вечернего представления, накрашенные глаза казались огромными, вдруг кран или стакан на кухне — и глаза сразу становятся меньше и в них вопрос, шея антеннообразно поворачивается на звук

— Ты проснулся Руй?

под металлической люстрой в которой не хватало двух лампочек

если бы дона Элена помогла мне уехать отсюда, вот Ноэмия же ушла, да и сеньор Коусейру того и гляди помашет тростью из вокзального вестибюля

— *Прощайте*

а сегодня на Принсипе-Реал не оказалось и вовсе ни одной лампочки, у подъезда фургон, какие-то типы вытаскивают шкаф, стулья, одноногую вешалку с инкрустированными незабудками, все свалили в кучу на улице, дешевое, жалкое барахло, с оборочками и бантиками и от этого еще более жалкое а там в интерьере с гардинами почти новое и роскошное

будьте терпеливы дона Элена убаюкайте меня, заставьте уснуть, а вот и кровать, зеркало с тумбочкой покачиваясь плывет вниз по лестнице, уверен что оно заметило меня но не подало виду, я только на мгновение мелькнул за стеклом и опять никого, сеньор Коусейру, трость вниз

— Диабет дружок

морщины и кости изо всех сил притворяются довольными жизнью, это потому что дона Элена в дверях

— Жайме

трость вверх

— Я себя хорошо чувствую Элена

сдернуть бы одним рывком с больных их напускную бодрость, чувство собственного инвалидного достоинства, ведь подо всем этим голая смерть, на Принсипе-Реал грузчики возятся со стиральной машиной которая много лет как не работает, нажимаешь на кнопку а в ответ печальный всхлип и капля воды пополам с пылью, хозяин дома

— А ты парень тут зачем?

<...>

* * *

Иногда мне кажется что это я умер, что это меня а не отца не стало а папа живет себе на Принсипе-Реал и там сад и так далее, кедр и так далее, кафе напротив и так далее, старушка в меховой шубе в августе кормит кукурузными зернами голубей а голуби от нее шарахаются и так далее, однажды я своими глазами видел что за нами подглядывала мама, я пошел на кухню и шепнул ему

— Мама

папа чуть не упал в обморок, трясущимися руками скорее опустил штору подвязанную ленточкой, присел и осторожно выглянул наружу, гостиную сверху донизу залило темнотой, стены исчезли, трещина на штукатурке похожая на гримасу нагло подсмеивалась над нами, замажьте эту трещину папа, папа прижал ладонь к сердцу проверяя на месте ли оно, снова выглянул, жалюзи поднялись, день вернулся взбираясь рывками все выше к потолку а гримаса на стене спрятав один угол рта за раму картины — ха-ха

— Это не мама это старушка

старушка с пакетиком кукурузы, вокруг зернышки, может быть когда папе будет столько же лет сколько ей и он станет ждать того же чего похоже ждет она, и ждать-то ей нечего однако ждет и ждет зная что не дождется и чтобы скрасить ожидание подкармливает голубей а долгожданное неведомо и все никак не явится за ней, через два-три часа она подберет со скамейки недоклеванную кукурузу и удалится походкой герцогини

<...>

Руй уже не ночевал с ним, приходил по утрам заслоняясь шарфом и извинениями, папа ругал меня за Шелаш а я в ответ что раньше и слыхом не слыхивал про Шелаш, это Руй познакомил меня с мулатами, таинственный вид, обещания, идем я тебе покажу кое-что, примерно в то время когда гримаса на стене начала над нами подсмеиваться, отнесите кулек кукурузы голубям папа, ту кукурузу что останется соберите и ссыпьте в карман, и удалитесь походкой герцогини

<...>

Руй не ночует дома папа, не выдумывайте ему оправданий, не лгите, вы каждый раз вскакиваете заслышав шаги во дворе

сколько месяцев уже Руй не ночует дома, машет рукой, с досадой

— Отстань Сорайя

если бы вы видели какое у вас при этом лицо, если бы показать вам его в зеркале

<...>

* * *

Это наверняка Руй сидел в тот вечер в гримерке, когда папа укреплял перья на голове для финального выхода и даже под гримом было видно каким стариком он выглядит

или это я там сижу и думаю как он постарел

и похудел судя по тому как широк ему костюм в талии и как свободен на спине, одевается он медленнее обычного, время от времени морщится, чему я тогда не придал значения, останавливается чтобы передохнуть а сам делает вид что отвлекся и задумался но на самом деле вовсе он не задумался, ведь правда папа, руки его потерянно блуждают между тюбиков, кисточек, роняют кружева и никак не могут

и как же я тогда не понял в чем дело?

поймать их, не хочет чтобы мы включали радио или разговаривали с ним, останавливает нас жестом который вовсе не жест и не приказ и вообще возможно не то и не это а всего лишь

— Устал до смерти

(но вы ведь столько раз уставали до смерти папа)

и зевок от которого зубы становятся такими огромными что я пугаюсь, потом встает как будто вовсе нас не видит и я уверен что он и в самом деле нас не видит, глаза щурятся не на свет снаружи, а на что-то изнутри, папа наконец понимает что музыка затихла, что все артистки уже на сцене, что племянник администратора

— Тебя одну дожидаемся Сорайя

перо отваливается у самой двери, плечи злобно передергиваются

нет плечи не передергиваются злобно, неправда, все было не так, он расстраивается, возвращается, пришпиливает перо, изучает себя в зеркале, спрашивает

— Ну как?

стук каблучков стихает и тогда Руй подойдя к банкетке и потихоньку вытаскивая сигарету из сумочки как будто папа тут и может заметить, говорят твой старик болен, говорят он умрет Паулу, этими или другими словами

не все ли равно

трудно вспомнить, но по-моему вот так

— Говорят твой старик болен говорят он умрет Паулу

и сразу все — другое, папина расческа, папины часы, брелок для ключей, ничего не стоящие безделушки вдруг становятся ужасны, Руй прячет сигарету в кулаке хотя папы с нами нет, он танцует там внизу

— У тебя же бронхит Руй

так что разогнать дым рукавом, говорят твой старик болен и песня покореженная динамиками, говорят он умрет Паулу и пепел на полу, мое собственное лицо подглядывает за мной испуган я или нет, расстроен или нет, Руй расшвыривает пепел ботинком, откручивает крышечку от баночки с кремом и гасит в ней сигарету, прощальный марш, вся труппа танцует прямо в зрительном зале, картонные шляпы, смех будто бьющееся стекло, папа вот-вот вернется, он не болен, не болен, конечно не болен, он разувается, вздыхает, освобождается от крючков царапающих позвонки

— Снимите с меня скорее эти перья

мы с Руем стягиваем с него корону, парик слетает следом за перьями, папа в гневе при виде треклятой лысины

— Вы что не можете поосторожнее?

и я не пойму то ли мне полегчало, то ли жаль его, дряхлое лицо проступает из-под наштукатуренного лица пока он вытирает скулы, щеки, губы, под скулами, щеками, губами другие скулы, другие щеки, другие губы, а под другими может быть и третьи и кто же из них вы, отец которого я знал или

незнакомый мне мужчина проглядывающий из-под скрывающей его женщины

я не сумею этого объяснить

женщина

женщина в конце концов, объясните кто-нибудь за меня

вместо лиловой помады теперь красная, жемчужный жилет сменило черное платье, вместо латунных браслетов один золотой

нет, золотой браслет Руй заложил или они вдвоем его заложили

вместо латунных браслетов один серебряный, серебро не настоящее а то на котором бродячие ювелиры выцарапывают пробу ножичком, хочется спросить его

— Вы не рады что умрете и со всем этим будет покончено вы не рады освободиться ото всего этого?

на самом-то деле это я был рад освободиться ото всего этого, люди на улицах оборачивались

— Папа

папа поправляя юбку обиженно

— Не называй меня папой

проводя рукой по воздуху будто гладит невидимого пуделя или персидского кота, у нас не было ни пуделей ни персидских кошек, у нас была дворняга у которой бант волочился между ног, та что в Фонте-да-Телья ночью когда Руй и фары джипов и полицейский

— Знаком ты с ним?

врач выпустил из рук его пальцы с побелевшими ногтями, волны непонятно с какой стороны, запах моря то ли впереди то ли рядом со мной

кажется рядом хотя блеск воды не рядом а подальше, я говорю блеск а имею в виду несколько проблесков россыпью, полицейский

— Знаком ты с ним?

я

— Не знаю

а в это время папа расправляя на лбу челку парика

— Вы что не можете поосторожнее?

и на руке у него у бедняги дрожал какой-то мускул, желание чтобы была хоть какая-то лазейка через которую можно сбежать и идти себе между деревьями к реке

к Шелаш потому что в Шелаш мы

или нет это не Руй в тот вечер в подвале, это был сеньор Коусейру на улице Анжуш и он как будто все еще тащил мой чемодан из больницы, мы в Кампу-де-Сантана где вопроси-

тельные знаки лебедей роняют на воду рассеянные вопросы, невесомые но ранящие, болезненные

— А ты Паулу?

— И что же завтра Паулу?

— Как ты распорядишься своей жизнью Паулу?

а я, понятное дело, смяв в руке листик с куста

— Отстаньте замолчите

я на улице Анжуш так что

— Паулу

так что робко

— Паулу

и дона Элена молча накрывает на стол, в кувшине Ноэмии ни одного цветочка, фотографию пора протереть, кровать давно не пылесосили

— Вы совсем забыли о своей дочери дона Элена она что надоела вам?

<...>

трость поискала что-то на ковре и столько трупов на рисовых полях Тимора, столько латинских названий, столько странных кустов когда сеньор Коусейру

— Говорят твой отец болен говорят он умрет Паулу

дона Элена раскладывает ужин по тарелкам

иногда мне нравилось смотреть как она раскладывает ужин по тарелкам, почти покой, уверенность что у меня есть свой дом, и они не правы что лезут со своими вопросами эти лебеди

— У меня есть дом понятно вам?

или это был не сеньор Коусейру, сеньор Коусейру не решился сказать мне, зачем еще один труп буйвола, эти ноздри, эти открытые глаза, это сам папа однажды в воскресенье, когда я застал его в постели без макияжа, лысого, он беседовал с потолком и продолжал беседовать с потолком даже когда понял что я тут, с самым наиобычнейшим потолком

мне бы и в голову не пришло разговаривать с потолком

пятна и лепнина как на любом старом потолке, помню простыни на веревке на балконе, кучи одежды на полу, сад и так далее, кедр и так далее, кафе и так далее, щенок с бантом которого я оттолкнул коленом, солнечный ромб тянущий свой слюнявый язык по покрывалу, и среди этого мой отец

— Говорят я болен говорят умру Паулу

не мне, ведь он все перебегал глазами с одного завитка лепнины к другому с тем же отсутствующим видом что и раньше, он на том берегу реки, откуда бежал не двигаясь с места а мама неизвестно чего боясь

— Карлуш

мама минуту назад

— Карлуш

или это я воображаю, что мама буквально минуту назад

— Карлуш

а в это время Карлуш, раз уж вас интересует Карлуш сеньора, в Лиссабоне, на этом берегу Тежу, безразличный ко всему, с чашкой супа который неизвестно кто ему разогрел и который он так и не съест, мне приходится наклониться к нему чтобы услышать как он говорит будто о другом человеке в другом доме, в другой спальне

— Говорят я болен Паулу

а если вдуматься, он и говорил о другом человеке в другом доме в другой спальне, сообщал новость, не имевшую к нему ни малейшего отношения, неинтересную новость, и правда что может быть важного в том что

— Говорят я умру Паулу

по сравнению с ванной сломанной сто лет назад и где он хранил барахло, по сравнению с умывальником опирающимся на черенок от метлы и выпускающим скупую струйку воды только из левого крана а при этом люстры, шелковые покрывала, и дырка в плинтусе ведущая в подвал где кишмя кишат мыши, приложить ухо и писк и топот, дворняга с бантом расцарапывала и расширяла эту дыру когтями, потолок в спальне и гостиной протекает, почему у вас нет денег на ремонт, почему вам платят так мало, почему повестка в суд за неуплату домовладельцу

почему вы больны, почему умрете папа

что, святая на комоде и стеарин в блюдце нисколько не помогают?

<...>

фламинго и гуси кружат над тополями, дону Элену швыряет штормовой волной ревматизма и она не в силах защитить меня, папа не болен, он спускается со мною на улицу Палмейра чтобы отрепетировать поклон или сложное движение польки, а если он и схватился за мое плечо, так это потому что не заметил бортика тротуара понимаешь, ему бы чашку супа или остаться хоть на один вечер дома чтобы спокойно побеседовать с потолком да посмотреть в окно на сад и так далее, кедр и так далее, кафе и так далее, сеньор Коусейру пришел на кладбище со злым лицом как обычно у астматиков когда их мучит воздух, иглы раздирают легкие

— Ах доктор стоит мне вдохнуть

— Идем малыш?

диабет, мочевина, не тело, ошметки разлагающиеся каждый сам по себе, жидкость которую папа впрыскивал в грудь

взрывается под кожей, дона Амелия без сигарет, без шоколадок, без духов кладет камелию на могильную плиту и этого-то как раз Руй не хотел видеть, вот это он и отказался видеть, поэтому-то он наверное и пришел на пляж вечером со шприцем и ложкой, посвистывая щенку с бантом который то и дело отставал чтобы обнюхать очередную кучу мусора, на кладбище ни фламинго ни гусей, воробьи, бабочки, одна огромная, изумрудная, порхала над лаврами, мама играла в классики на деревенском кладбище

полочки покрытые салфетками, бумажные цветы, занавески

расчерчивала могильные плиты мелом, ставила номера, бросала камушек и прыгала как обезьянка с квадрата на квадрат, ветер приносил с гор аромат мимоз, а теперь мама не играет в классики на могилах, она играет с пустотой, далеко от того кладбища, ведь она уже выросла

<...>

полицейский

— Знаком ты с ним?

а я не знаком, с тем который здесь я не знаком

незнакомец с сигаретой украденной в гримерке и гаснущей у него в пальцах так что я говорю полицейскому

— С тем который здесь я не знаком

у него такие же как у Руя кроссовки, такая же одежда, но это не Руй, это не Руй, Руй приходит на Принсипе-Реал замотанный шарфами, а не раздетый, не как сейчас в одном носке, другой содрал с него щенок а потом унесет прилив, Руй

зарубите себе на носу

на Принсипе-Реал, кашляет под дверью, клоун уже вскочил с постели и настойчиво сует ему отвары, снадобья, рука с досадой, не с раздражением, с досадой

— Отстань гомик

а в это время все остальное что не рука сворачивается калачиком на диване в гостиной между никелированными косулями и слюдяными подсвечниками, все эти сокровища клоунов которых мне не было жаль <...>

* * *

— Руй

почти не произнесенное, мольба без надежды я восхищаюсь вами папа, готов бросить вам на сцену шоколадку, флакончик духов, пачку сигарет, аплодисменты за голову на подушке, скелетики пальцев, лысый парик так плотно прилегающий к черепу, за руку которая едва шевельнулась не в силах удержать

Руя, браво и бис за то что вы вспомнили про Бику-да-Арейя и про нас с мамой

— Паулу

то есть прислушавшись можно догадаться что это

— Паулу

и лишь туника на которую дунул сквозняк из окна прошуршала вам прощай и то ли зеркало с увеличением перед которым вы наклеивали ресницы, то ли вам послышалась возня щенков и стук шишек о нашу крышу, то ли

в последний раз

цапли налетели с моста на брошенные отливом на берегу ваши румяна, вашу губную помаду, клочок афиши с которой вы посылаете нам воздушный поцелуй

актриса, актриса, точно тебе говорю актриса

цапли разодрали ваш поцелуй когтями, клювами, не знаю кто не знаю где, может быть гном с холодильника или те немногие неразбитые лампочки

— Ну почему Карлуш?

когда они горят растекаются огромные лужи мрака на крышах, стебли горечавки, вы на Принсипе-Реал

— Вы понимаете что умрете?

безразличный ко мне, к маме выходящей из шкафа прямо в Кова-ду-Вапор, к ее робкому кокетству и таким детским жестам

— Я тебе нравлюсь Карлуш?

скажите ей что она вам нравится даже если это неправда, вы же вечно говорили неправду, я люблю тебя — ложь, я скучал по тебе — ложь, я тоже хочу чтобы мы поженились — ложь, вы не любите ее, вы не скучали по ней, не хотите на ней жениться, скрестите пальцы как всегда сеньор и солгите, что вам стоит

— Нравишься

Жудит, попробуйте сказать Жудит, вы никогда не произносите ее имени, никогда не разговариваете с ней, вы же помните лебедей ведь правда сеньор, вопросы без ответа кружащие по озеру, сколько еще вы пролежите на подушке пока не зашумит кладбищенская листва и не укроет ваше лицо, что напишут на вашей могиле, как вас назовут

— Что напишут на вашей могиле папа как вас назовут?

<...>

* * *

Если вдуматься странная штука жизнь, всего несколько дней назад

то есть совсем недавно

я лежал в больнице, психолог если не нарисуешь мне дом и семью и дерево я скажу доктору чтобы никогда тебя не выписывал и вдруг

безо всякого перехода

я на крытом балконе на улице Анжуш надавливаю на поршень шприца и вгоняю жидкость под кожу и пока поршень приближается к игле успеваю превратиться во взлетевший под потолок воздушный шарик наполненный газом со свисающим вниз шнурком

точно таким же как тот который я намотал на руку чтобы найти вену

только часа через два газ из меня улетучивается и я спускаюсь вниз туда где дона Элена гладит белье, сеньор Коусейру сидит в кресле а психолог изучает дом, семью, дерево, я пытался рисовать Бику-да-Арейя а получились волны и девочка на трехколесном велосипеде, я пририсовал еще лебедей, психолог что это такое, а я лебеди они о чем-то спрашивают никто не знает о чем, психолог кладя передо мной другой лист у нас тут не школа изящных искусств парень, когда я говорю дом то имею в виду дом, и точка, а когда я говорю семья то это семья и все а когда я говорю дерево это дерево и никаких разговоров, тест не предусматривает ни ромашек ни лебедей так что бери карандаш и быстро изобрази мне домик, и тут я припомнил проспект Алмиранте Рейша и вернул ему листок с пятиэтажным домом без лифта, с пригоршнями воробьев которых часы на колокольне швыряли в нас с каждым ударом и с самим собой взлетевшим под потолок крытого балкона при помощи шприца, психолог а это еще что такое, объясняю это я плаваю под потолком балкона и шнурочек которым я перетягивал вены свисает у меня с рукава, психолог что еще за шнурочек, я если вы съездите со мной в Шелаш и одолжите мне денег мы оба взлетим выше платанов смешавшись со стаей голубей, психолог жалуется врачу нынче он заявил что умеет летать а врач если он такой летун я живо подрежу ему крылья

<...>

* * *

— Я возьму тебя на руки хочешь я возьму тебя на руки?

сеньор Коусейру так и не взял меня на руки, а стоило старушке протянуть руку чтобы обхватить меня поперек туловища как

— Свою дочь берите на руки я вам не девчонка идите в задницу дона Элена

если бы я мог промолчать тогда увидев как она плачет, если бы я смог

— Простите

взять у нее платок из рук

— Я пошутил не обращайте внимания

прижаться лбом к ее плечу, помочь ей, помочь себе самому

<...>

я хотел сказать

— Дона Элена

я был уверен что говорю ей

— Дона Элена

сказать ей

— Вы не должны были умирать понимаете?

но я говорил

— Пустите достали уже

хотите верьте хотите нет но иногда я чувствовал себя рядом с вами защищенным, мне становилось спокойнее когда я видел как вы включаете радио, вяжете кружева, готовите еду, однажды я поменял цветы в комнате Ноэмии, вырезал в школе из бумаги салфетку, убрал сухие лепестки, налил свежей воды в кувшин, обернувшись увидел в дверях дону Элену с дрожащим подбородком

— Паулу

я вовсе не собирался разбивать кувшин, зачем разбивать кувшин ведь я специально приготовил сюрприз для вас, это моя рука сама решила разбить его, возмущенный поведением своей руки я уставился на осколки, на воду растекающуюся по полу, на розы

я попросил хозяйку цветочного магазина продать их мне в долг, я сказал ей

— Мне вон те крупные белые розы

уверен что она услышала меня

— Это не я дона Элена

хотя рот мой не проронил ни звука точно так же как Руй после того как продал папины перстни

— Это не я Сорайя

хотя рот его ни проронил ни звука, было ясно слышно

— Это не я Сорайя

<...>

* * *

мне позвонили из больницы и сообщили что Сорайя, я уставился на телефон, как будто телефон

я повесил трубку, вырвал шнур из разетки, как будто телефон

я колотил им об угол кухонного стола пока пластмасса не треснула, я расплющил звонок, сломал резистор, размотал катушки, и швырнул все это лживое барахло

ведь неправда что Сорайя

на половик который сушился у черного хода на Принсипе-Реал где меня не могли видеть из окон фирмы что на другой стороне улицы откуда одна машинистка мне иногда улыбалась

или я выдумал что она мне иногда улыбалась, тощая блондинка неизвестно почему грустная а грустных блондинок всегда сильнее жалеешь чем грустных брюнеток если только они не плачут, а то от слез с них краска линяет

<...>

я швырнул все это лживое барахло

ведь это неправда что Сорайя

на половик который сушился у черного хода, плохо помню как я отковыривал кафельную плитку под которой у меня героин, не помню свистнул ли я щенку хотя не отрицаю что мог это сделать потому что Сорайя с присущей ей нежностью желая чтобы мы с ним подружились

— Ведь ты присмотришь за песиком обещай мне что ты за ним присмотришь

насколько я ее знаю, она действительно хотела чтобы пес жил со мной, автобус на Фонте-да-Телья остался у меня в памяти расплывчатым пятном, помню одна пожилая сеньора сидевшая рядом спросила

— Можно я его поглажу?

и утопила меня как в болоте в богатой лирическими отступлениями и подробностями истории о том как у нее пропал бассет в церкви Святого Доминика, предположительно украденный каким-нибудь мучеником и засунутый им с невинным видом в алтарь туда где свечи и искусственные цветы, она запускала пальцы в густую шерсть дворняги, дайте мне подержать его на руках чтобы развеять тоску по моей собачке, ну хоть пять минут, а я чувствовал себя едва ли не счастливым оттого, что есть на свете люди еще более одинокие чем я, и это ощущение счастья придало мне сил для того чтобы расстелить полотенце на песке, подогреть в ложке все дозы героина

собрать их по одной в шприц не обращая внимания на то что меня могут заметить не уверен что рыбаки или те люди что жили в домишках не заметили меня ведь они могли подумать что у меня есть деньги, возможно моя рубаха или мои кроссовки или кольцо которое может оказаться на пальце у наркомана и которое наверняка купят в Баррейру или в Алма-

де, я чувствовал что они надеются и их надежда помогла мне почти не чувствовать ни резинового жгута на руке, ни укола иглы, ничего понимаете, не замечать почти ничего кроме моря

* * *

Папа подшивал то ли подол то ли рукав а я на диване вытянув ноги стучал ботинком об ботинок и глядел в потолок надеясь что хоть там произойдет что-нибудь интересное раз уж внизу ничего путного не происходит, и тут мне показалось что люстра наконец начинает отрываться и скоро нас ждет праздничный звон стекла, папины глаза искали встречи с моими глазами но я сделал вид что не заметил, я — люстре

— Ну что сегодня что ли?

в надежде что дрожь подвесок вот-вот обернется водопадом, я перестал стучать одной щиколоткой о другую и стал топать по полу чтобы ускорить падение а в это время мой папа собрал все лицо в кучку вокруг ноздрей, подтянул брови, губы и все это направил в мою сторону

— Паулу

но тут подвески перестали дрожать потому что оказалось все дело в автобусе проезжавшем по улице а автобус был уже далеко, если открыть окно люстра казалась таким же деревом как те что росли под окном но только посаженным вверх ногами, у этого дерева были свои плоды — перегоревшие лампочки и оно так же шелестело кроной, прозрачное дерево

только вот ствол у него был из латуни а на ветках крючочки латинское название которых наверняка знал сеньор Коусейру, он рисовал своей тростью вензеля в воздухе и все мне объяснял, ну объясните же мне сейчас, почему я не могу пожать вам руку и пожелать доброго утра, я бормочу что-то себе под нос и прячусь, запираюсь на крытом балконе и злюсь на себя за то что заперся, если бы я смог, если бы мне удалось, если бы не было стыдно

но не могу, не удается, мне стыдно выйти в гостиную и побыть с вами, я не хочу

что, и вправду не хочу?

я не хочу чтобы дона Элена оторвавшись от вязания подняла на меня счастливый и благодарный взгляд, не хочу чтобы вы старели, чтобы умирали, меня пугают ваши лекарства на столе и пальцы застывшие в размышлениях

капсулу или таблетку?

а потом думая взять капсулу берут таблетку, наливают воду чтобы запить, меня пугает ваша надежда на то что я спрошу

— Ну что посоветовал доктор?

потому что я ведь вижу что вы еще больше сгорбились, стали еще более медлительными чем когда привезли меня к себе и у доны Элены не было пятен на платье

она никогда не роняла еду на платье

и ей не надо было опираться о спинку стула, я нервничаю от такого театра

— Не прикидывайтесь что вам трудно ходить

я бы их с удовольствием побил или взял на руки

нет, никакого желания брать их на руки, мне хочется только избить их, этих комедиантов которые надеются разжалобить меня своими заплетающимися ногами, как будто нам не достаточно одного клоуна — папы, среди ночи они плетутся на кухню задевая каждый угол и будя весь дом под предлогом что мол им пить хочется, они будто не тапками елозят по полу а будто мелом по шершавой доске и вытягивают меня из глубины сна отдирая пластырь, который на самом деле я, от кожи, которая тоже я <...>

бездонный стакан который никогда не наполнится

оглушительная струйка, свинцовый водопад обрушивающийся им в горло о котором я и подумать не мог что оно такое широкое и так мощно булькает, тапки шаркают обратно в комнату хотя я накрыл голову подушкой, я пластырь, я же кожа, или ожидание в несколько бесконечных секунд, сбросить подушку с головы, навострить уши все больше волнуясь, безжизненное тело упавшее на вышитый мешок с хлебом, гримаса ужаса на лице, из рукава свисает гроздь пальцев с посиневшими ногтями

не умирайте

предположение, допущение, уверенность что упали в обморок, встать с постели, запутаться в простыне

вообще-то могли и умереть

выпутаться из простыни

не умирайте

подтянуть пижамные штаны которые не держатся на поясе и сползают до колен потому что хотя я твержу об этом уже три месяца дона Элена стукнув себя ладонью по лбу

— Ты прав сынок

не называйте меня сынком

не вставила новую резинку

они могли не один раз умереть

прохромать придерживая штаны к кухне задевая те же самые углы что и они только босиком, гвоздь и заражение, столбняк, бред, жар, Большое спасибо,

— Ничего не поделаешь сеньора вакцина не подействовала

я вошел в ванную вечно пахнущую приливом где даже в темноте светилось и звало меня зеркало такое же встревоженное как и я

— Скорее

спальня где дона Элена и сеньор Коусейру

не знаю кто из них кого пережил

кашель в такт тиканью будильника с загадочной мухой под стеклом циферблата которую минутная стрелка пытается загарпунить каждые полчаса а на кухне удлиненной уличными фонарями

не забывай как уличные фонари удлиняли квартиру когда ты приходил домой и поднимался по темной лестнице, когда ты рассчитывал еще на одну ступеньку а нога вдруг проваливалась в неожиданно возникшую лестничную площадку, не забывай что прежде чем вставить ключ в замочную скважину ты зажигал спичку, огонек спички падал на половик

и вы оба, здание и ты, исчезали в небытии но ключ тем временем поворачивался сам собой, фонари удлиняли гостиную, выстраивали за ней ряд других гостиных показывая тебе тени незнакомых диванов и ты задавал вопросы незнакомцам

не забывай

<...>

на кухне удлиненной уличными фонарями никто из них не поскользнулся у холодильника на слезе капнувшей из баночки маргарина ожидая когда я приду и всерьез опечалюсь, церковь Ангелов обожающая несчастья

— Слишком поздно Паулинью

и

ясно же

что это ложь, с чего это поздно, сеньор Коусейру на скамеечке на которой меня кормили когда я был маленький, то есть дона Элена меня кормила а сеньор Коусейру считал сколько еще ложек осталось, еще восемь, еще семь, еще шесть, еще пять, еще пять с половиной начиная с пяти с половиной, поскольку дно тарелки еще не просматривалось, дона Элена подавала знак и сеньор Коусейру пока дона Элена собирала кашу с краев еще пять с четвертью, еще пять, еще четыре и три четверти, еще четыре с половиной и так от четырех с половиной до нуля когда дона Элена

— Всё

или если вначале он слишком забегал вперед в счете приходилось делить единицу на все более мелкие доли, еще три четверти, еще половина, еще четверть, еще полчетверти, еще половина полчетверти, еще почти ничего, еще половина от почти ничего, дона Элена с ложкой а я с салфеткой за-

вязанной под горлом, завороженный бесконечной растяжимостью этой арифметики, даже сейчас мне случается прикидывать количество вилок когда мне подают обед

— Осталось семнадцать Паулинью

и я подцепляю на вилку больше или меньше макарон чтобы они закончились точно тогда когда я досчитаю до нуля, а потом мысленно стукаю тростью по изразцам, гляжу куда-то вверх за пределы ресторана потому что уверен что дона Элена всегда рядом, я угадал, я не обсчитался дона Элена

потому что я уверен что сеньор Коусейру всегда рядом

— Видали я угадал я не обсчитался сеньор Коусейру

сеньор Коусейру стоит у плиты

не забывай и об этом

<...>

сеньор Коусейру отошел от плиты и пошел обратно в спальню, еле переставляя ноги, рот перекошен, опирается рукой о стол, а церкви только этого и надо

— А что если прямо сейчас?

но это случилось гораздо позже когда я уже не жил с ними, они так и не узнали что я

они так и не узнали что я относился к ним по-дружески

я относился к ним по-дружески, не скажу что очень

предпочитаю не говорить что очень, но я относился к ним по-дружески, четыре с половиной, четыре с четвертью, четыре, четыре без четверти, три с половиной

я относился к ним по-дружески

<...>

в первый раз когда он пришел ко мне на улицу Анжуш в клоунской одежде, я его не узнал, стоя рядом со стулом который ему придвинула дона Элена, не решаясь сесть, переминаясь с ноги на ногу словно от холода хотя не было холодно

— Я ненадолго мадам мне просто хотелось повидаться с сыном

достал из сумочки шоколадную конфету и попытался угостить меня, то есть он никак не мог набраться смелости чтобы отдать мне эту конфету а она таяла у него в руке, он положил ее на комод с извиняющейся улыбкой которая как будто сползала с губ и падала сморщившись на пол

— Если вы положите ее в холодильник она опять затвердеет

что-то на животе у сеньора Коусейру дернулось, дона Элена поправляла салфетку, папа наклонился чтобы поцеловать меня, на меня пахнуло одеколонным дыханием

дона Элена сжала в руке салфетку

и он так и не поцеловал меня

дона Элена выпустила из руки салфетку

одеколонный дух ослаб и живот сеньора Коусейру успокоился, папа в коридоре

— Не беспокойтесь я знаю дорогу

чуть не уронил вазу, подхватил ее и поставил не на то место

— Я такой неловкий правда?

и оттого что ваза не на месте, трость в ярости, дона Элена повернула вазу драконом вперед и трость успокоилась, уже выйдя на улицу папа остался в шоколадной конфете на комоде, взять ее большим и указательным пальцами, держать как можно дальше от себя, выбросить ее в мусорное ведро, то что за дверцей кухонного шкафчика и у которого крышка открывается когда открываешь дверцу, конфета среди пакетов из-под молока и костей и очистков, закрыть шкафчик и вот теперь уж точно, теперь в доме клоуна нет, мы спокойны, всё в порядке, сеньор Коусейру передвинул вазу на два миллиметра а дона Элена критикует, оценивает перспективу

— Нет еще не совсем

сеньор Коусейру прогнувшись и откинув голову назад полностью с ней соглашается, поворачивает вазу, протирает дракона рукавом, пробует подвинуть еще на миллиметр, дона Элена

— Теперь думаю да

и все равно с драконом не все в порядке, не знаю в языке ли дело, в чешуе или в крыльях, дона Элена уткнувшись в зверя носом

— Больше его не трогай

за ужином кто-то из них учуял запах одеколона, взгляд искоса в сторону вазы, в панике, дона Элена кормит меня супом а сеньор Коусейру не считает ложек

пятнадцать, четырнадцать, тринадцать

они боятся что папа заберет меня хотя папа тщательно причесывался, нервно трогал сережки, застегивался на все пуговицы, старался не выглядеть просителем но и выглядел и просил <...>

* * *

больница, платаны, папа навещает меня в атласном розовом платье и в огромной шляпе поверх парика

— Твоя тетя Паулу

входит за больничную ограду, хватает меня за пальцы, разрез выше бедра и я

— Папа

то есть

— Не позорьте меня папа

то есть

— Над нами смеются папа уходите

а он со всеми раскланивается, убегает от голубей ах они обкакают мне платье даже подумать страшно, поворачивает меня за подбородок звеня браслетами

— Ты похудел Паулу

его лицо под личиной клоуна прикусывает губу как тогда когда мама

— У тебя женщина кто она Карлуш?

показывала ему губную помаду, флакончик, тюбик крема, крашеный волос

по-моему

потому что цвет желтоватый, если мама

— Кто эта женщина

он тут же начинал шарить в шкафу, краснел поднимая наполовину черную наполовину светлую прядь

— Ты же понимаешь они на солнце выгорели

<...>

* * *

Не то чтобы мне хотелось писать, на работе писанины не оберешься так не хватало еще убивать вечера на то чтобы сушить мозги зажав в руке ручку и согнувшись над тетрадкой, но у меня нет другого способа встретиться с вами и потому я отношу тарелку и стакан на кухню чтобы вымыть их в воскресенье

это я по привычке говорю что вымою их в воскресенье а на самом деле надеюсь что их кто-нибудь вымоет за меня

ну скажем женщина которую я встретил в кафе где обычно из-за своей застенчивости вообще ни с кем не общаюсь, моя коллега из бухгалтерии которая улыбнувшись мне жалеет о том что улыбнулась и тут же замыкается в колючей неприступности некрасивых женщин, телефонистка которая смотрит сквозь меня с тех пор как адвокат стал дарить ей побрякушки, я отношу стакан и тарелку на кухню, заворачиваю угол скатерти

той самой которой я начал пользоваться полгода назад и которая прослужит без единой стирки еще столько же

так чтобы освободить угол стола и спустить словесных собак надеясь что хоть одна из них виляя веселой согласной отросшей у нее вместо хвоста обнаружит вас живыми и невредимыми

как будто вы можете оказаться живыми

под завалами лет и слоями обвинений, ссор, горечавок, надеясь что хоть одна из них начнет рыться в известке прошлого казалось бы давно уснувшего вечным сном а там подбегут и другие слова, взволнованные, радостные, срываясь с пера как с цепи, я уткнусь носом в тетрадь пытаясь разглядеть вас между строк, слабый голос

— Паулу

я его кажется узнаю несмотря на капризы памяти которая вечно все искажает и обесцвечивает, несмотря на то что вот уже несколько месяцев как я постепенно глохну ваша аудиограмма ухудшилась дружище, привыкайте к мысли о слуховом аппарате если не желаете чтобы мир превратился в аквариум без рыб где вы одиноки как пластмассовые водоросли на камушках рассыпанных по дну, голосок настойчив

— Паулу

и слова уже учуяли его и яростно тянут поводок и я вынужден бежать за ними и ложатся торопливые следы-фразы поперек тетрадного листа, я теряю равновесие, несусь рысцой помимо воли лишь бы они не сбежали от меня, дюжины мокрых носов-гласных и дифтонгов, глаза устремленные на то к чему я казалось так стремился и что теперь пугает, голосок все ближе

— Паулу

и вместе с голоском лицо которое я рассмотрю получше на следующей странице, если конечно поймаю ручку убегающую от меня и облаивающую оглушительными прилагательными какую-то тень, какой-то силуэт, мужчину входящего в дом

что за дом?

на улице которая от абзаца к абзацу прорисовывается все отчетливее, вот угол с изразцами, вот киоск где папа

я так же заинтригован как и слова соскальзывающие с пера, строящие догадки, фантазирующие, разгребающие ил месяцев и в конце концов оказывается что это вовсе и не киоск а телефонная будка

угол дома весь в изразцах, телефонная кабина старой конструкции, <...> мужчина входит в дом, объявила минуту назад ручка и я смотрю на нее с испугом и удивлением, это нижний этаж, возможно подвальный потому что там очень темно и дубы на склоне оказались уж очень высоко над нашими головами, как оливы в Шелаш когда я летал на уровне земли купаясь в облаках

не то чтобы мне хотелось писать, я устаю подзывать слоги свистом, звать их по имени хлопая себя по ляжке, они меня не слушаются, они то вытаскивают на поверхность какие-

то эпизоды, каких-то людей то снова погружают их в небытие, они путаются подсовывая мне не мои воспоминания, чужие дни, родственников которых у меня никогда не было

<...>

пианино все никак не умолкнет хотя поверх него уже легли новые абзацы, ноты становятся все нежнее, мелодия замедляется, человек с больным горлом покашливает где-то в далеком санатории на севере страны принимая по ложечке вина с хинином каждые полчаса, убить его перечеркнув пером

— Готов

или растворить его в кляксе прощай, кавалер в брюках гольф пытается отвлечь меня корзинкой для пикника

— Угощайтесь

строка за строкой торопливым почерком, не похожим на мой, если расшифровать почерк можно увидеть куриное крылышко под клетчатой салфеткой, вареные яйца, лимонад, накрыть тетрадку скатертью, кавалер возможно обижен но разумеется ни слова, он присел на корточки неподалеку от шоссе с мальчиками в матросках, а в это время перепелки стонут в зарослях начала века и виден загородный дом, такой каких давно уже не бывает, по крайней мере в Лиссабоне

<...>

я направляю слова в сторону улицы Анжуш или Бику-да-Арейя, шагаю вверх по проспекту Алмиранте Рейша где столько продовольственных и мебельных магазинов или переплываю Тежу на военном корабле приколоченном к воде гвоздями пушек, выхожу на площадь Принсипе-Реал где на месте нашего дома другой, слышу как Руй

— Паулу

в надежде что я помогу ему среди множества балконов разглядеть тот которого нет, возвращаюсь к началу тетрадки, показываю ему

— Вот он

поднимаюсь вместе с ним по ступеням, приглашаю его войти, восстанавливаю люстру, диван, окно с видом на кедр, успокаиваю его

— Видишь видишь?

надо еще отыскать щенка с бантом, я пишу его, создаю пока Руй задумчиво

— Разве меня не нашли много лет назад в Фонте-да-Телья?

притворяюсь будто не слышу, дописываю щенку ногу чтобы не хромал, Руй заметив пыль на комоде, неглаженое белье, не увидев ни одного платья в шкафах, одну мужскую одежду, выдвижной ящик на полу

— А где Сорайя?

слова искали и не находили Сорайю перескакивая со строчки на строчку, заменяя одни местоимения другими, наползая друг на друга

зачем?

на верху страницы мелким почерком, замечаю дону Элену, отца не вижу, прошу перо чтобы принесло и его на страницу а перо отклоняется в сторону, вот оно вернулось с Ноэмией, челочка на лбу, крутит педали трехколесного велосипеда

— Это Далия ездила на трехколесном велосипеде а не Ноэмия

а Далия в комнате на Анжуш с цветами в вазе, что за дурацкие фразы, что за идиотизм, злюсь на них, вычеркиваю, помещаю Ноэмию и Далию туда где им быть положено, зарубите себе на носу, должно быть так, трехколесный велосипед — этой, цветы — той, прошу прощения

— Извините

особенно у Ноэмии которой обидно расставаться с велосипедом, трачу чуть ли не целый абзац на утешения, накачиваю шины ржавого велосипеда с балкона, поднимаю ей седло ведь она успела вырасти, чиню фару

— У тебя есть собственный велосипед а у Далии нет так что нечего ревновать Ноэмия

Руй подозревая что я прячу от него своего папу

— С кем это ты там разговариваешь?

у него все никак не выходит из головы Фонте-да-Телья, шприц, скалы

— Почти наверняка там были скалы

он упорно твердит что лежал на пляже, я оставил его метрах в пяти от линии прибоя

— Нет не здесь подальше добавь в тетрадку еще одну дюну

добавляю дюну чтобы угодить ему а он и не взглянул на нее продолжая упорствовать

— По-моему я умер с меня станется

домишки, короткий состав волочивший вагоны с людьми каждые четверть часа между поросших камышами дюн где папа с Руем столько раз

в тяжком супружеском молчании?

<...>

слова требуют кого-то другого но я успеваю их вовремя приструнить

папа

я всматриваюсь, да это папа, он все еще

в той квартире на нижнем этаже которой давным-давно нет, садится на диван, снимает парик чтобы убедиться что ка-

кой-нибудь голубь ведь раньше голуби, не то что сейчас когда на Принсипе-Реал почти нет птиц потому что и стариков с печеньем в карманах почти не осталось <...>

Руй смотрит на папу а папа и не замечает, Руй держится за живот, ему больно, ему нехорошо

— Клянусь матерью я не принимаю наркотиков Сорайя

дрожащие руки никак не могут удержать деньги которые папа давал ему в первую неделю каждого месяца и которые он крал у папы во все остальные недели, сказки о приятеле заложившем радиоприемник, о лекарствах для одноклассника с которым сидели за одной партой и поверь что завтра непременно, если бы буквы помогли папе мять и разглаживать покрывало, если бы я здесь в тетрадке мог рассмотреть его так же дотошно как рассматриваю его стеклянные драгоценности, если бы объяснили мне почему, если бы подсказали как его спасти, я не знаю как спасти его и оттого эти угрызения совести которые я маскирую под безразличие, под отстраненность в те дни когда сам себе задаю вопрос о том как отношусь к нему а ручка, занятая поисками в развалинах следов доны Элены или мулатов из Шелаш, заливает мне страницу описанием мулата в темных очках открывающего и складывающего детский перочинный ножик на тропинке ведущей по склону к реке, я силюсь рассмотреть хоть что-то кроме него, не район где торгуют героином, не рухнувшую стену, не сойку, а Тежу и где-то за Тежу то что я ищу столько лет, створку калитки, гипсового гнома на холодильнике, покой, покой который так трудно обрести сейчас когда Руй

— Сорайя

и когда папа заметив его наконец, спрятав купюру на искусственной груди, встав и

— Не мог бы ты ненадолго выйти Паулу?

и я

сейчас мне никто

— Не мог бы ты ненадолго выйти Паулу?

снова к кедру, к куску ночной темени на мартовском закате, пытаясь угадать без сеньора Коусейру

без сеньора Коусейру всё гораздо сложнее

как будет кедр по латыни, складывая номера всех проезжающих белых машин загадав что прежде чем досчитаю до двадцати

ну самое большее до двадцати пяти

складка на занавеске и папа позовет меня, не одетый, в халате и в парике набекрень, благодарный Рую, раздраженно мне

— Ты что меня никогда не видел?

а на лице его написано что перед ним не я, перед ним мама и во взгляде ее молчаливый упрек или она мизинцем подгоняет каплю разочарования обратно к нижнему веку

— Карлуш

слова носятся между нами с восторгом первооткрывателей

мы свели их вместе, мы свели их

подталкивая меня, подталкивая, чтобы мы подошли ближе друг к другу, то есть чтобы я подошел к нему поближе

а мне этого совсем не хочется

но они тянут меня за рукав резцами восклицательных знаков, многоточиями клыков, тильдами губ, папа боится за макияж, за чулки которые неловкий сын

ну где вы еще видали такого увальня?

непременно порвет

— Терпеть не могу когда ты пытаешься меня облапить

вам ведь никогда не нравилось если я вас обнимал папа, когда я садился к вам на колени вы застывали как истукан, отворачивались от меня, жаловались что складка брюк врезалась в ногу, мама всегда была на вашей стороне не лезь к папе Паулу, разве что иногда погладит по головке, извинения, ложь

— Я простужен могу заразить тебя

родинка на ухе завораживала меня, я все пытался ее потрогать, я тянулся к ней пальцем а он не надо у тебя сейчас руки грязные, ты мне всю рубаху измажешь дурачок, бежал скорее к зеркалу в дверце шкафа, вот ведь приставучий малыш, оценивал ущерб, ругал меня за то что я посадил пятно потом оказывалось что пятно на стекле, он убеждался в этом поковыряв его ногтем, стоило чуть шевельнуться и нос становился то широким то узким, огромный промежуток между ртом и подбородком и в следующее мгновение вообще никакого промежутка, папа расстроен что дом в ужасном состоянии, что ромашки вянут

— Даже зеркало и то гибнет

<...>

слова смеются надо мной, разбегаются, возвращаются с сеньором Коусейру

— Сынок

прежде чем я

— Не называйте меня сынком

я ваш сын, я ваш сын

слова равнодушно бросают его на крытом балконе будто скидывают пальто, меняют его на мою бабушку повесившуюся на мимозе или на Бога управляющего миром с крыши пансиона, оранжевый луч

или серый?

задерживается на нем и уходит, перемещается на девочку которая играет в классики в зале

— Мама

девочка замирает а слова кладут перед нею надгробный камень и машут ветвями лавров

— Не обращай внимания это ветер

клянусь это был ветер потому что тучи ползущие с гор удлинились, занавески на Принсипе-Реал обмотали папу и утащили прочь девочку

не видно ни кедра ни меня на скамейке, папа встал с дивана чтобы закрыть окно на задвижку

— Вот и все Паулинью

в конце концов даже Паулинью, не Паулу

— Вот и все Паулинью

прижаться лицом к его груди, ничего что она накладная, ничего что весь в блестках, вы же мой папа ведь правда, ну скажите что вы мой папа, посадите меня на закорки

помните как вы сажали меня на закорки?

и к мосту, покажите мне гнезда чаек, Алту-ду-Галу, вспомните ту карусель на ярмарке, когда разные звери звенели и дрожали вокруг нас, скачите быстрее, не бойтесь что я упаду, незачем переодеваться клоуном, притворяться будто поете, соглашаться идти за девятый стол

— Вы хотели поговорить со мной?

прислонитесь к перилам, отдохните, я ведь закрыл тетрадку видите, больше не будет никаких клиентов, мы вернемся домой поддавая ногами камушки, цыгане

— Сеньор Карлуш

восхищаются вами, уважают вас, люди уважают вас папа, не унижают, хватит напяливать на себя эти смешные тряпки, мы закажем ведь должен найтись свободный столик для нас на следующее воскресенье

— Ну конечно же друзья можете сесть здесь на террасе

в ресторане в Кова-ду-Вапор, мама заправит вам салат, я буду бегать по мостику, в сентябре мы поедем на поезде в деревню, проснемся утром от яростного жужжания ос, помните как мама спит закинув руку за голову будто танцует и лицо у нее такое детское, если мы ее пощекочем

— Что что это?

не узнавая нас, узнавая нас, садясь в кровати, не узнавая комнаты, узнавая ее, спрашивая который час

— Уже девять серьезно?

слова замерли в тетрадке

никогда больше их не выпущу обещаю

откроем окно, каштаны, виноград

ни одна фраза не скажет что я вру, не вырвется на волю

сад прямо здесь

ни одна фраза не скажет что я вру, разве что заикнется, только заикнется, не пугайтесь, это Руй

— Ты где пропадала Сорайя?

но мама не заметила, я притворился что не слышу, не бойся папа, Руй навсегда заперт в тетрадке, все, смотрите, мама

— Уже девять серьезно?

ищет майку

— Отвернись Паулу

поправляет волосы, повязывает их лентой как во времена классиков на могильных плитах, всего то и надо что начертить квадраты, кинуть камушек и скакать на одной ножке до самой дальней линии, схватить камушек, вернуться к нам, попасть точно в следующую клетку и снова прыгать а тем временем этот запах с гор который она

— Мимозы

а тем временем мы оба на пути к плотине потому что иногда рыбка или лягушка или птичка, кто поймает рыбку или лягушку или птичку тот выиграл а тот кто прибежит последним

кто ж не знает

тот гомик.

* * *

папа

вы репетируете трудное па, еще одно па, обмахиваетесь веером, рождаетесь из веера изображая будто поете песню но магнитофон не включен обратите внимание, афиши котрые кричат по всем углам

Сорайя

которые Сорайя кричат, Микаэла нервничает

— Не обижай ее Паулу

и обернувшись к Микаэле ощущаю один лишь одеколоновый шлейф и даже не шлейф, пустоту, пустоту на месте того кто

— Не обижай ее Паулу

гомик жалеющий другого гомика забавно правда папа, клоун жалеющий другого клоуна вот смешно папа, если бы мы пошли в цирк клоуны рисовали себе вашей помадой огромный бесконечно завывающий рот и я им верил как верил вам, как верила вам мама, верила что вы по ночам на службе, верила в ваши извинения, в ваше молчание

— Карлуш

спрашивая себя перед зеркалом на дверце шкафа ну что со мной не так, что я такого сделала, покупала новые ночные рубахи, новые босоножки, ожерелье которое оплачивала в рассрочку тайком от папы а ювелир

— Можно и иначе заплатить девушка

я сижу на полу а мама мне при ювелире

если бы мы могли поговорить, если бы мы могли хотя бы поговорить, если бы я поговорил с доной Эленой она бы выслушала меня

— Помеха

ювелир за дымом сигаретки которая и была всем его лицом если не считать предложения из-под сигаретки

— Можно и иначе заплатить девушка

задержав на весу руку которой гладил меня по головке чтобы угодить ей

на кухне был коврик из пальмовых волокон помните?

— У меня у самого такая же помеха подумаешь

рука сворачивает в ее сторону под предлогом поправить ожерелье и мамино горло не живое, неподвижное как когда я тянулся к ее телу и тут же отшатывался полный отвращения к себе самому

— Какой же он липкий

думая что папа презирал ее за то что я у нее родился от какого-то мужчины и возможно она даже не знала точно от которого, мужчины с которыми она спала чтобы спать с вами папа, стоило ей закрыть глаза как она начинала верить что она с вами, она называла их вашим именем, представляла себе что вы с нею, прислушивалась к вашим шагам во дворе, ваши пальцы пахнущие ромашками, ваша ладонь мнущая и разглаживающая ее бедра, ветви горечавки, которые все гнулись и гнулись у нее в костях, сгибали ее в три погибели, усыпляли ее, потом будили ее и стоило им ее разбудить как мама

— Карлуш

и

— Карлуш

и

— Карлуш

потому что другие имена не имели смысла, это были вы поймите, вы те вздохи, те поцелуи, те слова без цели так что вы мой отец, вы а не хозяин кафе, вы а не электрик, вы а не цыган у которого иногда кобыла подолгу бродила вокруг нашего сада но ему было бы страшно быть моим отцом ведь он не имел права быть моим отцом

<...>

и потому если бы мы смогли поговорить не важно где
в доме на побережье, на улице Анжуш, на Принсипе-Реал, в клубе
вы бы со мной согласились
и потому
— Не сейчас Жудит
и потому
— В субботу когда на работу не надо Жудит
и наконец решаетесь, соглашаетесь, тихонько, детским голоском удивляясь самому себе
— Потрогай меня
поражаясь тому что
— Потрогай меня
думая это неправда, не верю что правда это правда, сминая и разглаживая покрывало
или полотенце
покрывало
— Ничего у меня не получается Жудит
<...>
вы доставая чемодан со шкафа
— Ничего у меня не получается Жудит
и пока вы открываете его поставив на кровать, <...> мама встает между вами и чемоданом а вы берете плащ, идете к двери, отодвигаете меня ногой как будто я тоже, отводите в сторону горечавку как будто горечавка тоже, вы — горечавке или мне
горечавке которая пыталась заслонить выход, вы ломаете ветку и одна гроздь так и кружится, кружится у вас в памяти
— Ничего у меня не получается Жудит
<...>

* * *

Пусть мой сын Паулу наврет вам с три короба
а вы верьте ему и записывайте или делайте вид что верите и записывайте или вовсе не верьте но записывайте
о запахе горечавки в Бику-да-Арейя ничего не могу сказать, не чувствовала ни разу, вот запах отлива — это да, запах дна, когда пляж становился шире и казалось
или даже верилось
что можно перейти реку и дойти до Лиссабона вброд, запах отлива втекал в гостиную как ветер со стороны леса когда я ждала мужа и причесывалась
потому что в то время я делала ради мужа прическу

или когда просыпалась среди ночи одна на своей половине кровати, протягивала руку и никого, открывала глаза и никого, звала

— Карлуш

и никого, огромная спальня или не такая уж огромная, а казавшаяся огромной от неуюта как всегда когда мы зовем и нам не отвечают, а муж у окна и тоже один, ноги в спальне а тело в темноте и честное слово никакого запаха горечавки

Паулу пусть себе врет, а вы записывайте за ним его выдумки, мне-то что

разве только лес, сосновый бор если хотите но после того как муж от меня ушел ни бора ни леса, винные пятна киснут на простынях, кто-то незнакомый

или тот кто со сна кажется незнакомым или тот кто всегда был незнакомым

с вопросом

— Тебе что кошмар снился Жудит?

убегает затемно потому что семья или служба или страх что соседи увидят как он выходит из этого дома, мопед тарахтит вниз по тропинке торопливо будто вора уносит, Паулу сочиняет

— Горечавка

но какая черт возьми горечавка, он ведь вырос в Лиссабоне по крайней мере мне обещали что он будет расти в Лиссабоне, это место куда можно дойти пешком каждые шесть часов когда Тежу крадет у меня рыбачьи суденышки и даже мою усталость и ту перестает отражать, зеркало на дверце шкафа относится ко мне плохо, оно сует мне презрительно

— На

эти седые волосы вызывающие у меня недоумение, досаду, что знает о горечавке и о Бику-да-Арейя мой сын который так и не пожелал вернуться, ведь его воспитали обеспеченные люди

так мне говорили

они заставили его забыть обо мне, если сегодня случайно мы столкнемся на улице и я

— Паулу

как бы время ни меняло нас кое-что все равно сохраняется в человеке, кусочки, фрагменты, жест который начинается с плеча и замирает не дойдя до пальцев в тот самый момент в который замирал когда-то, если случайно

к примеру

мы столкнемся на улице и я

— Паулу

такие вещи замечаешь, бывает одного движения брови довольно, взгляд уцепится за бровь и все остальное

вдруг, сразу, я хотела сказать что если само все так выстроится не по моей вине, я

— Паулу

и врун который подсовывает вам горечавки, хорошо одетый, понятное дело

обеспеченные люди

осмотревшись, заметив меня, предположит

— Бывшая прислуга?

ткнет себя пальцем в галстук и палец станет огромным, чуть ли не с него ростом

— Это вы мне?

а на лице

конечно же

кто она, кто, какая-то попрошайка сейчас запоет про болезни, будет совать побрякушки, клянчить деньги, наша бывшая портниха, уборщица

<...>

видите, он не способен объяснить кто я такая, а вы говорите горечавка, был тут

не спорю

какой-то вьюнок или сорняк разросся и пустил усики но горечавка с какой стати, просто кустик каких много растет в сырости, чуть ли не пол пробивают и стены крошат, было здесь и несколько подсолнухов

а не ромашек

муж их поливал но они и полгода не прожили, чахлые венчики на клумбах

вот это правда хотя трудно поверить что из уст моего сына можно услышать правду

обложенных кирпичами которые Карлуш воткнул в землю а бродячие кошки разбили а может разбила я сама

бродячие коты ничего не разбивали, у моря бродячие кошки не водятся, я сама расколотила молотком в тот день когда мой муж собрал пожитки в мешок, то есть платья своей любовницы

нет не его, что за странный вопрос, с какой стати они должны быть его?

— Я ухожу Жудит

я бы и до сих пор колотила молотком по этим кирпичам расколачивая заодно и Карлуша, стоя на коленях в саду с хнычущим Паулу на руках, уж хныкать-то он всегда умел, хорошо что мой друг у которого здесь было летнее кафе давал мне кое-какую подработку так что можно было жить, чет-

верть часа торопливо без лишних слов с задернутыми шторами, а на улице лай и стук шишек по крыше, сын мой про эти эпизоды не знал потому что я отправляла его поиграть у калитки повосхищаться девчонкой на велосипеде что жила домов через шесть от нас а потом вышла замуж за врача и все такое

видите до чего мы докатились

<...>

Паулу пусть себе врет если ему охота а вы верьте и записывайте или делайте вид что верите и записывайте или вовсе не верьте но записывайте

если вы верите мне пишите что муж подарил мне медную рыбку

— Жудит

в Бику-да-Арейя или здесь

— Я пришел за тобой Жудит

пишите о запахе горечавки которого я лично никогда не замечала, вот запах отлива это да, когда пляж становился шире и казалось

или даже верилось

что можно перейти реку и дойти до Лиссабона вброд, запах отлива втекал в гостиную перемешавшись с запахом реки когда я ждала мужа и причесывалась

потому что в то время я делала ради мужа прическу, пишите о клумбах обложенных кирпичами которые муж втыкал в землю а я расколотила молотком в тот день когда он

нет не расколотила молотком, пишите что клумбы целехоньки, вьюнок жив

можете написать что у меня все хорошо, скажите Паулу что со мной все в порядке, что не сильно изменилась, что думаю о нем иногда, а скоро

разрешу ему приходить ко мне обещаю

<...>

поверьте мне и напишите или притворитесь что верите мне и напишите или вовсе не верьте мне но все равно напишите что мы гаснем как гаснет свет и только цыганские лошади по пути с пляжа и девчушка в десяти или двадцати метрах та что собиралась выйти замуж за доктора и никто так и не знает вышла она за него или нет не обращает внимания на Паулу, но и девчушка тоже гаснет и в зеркале наконец наступает тьма, в спальне тьма, в гостиной тьма и что-то чего почти не различишь но мне кажется что это медная рыбка которую я считала потерянной но сейчас когда ее невозможно потрогать я понимаю что никуда она отсюда не делась.

* * *

Когда мы жили все вместе, меня укладывали на матрас, который хранился под кроватью, его разворачивали и объясняли мне

— Уже ночь Паулу

и я оставался один в темноте слыша как внизу шумит то, что мы называли морем, а это была всего лишь река, широкое устье реки, место где Тежу поравнявшись с мостом, устав спотыкаться о горы, плотины, замки, мельницы, печальные

как мне казалось

равнины, подходит наконец к океану и растворяется в нем со вздохом или с чем-то похожим на вздох, когда мы жили все вместе и я оставался один в темноте и видел калитку возникавшую в обрамлении забора, я думал всегда что слезы, ссоры и вопросы кончились, что мои родители

вы

тоже легли спать, в мире друг с другом и в гармонии как седые старики хотя тогда вам обоим не было и тридцати, а раз вы спокойны то и я спокоен, покачиваясь на матрасе уплываю в сон, соломинка или тряпка или кусок корзины который волны то подхватывают то бросают, оставляют на последнем пляже где трехколесный велосипед и машина с деревянными колесами наполовину увязли в песке, и тогда в тишине, на кухне под полосатым одеялом, я представлял себе

нет, не представлял себе а был уверен что у вас все хорошо, ничего что я не с вами ведь мы все

честное слово

одна семья, и никто

даже я

не просит

— Приглядите за мной

и потому я прощался с нами, и без зазрения совести шел по кронам деревьев в сторону дня, заканчивал все так как заканчиваю сейчас свою историю папа, и после этого никого из нас уже не было, как никто из нас никогда не приходил в мои сны, пляж да, машина с деревянными колесами пожалуйста, трехколесный велосипед ладно, этот ребенок на матрасе

что за ребенок?

имени которого мы уже не знаем и на которого не смотрим, осталось только сказать что сейчас февраль, пятница, двадцать третье февраля, что идет дождь, не припомню чтобы в это время когда-нибудь шел дождь, разве что раз или два, слезы на оконной раме и запах листвы ближе и ближе

<...>

я одновременно взрослый и маленький как странно, куда это я отправился искать ромашки скажите пожалуйста когда я никогда и не думаю о них, я их никогда больше не видел, с высоты моего тогдашнего роста они казались огромными

— Любишь ромашки Паулу?

осы на лепестках и папа

— Тут оса не шевелись осторожно

кирпичи под цементом в кирпичном заборе, между кирпичами-то осы и

сказать что февраль, пятница, двадцать

свили бумажные розы своих гнезд в лепестках которых прятались жужжа

третье февраля, что идет дождь, я не снял белье с веревок за окном, так что рубаха извиваясь пытается сорваться с прищепок, как если бы здесь был мой папа воротничок вправо-влево, подол болтается, рукава в бессмысленной пляске, открываю окно чтобы не дать ему рухнуть на землю а то народ столпился бы вокруг и глядел то вниз, то на мой пятый этаж

— Клоун

подумают еще что я его вытолкнул

мокрая ткань которую я прижимаю к груди и заметив что прижимаю ее к груди отшвыриваю ее разозлившись

— Ну что вы в меня вцепились папа

перестаньте тревожить меня, исчезните, однажды он позвонил в дверь на улице Анжуш, дона Элена встав на цыпочки глянула в глазок, посмотрела на меня, вытерла руки о юбку, крикнула

— Минутку

опять посмотрела на меня, поправила волосы, поправила плащ на вешалке

он не стал от этого висеть ровнее

огромные осы на тычинках, не просто черные а угольно-черные, их жужжание летом в ванне для стирки становилось все громче и громче, разуться и раздавить бумажные розы ботинком, кто-то потянул меня сзади

— Не шевелись осторожно

сначала темная лестничная клетка, окошко в крыше разумеется не служило окошком, все в голубином помете, листьях и грязи, дона Элена открыла дверь нервничая из-за вешалки на которой плащ

после того как позвонили

весь сморщился как будто шрамами покрылся и папа без парика, без платья, скромный, смущенная и испуганная осиная роза

— Если вы не против мне бы хотелось увидеть сына

я съежившись на диване про себя

— Не шевелись осторожно

<...>

моя история подходит к концу папа

вы похожи на других отцов когда не накрашены и без веера, если бы вас видела мама она бы гордилась вами, показывала бы вас подругам

— Это Карлуш

после того как папа ушел я видел как она на кухне рассматривала обручальное кольцо на ладони, когда заметила меня швырнула его в ящик со столовыми приборами и задвинула ящик бедром, на следующий день я не нашел кольца ни в ящике ни у нее на пальце, поискал среди вилок, среди чайных ложечек, под ножом для чистки рыбы, всегда розовым от крови, нашел старые монеты, сломанный перочинный ножик, но кольца не было и я заплакал

<...>

папа пришел забрать меня в Бику-да-Арейя чтобы мы жили там все вместе без ссор и вопросов, я ложился бы спать на матрасе и слышал как там внизу шумит то что мы называли морем а это была всего лишь река, широкое устье реки, место где Тежу поравнявшись с мостом, устав спотыкаться о горы, плотины, замки, мельницы, печальные

как мне казалось

равнины, подходит наконец к океану и растворяется в нем со вздохом или с чем-то похожим на вздох, с одним движением плечами, с полетом пенной шевелюры, я в темноте вижу калитку возникающую в оправе, блеск алюминия, ржавый угол, оконное стекло за которым темные стволы деревьев, помогите мне собрать вещи в мешок

дона Элена одолжит мне его

снимите мое пальто с вешалки я сам не дотянусь, вот это с бархатным воротником мне уже больше года не годится, другое, синее, почему мы теряем время, отчего дона Элена страдает за меня, почему папа, уверенный что я его не вижу, делает отчаянные знаки, что это за знаки, есть ведь автобус который идет прямо до дома, надо сесть в него на проспекте Алмиранте Рейша, прощайте дона Элена, переехать Тежу, проехать через Кошта-да-Капарика и сразу за ней бац, второй автобус почти всегда пустой, поворот налево у аптеки, проехать через кемпинг

ночью витрина аптеки освещена, не видно ни фасадов ни деревьев

мама ждет нас, мой матрас на кухне, брови соседки, тетки Далии

— Вернулся?

люди говорят только кусочком себя, остальное остается невовлеченным, когда мама злилась на папу только половина ее лица ссорилась с ним, руки продолжали варить рис а глаза следили за руками, время от времени глаза объединялись со ртом и тоже начинали сердиться, лопатки, до того отвлеченные чем-то, принимались гневно шевелиться, я понимал что учительница сердится потому что бедро у нее начинало подпрыгивать под юбкой, рассеянные пальцы сжимали мел, а туфлям до нас не было дела, мне казалось что дона Элена расстроена из-за меня и потому спрашивает папу правда ли он собирается на заработки в Испанию

— Я не могу поехать в Бику-да-Арейя Паулу

убежать на балкон, отказаться от еды, пролежать на спине с открытыми глазами до утра, дона Элена сопя в темноте

— Не переживай Паулу

желая утешить меня и не умея утешить, если бы она вдруг вздумала поправить мне простыни

— Идите успокаивайте свою дочь и отстаньте от меня

сеньор Коусейру, как я и говорил, одна только трость, не спать, собрать одежду

— Вы уезжаете работать в Испанию?

и бежать, сквозь жалюзи церковь не похожа на церковь, это что-то другое поджидающее меня, угрожающее мне

— Не спускайся по лестнице Паулу

сколько времени уже церкви со мной не разговаривали?

фонари все уменьшаются и становятся совсем маленькими, через несколько часов мусоровоз, если меня поймают на улице дядьки опрокидывающие в кузов мусорные контейнеры, они засунут мне в рот кляп и прощай, шаги сеньора Коусейру в коридоре а дона Элена подальше, углубилась в вязание потому что слоги подправили ей одну петлю

— Не трогай его сейчас

и фраза зависла на середине, потом дошла до конца, положив крючок и клубок на колени, фраза, освободившись от вязания

— Не трогай его сейчас

— *Где Испания?*

она не такая как дневная дона Элена, темнота меняет людей делает их значительнее, серьезнее, даже море к примеру, даже треск мебели в сосняке, десятки и десятки стульев, кушеток, столов, портрет Ноэмии

или папа

— Я не могу поехать в Бику-да-Арейя Паулу

<...>

вы же все понимаете правда дона Элена и дона Элена поправляет плащ на вешалке, на месяц в Мериду с театром, может быть накоплю немного, расплачусь за аренду квартиры, дам вам деньги на пропитание сына, дона Элена лжет, разглаживая плащ, мы ни в чем не нуждаемся сеньор Карлуш, они складывали деньги в жестяную коробку, записывали долги карандашом в столбик, сеньор Коусейру просил отсрочить плату за свет

— Что за новости?

они ставили свечку на блюдце и гостиную бросало в дрожь, мы делались то тощими то толстыми, утром на потолке кружок от копоти, сеньор Коусейру заворачивал какие-то металлические пластинки в газету и уносил их, через несколько часов выключатели начинали работать, папа тоже лжет

— Дам вам денег на пропитание сына

<...>

пятница двадцать третье февраля дождь, не припомню чтобы в это время шли дожди, помню маму с каким-то мужчиной, не хозяином кафе и не электриком

— Только не при ребенке

белые брюки запачканные маслом по шву

или смех

и звон ключей бродил по маминому телу, блузка, шея

— Он не понимает

мама массирует шею, проверяет в порядке ли блузка, вынимает бутылку из духовки, вытирает две рюмки и

— *Кажется минуту назад было лето и вот уже опять*

ставит их

лето

на скатерть, если бы я захотел намочил бы палец и попробовал, звон ключей пьет вино

— Ну что нам убить его бросить в реку?

белые штаны прижимаются к ногам моей мамы, мама опирается на кухонную раковину и часто дышит

— Погоди

ищет монетки в кошельке но нет ни одной монетки, старый автобусный билет, в раковине кастрюли, муравьи, мама оторвавшись от горлышка бутылки

— У тебя хоть есть монетка?

белые штаны с досадой шарят по карманам

— Если бы я знал о мальце не пришел бы <...>

дают маме денюжку а она передает ее мне

— *На пропитание*

поднимает меня с пола, сажает около корыта для стирки, дает мне горшочек и деревянную ложку

— Можешь стучать сколько хочешь

чтобы угодить ей попробовал стукнуть разок но больше не захотелось, хотелось писать, хотелось есть и я боялся цапель, моста менявшего цвет, зверя который вздыхал и ел сам себя на кухне, это была не мама и не белые штаны, это было нечто с двумя спинами, у которого не было ни одной груди, два затылка и ни одного лица, из которого высовывались и втягивались назад руки, зубы и ноги, электрик ходил вокруг подбирая то что выносили на берег волны, он оставлял нам красивые витые ракушки на заборе, жена хозяина кафе протирала столы и мне показалось что муж, уперев руки в боки, говорил плохие слова про маму или про меня

про маму

цыганки возвращались с ведрами с пляжа, в ведрах крабы, моллюски, если дельфин подплывал к пляжу они говорили с ним по-испански, белые штаны уехали и увезли зверя на мопеде трещавшем как зерна кукурузы на сковородке, мама легонько скребя ложкой по горшочку

— Монету

скребя сильнее ложкой по горшочку

— Давай монету Паулу

сердитая на меня

точно на меня

на меня

сердитая на меня

— Монету

монета у меня на ладони, мелкая на которую почти ничего не купишь, пять-шесть леденцов, одну жвачку, даже на дешевую шоколадку не хватит, мама мне не верит

— И это все что тебе дал этот козел?

осталось сказать что сейчас февраль, пятница двадцать третье февраля, что дождь, что через дыру в занавеске тесно прижавшиеся друг к другу, тусклые дома

уронила монетку в горшочек и вернулась на кухню, потом ложкой по горшочку, ложкой по горлышку бутылки, потом ложкой по горлышку бутылки и грохот, и еще раз грохот и бутылкой по духовке, сначала бутылкой а потом засовом, я хотел попросить

— Мама

но голос отказался звать ее, осколок бутылки поцарапал ей подбородок, мама показывая мне горшочек

— Одна монетка каналья

хватает меня за волосы и тащит к плите с облупившейся эмалью и погнутой ручкой

— Одна монетка за полчаса по-твоему я не стою больше одной монетки за полчаса Паулу?

сказать что в это время дождей обычно не бывало, разве что раз или два, темнеет в три часа дня и цыганские кони всхлипывают от страха, когда жена хозяина кафе собирает тарелки, на голове у нее мужнин берет, капли скачут по двору

слезы стекают по оконной раме

запах леса ближе, вьюнок растрепался

— Вьюнок папа

до переезда в Лиссабон он подпирал вьюнок колышками, подвязывал веревочками, делал навес из плаща, возвращался домой а мама

— Ну а я Карлуш?

и тоже в слезы

— Вы же не окошко так зачем же дождик?

а она не глядя на меня

— Ну а я Карлуш?

это не моя мама, я в первый раз ее вижу, кто вы такая, почему лежите лицом вниз на кровати без подушки и повторяете

— Ну а я Карлуш?

папина рука так и не дотянулась до нее, повисла над ней, передумала, папа это папа, а вот она не она

в конце концов он открыл дверь и вышел под дождь

монета

— По-твоему я стою не больше одной монетки за полчаса Паулу?

выпала из горшочка и покатилась по полу, не прямо а по шаткой вытянутой дуге, наткнулась на холодильник, затихла, Белоснежкин гном на меня сердит, мы оставались с ним вдвоем на целые вечера, кроме нас никого не было дома

— Приглядите тут друг за другом

если я брал ножницы гном тут же

— Смотри у меня

запрещал мне кромсать платья, пробовать лекарства, устраивать в ванне озеро

— Не вздумай

<...>

Белоснежкин гном приглядит за всеми

у него кирка и фонарь который никого не освещает, и только если я беру ножницы он пугается и умоляюще

— Осторожно

время не щадит его как не щадит и стены, мама уже не раз собиралась его выбросить

— Надо купить другую игрушку Паулу

поднимала крышку мусорного ведра, прошлое проносилось у нее в памяти, она передумывала, объясняла гному

— На этот раз тебе повезло

делала вид что собирается поцеловать его

— Ну а я Карлуш?

и тоже слезы

— Вы же не окошко так зачем дождик?

а она не слыша, крошечная в углу

— Ну а я Карлуш?

замечала меня, ставила его опять на холодильник

папина рука так и не дотянулась до нее, повисела над ней, передумала, и в конце концов он открыл дверь и вышел под дождь

<...>

папа

— Паулу

я хочу чтобы папа

— Паулу

чтобы сеньор Коусейру

— Паулу

чтобы дона Элена

— Паулу

я хочу чтобы мама белым штанам

— Погоди

чтобы посадила меня рядом с каменным корытом для стирки, дала мне горшочек и деревянную ложку, цыганки возвращались бы с ведрами с пляжа а в ведрах крабы, моллюски, если дельфин подплывал к пляжу они говорили бы с ним по-испански

<...>

звуки так близко

в темноте все рядом, люди, собаки, луна или часы на крыше вокзала, проскользнуть сквозь заросли, удержать равновесие, бежать, а может это и не голоса, дубы, тополя, обочина, что-то впивается в пятку, бежать, остановиться и никого, ложка о горшочек и монета

— Паулу

бежать, тишина в кладовке, тишина в доме, тишина на Принсипе-Реал, тишина на лестничной клетке но бежать

<...>

конец ссорам, вопросам, двадцать третье февраля пятница, не думать что промокну под дождем

бежать

дона Элена поправляет плащ на лестничной площадке на улице Анжуш, пытается помочь нам, зачем папа подает ей знаки думая что я не вижу, кемпинг, аптека, мама ждет нас, мой матрас на кухне, тетушка Далии

— Вернулся?

<...>

поравнявшись с мостом я добрался до океана и растворился в нем с чем-то похожим на вздох, я один в темноте в рамке забора вижу холодильник, плиту

— Жудит

ступени крыльца вырисовываются пядь за пядью, моя жена

— Ну а я Карлуш?

и хотя моя рука так и не решилась прикоснуться к ней

повисла над ней, передумала

я уверен что она меня узнала, заметила меня, отодвинулась в сторону, ведь в зеркале на шкафу нас двое, мой сын идет к нам, садится на пол с горшочком и деревянной ложкой, скребет легонько ложкой по горшочку а я должно быть уснул

не потерял сознание, уснул

я должно быть уснул потому что нет ни диадем, ни медальонов, ни пряжек, только десятки цапель на перекладине моста и Жудит протягивает мне монету в горсточке

<...>

Дагоберто Гилб

Дядя Рок

Рассказ

Перевод с английского А. Светлова

По утрам в своей любимой закусочной Эрик заказывал свою любимую американскую еду — яичницу с колбасой и картофельные оладьи "папитос" с хрустящей поджаристой корочкой. Он сидел за столиком, завтракал со своей мамой, не обращал внимания на чужих людей, и жизнь казалась ему прекрасной — пока не появлялся мужчина и не начинал все портить. Чаще всего эти мужчины просто пялились на маму, а потом какой-нибудь подходил. Он по-дружески опускал свои огромные лапы на стол — осторожно, как будто боялся обжечься, — затем приседал на корточки, чтобы Эрику с мамой не приходилось поднимать голову, словно показывая, какой он учтивый, и улыбался всеми своими пожелтевшими от кофе и табака зубами. Это мог быть мужчина с галстуком-боло[1], медленно растягивающий слова. Или рабочий в желто-коричневой спецовке с логотипом компании на спине и овальной именной табличкой на груди. Иногда это был какой-нибудь служащий в форменной рубашке, белой или в полоску, с парой ручек, торчащих из левого нагрудного кар-

© Dagoberto Gilb, 2010
© А. Светлов. Перевод, 2011

1. Ковбойский галстук в виде шнурка с декоративным зажимом. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

мана, в джинсах или чинос[1], еще чистых с утра, и в стоптанных рабочих башмаках с необычно высокой шнуровкой. Он что-то говорил маме про ее сережки или браслет, про волосы или глаза, а если на ней была белая униформа — о том, как она ей здорово идет. Бывало, мужчина подходил и сразу начинал с этого — говорил маме о том, как она хороша, как он не мог удержаться, чтоб не подойти, и спрашивал напрямик, не могли бы они где-нибудь встретиться и пообщаться. Затем он подмигивал в сторону Эрика: "Славный мальчуган! Сколько ему — восемь или девять?" На вид Эрику было не меньше одиннадцати! После такого вопроса Эрик поджимал губы, отводил глаза от тарелки и, не поднимая головы, смотрел на маму, но не на мужчину, только не на этого чужого мужчину, до которого ему не было никакого дела. Он тыкал вилкой в жидкий американский яичный желток и размазывал его по американской картошке. Мама никогда не говорила мужчинам, сколько Эрику лет на самом деле, а отвечала, что он быстро растет или что-то вроде этого.

Когда подходил мужчина в костюме, она почти всегда давала ему номер телефона. Конечно, если это был не просто пиджак спортивного типа, а настоящий, застегнутый на все пуговицы костюм с накрахмаленной белоснежной сорочкой и галстуком с дорогой булавкой. Время от времени Эрик встречал кого-нибудь из этих мужчин у двери своей квартиры в Сильверлейке[2]. Мужчина по-приятельски подмигивал Эрику, брал его за плечо или за руку повыше локтя и щупал мышцы: "Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Полицейским, авиамехаником, агентом бюро путешествий, судебным обозревателем? А может быть, грумером?" Эрику приходилось стоять рядом с этим мужчиной и мамой, потому что она просила его вести себя вежливо. Потом мамин приятель обещал Эрику, что как-нибудь они возьмут его с собой и сходят куда-нибудь втроем: "Куда бы тебе хотелось пойти?" Эрик ничего не отвечал. Он вообще ничего не говорил, когда все эти мужчины были рядом с ним и его мамой, и вовсе не потому, что плохо знал английский, хотя мама всегда объясняла, что Эрик молчит из-за этого. Он не разговаривал ни с кем из этих мужчин, да и с мамой тоже много не говорил. Наконец мама с мужчиной уходили, и Эрик знал, что всю ночь будет один. Тогда он бежал в продуктовый магазин и покупал полгаллона

1. Свободные брюки из прочного хлопчатобумажного твила.
2. Пригород Лос-Анджелеса, где живут небогатые представители самых разных этнических групп.

шоколадного пломбира. Вернувшись, он закрывал дверь на все запоры, — на все, на какие только мог, — включал телевизор и ел свой нехитрый ужин столовой ложкой. Теперь Эрик был далеко ото всех этих мужчин. Хотя телевизор тоже достался им от мужчины. Он работал продавцом в магазине бытовой техники и как-то принес телевизор и похвастался, что ему его отдал один богатый покупатель, а раз так, то и он просто отдает его маме Эрика: "Ведь сама она не сможет купить себе такой классный телик!"

Когда мама работала официанткой в закусочной и собиралась замуж за хозяина, Эрик лакомился сливочным пломбиром, политым горячим карамельным сиропом, и пил шоколадные коктейли. Когда она работала в компании грузоперевозок, владелец всех грузовых машин говорил ей, что вот-вот разведется. Эрик поднимался в кабины огромных грузовиков и оказывался на огромной, как ему казалось, высоте, среди разных приборов со стрелками и непонятных рычагов. Потом мама стала работать в конторе какого-то инженера. Там не было ничего вкусного или интересного, но зато Эрик видел, что у этого инженера есть деньги. Эрику не разрешалось ничего брать, да и что ему там было брать — кучи бумаг со всякими чертежами? Однажды маму с Эриком пригласили к инженеру в гости. Дома у него были две лошади и конюшня, плавательный бассейн и два спортивных автомобиля с откидывающимся верхом! Была там и семья инженера: взрослые дети и седые родители. Все вместе они пошли ужинать в столовую, которая показалась Эрику больше, чем вся его квартира; на столе была скатерть, стояли три канделябра и лежали матерчатые салфетки. Мама отвела Эрика в сторонку и попросила хорошо себя вести за столом и быть со всеми вежливым. Эрик ничего не ответил. Все равно я никогда ничего не говорю — как же я могу сказать что-нибудь не то? — подумал он про себя. Потом мама нагнулась и сказала Эрику на ухо, что ей хочется показать им, как он умеет говорить по-английски. Весь ужин Эрик молчал, ел маленькими кусочками и жевал неторопливо: пусть не думают, будто мне нравится их ужин!

В такие дни мама часто бывала расстроенной и, придя домой, говорила Эрику о том, как ей хотелось бы все бросить и вернуться обратно домой. Говорила, что она устала от такой жизни. Это "обратно" Эрик представлял себе в основном по рассказам мамы, в которых он ни разу не услышал ничего хорошего. Ей приходилось жить вместе с братьями и сестрами в одной комнате. У них не было туалета в доме. У них не было электричества. Временами им не хватало еды. Такую Мексику Эрик часто видел по телевизору в вечерних фильмах, где дети бродят бо-

сиком по грязи или по разбитым тротуарам, а смешные маленькие мужчины носят широкополые соломенные шляпы и похожие на мешки белые рубахи и штаны. Женщины все время ходят в церковь и молятся святым, которые стоят в нишах, и, благоговейно склонив головы, перебирают бусины четок. Там — отмечал про себя Эрик — везде скалы, и скорпионы, и тарантулы, и гремучие змеи, и грифы, и никаких деревьев, и не хватает воды, и тощие собаки и ослы, и страшные злодеи с револьверами и ружьями, в непробиваемых пулями кожаных куртках, которые с дикими криками и громким хохотом въезжают в город, чтобы напиться и устроить пальбу из пистолетов и ружей — прямо как фейерверк на Четвертое июля! — и носятся на лошадях по всему городу, как гонщики на мотоциклах по песчаным дюнам. По-английски все они говорят с каким-то дурацким акцентом — у мамы совсем не такой акцент! Эрик даже не задавался вопросом, есть ли в Мексике хоть что-то хорошее, потому что все равно Мексика была далеко и он знал о ней только из рассказов мамы и фильмов. Он жил на асфальтированных и освещенных фонарями улицах, далеко от таких мест, где ездят на велосипеде, где аптека с восточными снадобьями, где армянская продуктовая лавка, где на одном и том же углу черные кубинцы пьют кофе и обсуждают игру "Доджеров"[1].

Иногда Эрик молился перед сном — лежал в кровати и благодарил Бога за маму, которую он любил, и просил у Него прощения за то, что не разговаривает с ней и с другими, — вообще ни с кем, только со своим другом Албертом, — и за то, что мама никогда не ходит в церковь, и за то, что он никогда не причащается, как это делает Алберт, — и все же одному только Богу Эрик мог признаться, что причащаться ему хочется лишь потому, что так делает Алберт. Эрик молился за то, чтобы на них с мамой снизошла Божья благодать: Бог представлялся ему добрым волшебником, а счастье должно было прийти, как приходит раннее утро, когда прямо за открытым окном стайки воробьев щебечут на ветках деревьев и кустов, и эти звуки становились все громче и громче, а Эрик вслушивался в них и глаза его закрывались.

Инженеру было совершенно неважно, что́ Эрик скажет о нем Алберту, — что это его папа или что просто их знакомый. Алберт совсем недавно переехал в соседнюю квартиру, и у него были и мама и папа. Эрик знал, что мать Алберта недолюбливает его маму, и поэтому сказал ему, что его новый папа — инженер. Эрик и вправду думал, что так оно и будет, и даже надеялся,

1. "Лос-Анджелес доджерс" ("Лос-Анджелесские ловкачи") — профессиональный бейсбольный клуб.

что у него появится своя лошадь. Когда стало ясно, что ничего этого не будет, и, хотя уже наступил полдень, мама лежала в постели и плакала, сморкаясь в платок, потому что она потеряла работу, в их жизни снова появился Ро́ке. Роке был никем — а может, кем-то и был. В нем не было ничего особенного — а может, что-то и было. Он старался говорить с Эриком по-английски, думая, что именно из-за плохого английского Эрик при нем молчит. И Эрику пришлось сказать Алберту, что Роке — его дядя, поскольку все знали, что инженер скоро станет его новым папой. Дядя Рок, сказал Эрик. Брат моей мамы, объяснил он Алберту. Роке работал по ночам, а днём был свободен и как-то раз предложил Эрику и Алберту покататься. В машине мама сидела рядом с Роке и всю дорогу ласкалась к нему. К тому, кто считался ей братом, а Эрику — дядей Роком. Алберт ничего не сказал, но он видел, что́ происходит, и понимал, каково все это наблюдать Эрику. У Алберта были родители, бабушки и дедушки, сестра с братом, и он гулял с друзьями, только когда какой-нибудь из его двоюродных братьев не приезжал к нему в гости. Такой друг Эрику не нужен.

Вскоре после этого мама спросила Эрика: "Что, если мы с Роке поженимся?" Она сказала Эрику, что тогда они переедут из Сильверлейка в район получше. Эрик давно мечтал оттуда уехать, но хотел, чтобы они это сделали сами, а не из-за какого-то дяди Рока. И дело было не в том, что у Роке не было ни бассейна, ни лошадей, ни огромного ранчо с шикарным особняком. Эрику и придраться было особо не к чему, разве что — размышлял он — Роке всегда слишком заботливый и добрый, слишком внимательный, слишком щедрый. Он не надевает ничего броского или дорогого, а носит обычную простую одежду, всегда чистую и отглаженную, и туфли, всегда начищенные до блеска. Он аккуратно причесывается на пробор, а не стрижется под машинку, как мужчины, которые не любят детей. Ходит Роке не спеша, говорит спокойно и никогда-никогда не сердится. С мамой он всегда во всем соглашается. Ну как ей такой не понравится?! Роке так сильно ее любит! — всем видно, что он просто сияет от гордости, когда она рядом. Он выписывает маме чеки и дает деньги. Он приносит домой разные вкусности — и сладости, и фрукты, и мясо. Роке приходит, когда мама просит, уходит, когда просит, и всегда возвращается с радостным видом. Он даже возит маму в рестораны на Сансет[1], в кинотеатры Голливуда и на шикарные пляжи Санта-Моники.

1. Бульвар Сансет — главная и самая богатая улица Голливуда с фешенебельными ресторанами, сувенирными магазинами, театральными агентствами и ночными клубами.

Роке знал, что Эрик любит бейсбол. Увлекался ли бейсболом Роке? Похоже, он им вообще не интересуется, думал Эрик, не слушает репортажей по радио, не смотрит матчи по телевизору и не читает о них в газетах. Зато Роке любит бокс. Он знает имена всех мексиканских бойцов, как будто они живут в Америке, как будто они игроки клуба "Доджеры", как Стив Сакс или Стив Йегер, Дасти Бейкер или Кенни Ландро, Майк Маршалл или Педро Герреро. Роке, конечно, слышал о Фернандо Валенсуэле – так о нем знает каждый, даже мама! Поэтому, наверное, она и согласилась пойти с Роке на матч, решил Эрик. Какой мексиканец не сходит с ума от Фернандо?! Стадион "Доджер" находился недалеко от дома. Один раз Эрик уже был там с Албертом и его семьей – пусть и не на самом стадионе, а на ближайшем холме: они смотрели салют на Четвертое июля. Мама решила, что они втроем пойдут на матч в субботу днем. Потому что вечером, подумал Эрик, она, наверное, хочет пойти еще куда-нибудь. Возможно, даже с кем-нибудь другим.

Конечно, Роке не знает, кто такие "Филли"[1]. Он ничего не знает о страйк-аутах[2] Стива Карлтона и круговых пробежках[3] Майка Шмидта. И о Пите Роузе он никогда не слышал, рассуждал Эрик. И дело было не в том, что Эрик много про них знал, а в том, что, если бы пришлось поговорить на эту тему с Роке, тот не смог бы рассказать ему ничего интересного.

Хотя Эрик всем своим видом выражал радостное нетерпение, когда они подъезжали к стадиону "Доджер" и искали, где бы припарковаться, мама с Роке этого даже не заметили. У них были "отбеливатели"[4], и зеленый цвет поля завораживал Эрика, как магический свет, а трибуны стадиона казались такими же далекими, как горные вершины на горизонте. Он словно попал в совершенно новый, незнакомый и таинственный мир. Уже пятый иннинг[5]? Здорово они опоздали! А может, прибыли в самое время: не успели они сесть на свои места, как Эрик услышал удар биты о мяч и увидел, как люди рядом с ним поднимаются навстречу летящему прямо на них мячу. Эрик следил за мячом. Ему оставалось лишь протянуть руки и, наклонившись и покачиваясь из стороны в сторону, ловить этот мяч, пока тот сам не ударился в его раскрытые ладони и замер. Все видели, как Эрик поймал его одним ловким движением. Он ощущал все

1. "Филли" – популярное прозвище жителей Филадельфии; здесь речь идет о филадельфийской бейсбольной команде.
2. Удар в бейсболе, при котором мяч выбивается в аут.
3. Пробежка отбивающего по всем трем базам с возвратом в "дом".
4. Так в шутку называют дешевые места вокруг арены под трибунами, потому что солнце "отбеливает" сидящих там зрителей.
5. Один игровой период в бейсболе. Вся игра состоит из 9 иннингов.

взгляды и слышал все голоса вокруг, и ему казалось, что на него смотрит и о нем говорит весь стадион. Мама что-то говорила, и Роке тоже что-то говорил, а потом остался только Эрик и этот мяч, и горящие, как от крапивы, ладони. Эрик не видел, кто выбил мяч в аут. Он думал, что Педро Герреро, но спрашивать не стал. После такой удачи Эрик уже не следил за игрой — просто не мог. Ему было неважно, кто выиграет. Он не сводил глаз с пойманного им мяча Национальной лиги — ему все не верилось, что это не сон. Съел сосиску в тесте, выпил газировки, а потом посасывал соленый арахис, ел деревянной палочкой мороженое с шоколадом и солодом и поглаживал выпуклые швы на своем, чудом прилетевшем к нему с поля, мяче.

Игра закончилась, и они почти последними вышли со стадиона. Люди не спешили расходиться, не торопились к своим машинам, а толпились у выхода. Роке тоже не захотел сразу уходить. Ему просто хочется, думал Эрик, подольше побыть с мамой. Тут из ворот стадиона вышел один из "Филли", и его сразу же окружили: больше всего в толпе было мальчишек, поменьше взрослых мужчин и совсем мало женщин и девчонок — они шли за ним и просили автографы, пока он не поднялся в автобус. Сказали, что это Джо Морган. Потом появился Гарри Маддокс. Эрик сжимал свой мяч, но у него не было с собой ручки. Он просто стоял, прижавшись спиной к серому автобусу, и наблюдал, как в него садились игроки "Филли".

Вдруг открылось окно. Какой-то голос сказал: "Привет, чемпион!" Эрик подумал, что ему послышалось. "Дай-ка сюда мяч, la pelota, — сказало лицо из автобуса. — На нем распишутся, comprendes? Échalo, просто бросай, и все". Эрик послушался. Он бросил мяч в протянутую руку. Окно закрылось. Какое-то время мяча не было — так долго, что мама подошла к Эрику и спросила, не потерял ли он его. Но тут окно снова открылось, и тот же голос заговорил с мамой: "Мяч у нас, ма. Он не потерялся. Чуток обождите". Когда окно открылось в третий раз, в нем появился мяч: "Лови!" Каких только подписей на нем не было!!! Правда, ни одну из них Эрик разобрать не смог, кроме имен Джо Моргана и Пита Роуза.

Потом голос опять заговорил, и рука что-то ему бросила: "Твоей маме, ладно? Comprendes?" Эрик уставился на асфальт, как будто никогда раньше не видал валяющегося под ногами сложенного листка бумаги. "Para tu mamá, bueno?" — повторил голос. Эрик поднял листок и направился к маме и Роке, которые стояли поблизости и были так увлечены разговором, что ничего вокруг не замечали. Эрик остановился. Он сам развернул записку. Ведь никто не сказал, что ему нельзя ее прочитать. В ней было написано: "Я очень хочу с вами по-

знакомиться. Вы muy linda. Очень красивая и привлекательная. Я плоховато говорю по-испански, может быть, вы лучше говорите по-английски, pero no importa[1]. Приходите ко мне вечером, и мы вместе поужинаем". Ниже был номер телефона и номер комнаты в гостинице. И имя. Имя, которое было у Эрика на мяче.

Эрик ничего не слышал. Он видел только свою маму, и никого больше. Мама разговаривала с Роке, а Роке разговаривал с мамой. Роке такой гордый и радостный, оттого что они вместе. И он не виноват, что не стал инженером, подумал Эрик. Тут он очнулся. Услышал крики мальчишек, которые, как воробьи, слетались к автобусу и звали игроков, и голос из автобуса, кричавший ему вдогонку: "Эй, спортсмен! Отдай ей записку!" Эрик держал мяч в одной руке, а записку в другой. Когда он дошел до мамы с Роке, листок уже валялся где-то на асфальте автостоянки. "Смотрите, – сказал Эрик громко и радостно. – Они все подписали мне мяч!"

1. Но это неважно (*исп.*).

Петер Фаркаш

Восемь минут

Повесть

Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева

"Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте". Это двустишие, завершающее знаменитую шекспировскую трагедию, знают даже те, кто и Шекспира-то, может быть, не читал. Оно запоминается не только своим благозвучием, но и парадоксально-афористическим выражением грустного и восторженного преклонения перед прекрасным феноменом великой и чистой любви, которая сильнее всего. Даже смерти.

И вот перед нами повесть, которая — печальнее "Ромео и Джульетты". Это — повесть о них же, но не умерших в юности, а благополучно доживших до... скажем прямо: до старческого маразма.

Старик и Старуха, герои повести венгерского писателя Петера Фаркаша, живут как бы по инерции. Активная стадия их жизни осталась далеко позади, интеллект давно угас, угасает память, исчезает интерес к окружающему миру, к событиям, которые в нем происходят, к обществу, даже к собственным детям. Их бытие ограничено набором самых элементарных функций и состояний: сон, еда, опорожнение, снова сон, снова еда... И все же это бытие нельзя назвать растительным. Ибо в нем сохраняется то, что сделало такой величественно прекрасной историю веронских влюбленных. Сохраняется, став частью, даже стержнем их личности, высшее, если

© of the Hungarian edition 2007 by Magvető, Budapest
© of the German edition 2011 by Luchterhand Literaturverlag, a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Germany
© Farkas Péter, 2007
© Ю. Гусев. Перевод, вступление, 2011

угодно, божественное начало, освещающее их однообразные дни, — любовь. Она дает им возможность поддерживать и спасать друг друга на краю небытия, дает им ощущение полноты жизни, дает им — счастье.

Да, одна такая пара известна нам и из античной мифологии: Филемон и Бавкида, которым боги позволили совместить старость с идиллией любви. Но повесть П. Фаркаша — не миф, не сказка: он рисует двух таких супругов в контексте современной, знакомой, осязаемой жизни. Тем самым как бы обнадеживая читателя: пускай жизнь человеческая бренна и коротка, пускай ее омрачают невзгоды, беды, болезни, пускай на закате дней многим из нас придется, видимо, познакомиться с джентльменами по имени Паркинсон, Альцгеймер, да мало ли их еще. Но жизнь и тут, на краю, на излете, может быть светлой, даже одухотворенной.

Петер Фаркаш родился в 1955 году в Будапеште. Работая журналистом, примкнул к движению демократической оппозиции, издавал самиздат. С 1982 года живет в Кёльне. Однако остался венгерским писателем; его художественная проза издается не только в Германии, но и в Венгрии.

Если вдруг — в одно неуловимое мгновение — наше Солнце погаснет, мы еще целых восемь минут не узнаем об этом. Потому что лучам Солнца нужно восемь минут, чтобы достичь Земли.

БОЛЬШИМ и указательным пальцами Старуха взяла с блюдца кубик масла, подняла его и стала удивленно разглядывать. Старик осторожно коснулся ее запястья. Старуха вздрогнула и обернулась к нему. Старик жестом показал ей, что масло надо положить на разрезанную булочку. Старуха опустила масло на хлеб, и Старик плоскостью ножа размял кусочек на мягкой поверхности булки. Старуха подняла бутерброд ко рту, откусила ту часть, которая была намазана маслом, и принялась жевать, благодарно глядя на Старика. Он почувствовал, как в груди его поднимается теплая волна, согревая кожу лица и горла. Волна эта в какой-то момент смыла само его "я", унесла ощущение собственного тела; все, что некогда было им, сейчас полностью, без остатка, растворилось в прозрачном Старухином взгляде. На мгновение он утратил способность шевелиться; но, когда Старуха вновь беспомощно посмотрела на него, он пришел в себя и аккуратными движениями размял на обкусанной булочке следующую порцию масла... Спустя минуту-другую Старуха вдруг перестала жевать и, отведя от Старика взгляд, замерла, уставившись куда-то в пространство. Старик досадливо передернулся — но лишь внутри, в душе: Господи,

только не сейчас, не за завтраком! Надо же ей обделаться именно в этот момент! К этому он не мог привыкнуть никак.

У Старухи просто *пропала* память. Так бывает, когда в театре решают освободить реквизиторскую: из нее, сразу ли, постепенно ли, исчезают костюмы, задники, бутафория, всякие сценические аксессуары... Но подобно тому, как ни один, даже средней руки актер никогда не забудет шороха шелка, тафты, сукна, бархата, полотна, других тканей, их ощущения в пальцах, не забудет запаха папье-маше, клея, фанеры, опилок, звона хрустальных бокалов и музыкальных шкатулок, света софитов, в котором движущиеся фигуры словно осыпаны мелькающими блестками, а главное, не забудет мгновений обморочного страха перед выходом на публику, — так и тело Старухи продолжало хранить память об исчезнувшем реквизите канувших в прошлое лет. Однако уже довольно давно воспоминания эти, в соответствующем сцено- и хореографическом оформлении, вызывались к жизни не разумом, но лишь инстинктами и рефлексами. Старуха помнила не мозгом, а носом, нёбом, кончиком языка, ушами, глазами, главным же образом — кожей. Некоторые прикосновения проникали в самые глубокие слои ее существа, не доступные ни слову, ни мысли. Конечно, находящихся рядом очень смущало и приводило в замешательство то, что никакие действия и события не порождают у нее образов-отпечатков, которые, отложившись где-то, всплывают по мере необходимости; что же касается прежних, давних впечатлений, то они уже растворились в каком-то другом измерении, откуда все реже и все опосредованнее всплывали как смутные, едва поддающиеся пониманию сигналы. Саму Старуху все это вовсе не удручало. Да, от боли, обиды, разочарования, неудовлетворенных позывов она страдала — но только и исключительно в настоящем времени. Когда неприятности отступали в прошлое, Старуха опять существовала безмятежно, шагая в следующий момент, с его собственным счастьем или с его собственной мукой, без каких бы то ни было опасений или сомнений. В основном же ее бытие, когда она не спала и, разумеется, если у нее ничего не болело, исполнено было по-детски доверчивым безразличием к миру. В таком состоянии жизнь ее, гладко и без препятствий, скользила по неподвижной — для нее неподвижной — поверхности сущего. Один лишь Старик знал: под этой поверхностью, словно рельеф морского дна, вырисовываются контуры прожитой жизни. И если он хочет сохранить человеческий контакт со Старухой, ему нужно как-то осваивать этот скрытый от глаз ландшафт. Занимался он этой работой постоянно

и методично, опираясь чаще всего на собственные — когда-то общие — воспоминания. Словно неким невидимым эхолотом, определял он высоту подводных впадин и возвышенностей, находя возможность общаться со Старухой даже в самые безнадежные моменты. Окружающие, конечно, плохо понимали, точнее, вовсе не понимали, что происходит между Стариком и Старухой: ведь общение между ними шло чаще всего в таком частотном диапазоне, который другие не способны были воспринимать. И потому те, другие, считали, что Старик со Старухой просто выжили из ума. Разумеется, в глаза им никто ничего такого не говорил, однако Старик прекрасно знал, что о них думают. И его это нисколько не обижало; даже, наоборот, наполняло своего рода злорадным удовлетворением: ведь так им все в меньшей и меньшей степени нужно было приспосабливать свое житье-бытье к так называемой нормальной повседневности. В конце концов, мы же с тобой в самом деле два идиота, ласково гладил он иногда Старуху по щеке, действительно чувствуя некоторое детское удовольствие, когда им в очередной раз удавалось уклониться от выполнения какой-нибудь задачи, для них совершенно бессмысленной, а окружающему миру кажущейся жизненно важной. Ах, как мы здорово с этим справились, ликовал в минуты хорошего расположения духа Старик, довольным взглядом созерцая усыпанную слабо мерцающими блестками полосу света между синей пустотой неба и зеленой недвижностью моря. На пути их утлого суденышка — скорее плота, чем корабля, — не было ни единой помехи: не вздымались над ними враждебные волны, не бросал в лицо брызги ветер; они даже избавлены были от суетливых и ненужных ритуалов отправления или прибытия. Широкая пустынная палуба едва поднималась над гладью воды, но до их слуха не доносилось даже слабых шлепков невысоких волн. Судно словно не плыло, разрезая воду, а бесшумно скользило по самой ее поверхности. Лишь кромка пены с чуть слышным шелестом высыхала на краю палубы. Старик уверенно и привычно двигался вокруг сколоченного на палубе дощатого помоста, напоминающего верстак. Ему и о разложенных на столе инструментах не надо было тревожиться: даже карандаш, брошенный на развернутую, усеянную множащимися цифрами и стрелками карту, не скатывался в сторону... Правда, бывали моменты, когда Старик библейскими проклятиями осыпал все физические и духовные силы, что так упорно поддерживали на плаву эту прогнившую внутри и снаружи, зловонную, зыбкую, каждой щелью пропускающую воду чертову эту посудину-душегубку, не давая подводным пластам вздыбиться, обрушиться друг на друга и увлечь обоих, со всем, что их окружа-

ло, в недвижную, не ведающую ни волн, ни световых бликов непроницаемую для любого эхолота глубину.

Обычно Старуха мылась сама. Но когда ей случалось обделаться, Старик, хочешь не хочешь, вынужден был браться за дело. Его тошнило от вони, от цвета испражнений, от неимоверного — после одно- или даже двухдневной паузы — их количества, от податливой их твердости, которую пальцы его ощущали и сквозь свернутый памперс. Иногда Старуха, почему-то вдруг заупрямившись, не давала поменять памперс, и Старик, поуговаривав ее немного, уступал, — несмотря на то, что для него процедура была, может быть, куда неприятней, чем для нее. Во всяком случае, Старуха не переживала так сильно, как должна была бы, даже когда ей случалось извозиться в собственном дерьме чуть ли не по уши — такое бывало не только из-за отсутствия памперса, но и если он почему-либо съезжал набок... Короче говоря, время от времени Старуха отказывалась мыться самостоятельно. Но не сопротивлялась, когда ее мыл Старик. Обычно это происходило так: вечером, перед тем как идти спать, Старик напускал в ванну, примерно по щиколотку, горячей воды, приводил Старуху, помогал ей раздеться и стать в ванну, потом, сняв шланг с душем, открывал краны и, установив нужную температуру воды, отдавал душ Старухе. Та почти всегда, хотя и с некоторой боязливостью, брала рукоятку и принималась поливать себя, двигаясь снизу вверх. В таких случаях он спокойно оставлял ее в ванне на какое-то время одну и приходил, лишь почувствовав, что Старухе это занятие надоело. Когда она начинала поливать себя из душа сама, он был почти уверен, что позже она воспользуется и мылом: первые действия служили как бы залогом, что вся цепочка необходимых операций будет проделана удовлетворительно. Бывало, однако, что Старуха послушно входила в ванную комнату, раздевалась, вступала в воду, но вот душ в руки брать не хотела. Просто стояла, бессмысленно глядя в стену перед собой. Старик, видя это, ничего ей не говорил: он брал скамеечку, что стояла тут же, возле стиральной машины, и, поставив ее в ванну, усаживал на нее Старуху. Так было проще для обоих: Старику не надо было поднимать душ вверх, а Старуха могла дольше наслаждаться теплой водой. Старик не пользовался губкой: он мыл Старуху ладонью, а та вела себя на редкость послушно, правильно понимая даже малейшие его движения, вставая, когда надо, садясь, поворачиваясь в нужную сторону, поднимая руку или ногу, наклоняясь вперед и выпрямляясь. Спустя какое-то время на лице у нее появлялась улыбка, она блаженно вздыхала — по всему было видно: ей приятно, что Старик мыльной рукой водит по ее

телу. Старик же по нескольку раз возвращался в определенные места, двигая рукой то медленнее, то быстрее, то энергичнее, то нежнее. Ладонь, покрытая мыльной пеной, почти без сопротивления скользила по телу Старухи; сухая, шершавая, кое-где потрескавшаяся кожа сейчас, смазанная скользкой пленкой, ощущалась юной и гладкой, ладонь легко летела по ней, словно сама по себе. Когда ноги у Старика уставали, он, ласково похлопав мокрой рукой то место, которое мыл, и тем самым давая понять, что процедура закончена, струей воды смывал со Старухи мыло, закрывал воду и давал Старухе полотенце. Старуха никогда не выказывала недовольства: послушно приняв полотенце, кое-как вытиралась, а потом некоторое время сидела на вынутой из ванны скамеечке, застеленной полотенцем, и сохла. Старику в такие моменты казалось, что ладонью своей он совершенно разгладил ее тело, стер с него морщины и складки, и даже красновато-коричневые пигментные пятна и родинки утратили прежний зеленоватый, словно от плесени, оттенок. Во время мытья Старуха вела себя совершенно пассивно и лишь в одном случае проявляла что-то вроде инициативы — когда Старик ладонью вытирал мыло с ее лица. Ощутив его руку на своих губах, она высовывала язык и норовила лизнуть его ладонь. Старику это не было неприятно, и, закрывая глаза, он отчетливо ощущал лицо Старухи в своей ладони.

Утром опять появилась та женщина. Появилась без какого-либо предупреждения. Старик вышел в кухню, и женщина оказалась там. Наверное, у нее был ключ от входной двери. Старик и на сей раз не стал ей пенять: дескать, могла бы сказать заранее, что собирается прийти, ведь, в конце концов, для них, может быть, ее приход совсем некстати. Но, раз уж она тут, пускай, смирился Старик, занимаясь своими делами, будто был один. В этом не содержалось ничего, что кто-то мог бы посчитать оскорбительным или обидным: а как еще он должен себя сейчас вести? Ее присутствие его не стесняет, ему ничего от нее не надо... Женщина же, по всей видимости, при его появлении почувствовала себя не в своей тарелке: она нервно вертела в пальцах зажигалку и испуганно, словно напоследок, сделала глубокую затяжку. Она сидела за столом, спиной к балкону, на том месте, где обычно сидел Старик, — но сейчас это не имело значения, потому что Старик как раз готовил завтрак: он всегда делал это до того, как проснется Старуха. Если он занимается своим обычным делом, то с какой стати ему вести себя как-то по-другому, из-за того только, что в кухне сидит какая-то посторонняя женщина. Женщина что-то произнесла; да, точно, сказала что-то... кажется, насчет того, что не хочет входить в ком-

нату с сигаретой. Старик пропустил ее слова мимо ушей: он был занят приготовлением завтрака. Женщина докурила сигарету до фильтра, нервно раздавила ее в пепельнице, вскочила со стула и, шагнув к Старику, бросила: "Г. умер". Старик как раз наливал в чайник воду; наверно поэтому женщина повторила свою фразу еще раз. Вода, громко бурля, толстой струей лилась в чайник; Старик всегда наполнял его доверху, так как утром пил много и вообще горячую воду любил. Женщина не отходила, мешая Старику заниматься своим делом. "Ты меня слышишь?" — спросила она, совершенно излишне: конечно же, он слышал, она же дважды произнесла свою фразу. Очевидно, она считала, что Старик должен ей ответить. А что ему было ответить? Умер и умер, думал Старик. Старый, вот и умер. Женщина еще некоторое время оставалась в кухне. Старик обнаружил это, когда она заявила, что уходит. Он кивнул: конечно, пускай уходит, ему ничего не нужно. В самом деле, ему ничего не было нужно, все, что требовалось, находилось под рукой. Он пошел, шаркая ногами, на другую сторону кухни, взял из стеклянного блюда два яблока, подержал их и, поджав губы, подумал: то, что он осязает сейчас — гладкую прохладу желто-зеленой кожицы, тяжелую, чуть рыхлую, как чувствовалось даже через кожицу, спелую плоть плода, — Г. ощущать уже неспособен. Недоступно ему ощущать и то, как с едва слышным хрустом, или скорее шелестом, отделяется под острием ножа кожица от плоти, ровной широкой спиральной лентой ложась на зеленую пластмассовую доску. Очистив яблоки, Старик снял с крючка терку, поставил ее в приготовленную глубокую тарелку и короткими быстрыми движениями натер яблоки. Время от времени он поворачивал яблоко, сразу начинающее приобретать коричневый цвет, другим боком. Прежде чем выбросить сердцевину, он слизнул с нее комочки налипшей мякоти, затем, переложив терку в левую руку, ополоснул освободившуюся правую и тупой стороной ножа счистил оставшуюся на терке мякоть в тарелку. Положив нож и терку в раковину, снова пересек кухню и подошел к стоящему у стены низенькому кухонному шкафчику, на котором, позади стеклянного блюда, стояли плошки с зернами. Взяв в одну руку две небольшие банки, в другую — большую коробку с толстыми стенками и плотно закрывающейся крышкой, вернулся к тарелке с натертым яблоком. Сначала взял ложку зерен из большой коробки, потом по неполной ложке еще из двух банок. Зерна тремя правильными пирамидками лежали на яблочной кашице, почти полностью закрывая ее. Из шкафчика на стене Старик взял белую, расширяющуюся кверху кружку — утром он всегда пил из нее, потому что чай в ней, из-за ее формы, остывал быстрее — и налил в нее кипятка. Потом взял та-

релку с тертым яблоком и зернами, отнес ее на стол. Справа от тарелки поставил кружку с кипятком и сел. Не туда, где сидел обычно, хотя на его месте уже никого не было, а напротив, лицом к балкону и к свету. И чайной ложечкой, двигаясь от краев к середине, стал перемешивать зерна с тертым, пустившим сок яблоком. Разноцветные зерна, пропитываясь яблочным соком, постепенно темнели, теряли легкость, подвижность и уже не разбегались туда-сюда, а прилипали друг к другу, к ложке, к стенкам тарелки. Старик основательно перемешал массу, потом, взяв немного на чайную ложечку, попробовал. То, что надо, говорил он себе каждое утро. На какое-то мгновение он вспомнил Г. и фразу, которую произнесла женщина. Что спорить: Г. этот вкус не смог бы уже оценить. Совершенно исключено. И точно так же обстояло бы дело, если бы речь шла о чем-нибудь другом, похожем или пускай совсем непохожем на тертое яблоко с зернами. Г. все равно не ощутил бы вкуса. Не ощутил бы — потому что умер.

День ото дня у Старика было все меньше впечатлений от окружающего; и чем меньше он получал ощущений, тем ближе становилось ему бытие. Ибо тысячи мелких ощущений рассеивали его внимание, а немногие, наоборот, собирали и концентрировали. Он решительно не понимал, чего так волнуются доброжелатели, которые, считая себя вправе судить и думать вместо него, цепляются за какие-то совершенно бесполезные вещи и с недоумением, даже, можно сказать, с негодованием реагируют, когда он отказывается от каких-нибудь вспомогательных средств, служащих облегчению так называемой повседневной жизни. По крайней мере, оставляя возле него какой-нибудь новый предмет, они каждый раз ссылались на его полезность. Я просто выбросил их, говорил Старик самозваным блюстителям, которые, нервно озираясь меж поредевшими предметами обстановки, смотрели на него, как на сумасшедшего. Как он мог объяснить им, что эти вещи никакого значения не имеют? Ведь для них они были совершенно необходимы... Правда, ему и в голову не приходило что-то кому-то объяснять. И это было с его стороны не равнодушие, не упрямство, не недоброжелательство: нет, он поступал так из чистой тактичности. Они же — какую только хитроумную терапию они для него не придумывали! Они считали, что ненормальное его поведение изменится в лучшую сторону, если он будет соединять относящиеся друг к другу предметы, сортировать их по цвету и форме, находить недостающее звено в ряду чисел, передвигать по столу туда-сюда фигурки из картона. Чем старательнее он выполнял указания, тем скорее его оставляли

в покое. Поэтому задания он делал безучастно, но по возможности точно, так, как от него требовали. И тогда те, кто сидел за столом напротив него или рядом, удовлетворенно улыбались, с довольным видом похлопывали его по спине, по плечу. Случалось, что кто-то, оказавшись у него дома, обнаруживал, что он сидит перед двумя половинками какой-нибудь совсем незамысловатой фигуры и, вместо того чтобы эти половинки по каким-то лишь этим людям известным причинам соединять, просто смотрит перед собой или в сторону. Тогда эти люди невероятно раздражались и принимались нетерпеливо подгонять его. Он же сидел и смотрел на них, недоумевая, зачем надо соединять эти половинки в нечто целое, если ни это целое, ни его половинки ему ни для чего, ну абсолютно ни для чего не нужны. Конечно, раньше он почти никогда не огорчал людей, которые его окружали. Они всегда могли рассчитывать, что он будет поступать соответственно их представлениям. Например, так было, когда он навестил М. В тот день шел дождь, на ногах у Старика были тяжелые башмаки на толстой подошве, в руке он держал зонтик. М., поздоровавшись с ним, сказал: "Полагаю, ботинки ты снял в передней. Я хочу знать, зонтик ты справа или слева от них поставил..." *Тогда* Старик всегда точно знал такие вещи. Нынче же ни башмаки, ни дождь, ни зонтик его не интересовали. Он вообще не выходил из дома. У него было все, что требовалось, все находилось под руками, и тело Старухи никогда еще не оказывалось так близко к нему, как сейчас. Он бесконечно мог смотреть, например, на отливающие всеми оттенками коричневого цвета пигментные пятна и плоские родинки у нее на спине. Некоторые из них выглядели совсем черными, но в этом не было ничего плохого; другие, только-только появившиеся, казались скорее красными. Старик рассматривал их регулярно, потому что Старуха, странным образом, о них почему-то не забывала и время от времени, подойдя к Старику, поворачивалась к нему спиной и старательно поднимала одежду на верхней части тела. Старик усаживал ее на стул, боком, чтобы видеть спину, и проводил по коже ребром ладони. Потом, касаясь спины кончиком пальца, обозначал родинки, будто рисунок созвездий на карте звездного неба. Старик точно знал этот рисунок, сразу замечая малейшие изменения в нем; в таких местах он чуть сильнее нажимал на кожу. Старуха тут же замечала это и лаконично, но без всякого огорчения, даже скорее весело, говорила: "Раз". Старик с готовностью подтверждал: "Раз".

Сегодня та женщина снова все утро, до самого обеда, находилась у них, и с нею была еще одна женщина. Они буквально

над головами у них говорили о какой-то квартире, о мебели, о вопросах гигиены, о каких-то опасностях, которые надо иметь в виду, — словно тут, у них в квартире, проходил семинар по санитарии и технике безопасности. Старуха, сидя в кресле, продолжала спать; Старик тоже делал вид, будто дремлет: так все-таки меньше была опасность, что к нему обратятся и ему придется вступать в какие-то отношения с теми женщинами. Из-под полуприкрытых век он снисходительно наблюдал, как у одной из женщин в углах губ копилась, вспенившись, слюна. Крохотные подвижные капельки от движения губ превращались в ниточки, и было полное впечатление, будто поблескивающие эти тяжи, растягиваясь и сокращаясь, и заставляют шевелиться губы. В слова, которые они произносили, Старик не вникал; лишь слышал, что разговор, становясь то тише, то громче, не прекращается ни на секунду. Женщины, должно быть, уже довольно долго сидели в большой комнате, когда Старик вдруг понял, что речь идет о них со Старухой и об их квартире. Он инстинктивно насторожился, но не счел нужным вмешиваться в разговор — до того момента, когда одна из женщин стала утверждать, что Старуха не может говорить, то есть *не способна должным образом выражать свои мысли и желания*, а потому, разумеется, бесполезно надеяться, что... и тут женщина произнесла имя, которое, несомненно, было его, Старика, именем. Правда, с этим именем Старик не очень-то мог себя отождествить. А то, что следовало за произнесенным женщиной словом *что*, его ни в малейшей мере не интересовало. Он тут же перебил женщину, сказав, что она, видимо, неправильно понимает ситуацию, это неправда, — и здесь он тоже вынужден был произнести имя и тем самым поневоле отождествил Старуху с именем, которое две женщины то и дело называли, — что она не может говорить. Потому что именно это ведь означает "не способна должным образом выражать свои мысли и желания". У него, например, никогда, ни на мгновение не возникает трудностей с тем, чтобы *должным образом* понимать слова Старухи, и ему захотелось даже окликнуть, разбудить ее, чтобы она что-нибудь сказала этим двум глухим тетерям, пусть убедятся, что она вовсе не такая уж безмозглая. Конечно, Старик и сам догадывался, что в данный момент это невозможно, потому что Старуха *как раз в данный момент* находится не в том состоянии, чтобы что-нибудь сказать им, что-нибудь такое, что соответствовало бы особенностям их мышления. Что скрывать, Старик иной раз и сам с трудом понимал Старуху, ибо она подчас говорила бессвязно и прерывисто; но, как это ни странно, даже самые бессвязные ее сло-

ва всегда производили на Старика впечатление логической, хотя и не всегда одинаково разборчивой, речи. Словно кто-то замкнул непрерывно звучащий голос в герметичную звуконепроницаемую камеру, дверь которой через произвольные промежутки времени то на краткое мгновение, то на несколько долгих минут открывается, потом закрывается вновь. Но зачем им, Старику со Старухой, и теперь общаться между собой так, словно они, усевшись у камина и скрупулезно соблюдая церемонии, разговаривают друг с другом, как участники какого-нибудь светского раута? Конечно, у него и в мыслях не было объяснять все это совершенно посторонним людям; да у него и возможности для этого не представилось, потому что одна из женщин, еще не закончив первую фразу, с ласковым выражением на лице обернулась к нему и сказала: "Хорошо, хорошо, папа", — и тут же отвернулась к другой женщине. Эпизод завершился в итоге хуже некуда: к величайшему возмущению Старика, женщины вели себя в квартире совершенно как дома, точно знали, что и где находится, решительно всем распоряжались, и закончилось дело перестановкой мебели. Вечером Старик вынужден был отвести Старуху к ее кровати, которая стояла на новом месте; у него просто не было выхода, потому что их двойную кровать разделили, а у него не хватало сил передвинуть кровати на прежнее место. Старуха, хотя большую часть дня провела в большой комнате и позже, окончательно проснувшись, тоже наблюдала за операцией по перестановке мебели, никак не показала, что заметила изменения. После изнурительного дня у Старика не осталось энергии, чтобы помогать Старухе в ванной, он лишь смотрел, как она слегка смочила себе лицо и руки, он и сам торопливо умылся по минимуму, и они отправились спать. Старуха послушно дала надеть на себя ночную рубашку — и вскоре захрапела, погрузившись в глубокий сон. Старик побрел к своей кровати, улегся и начал было размышлять, как бы вернуть комнате первоначальный вид, но тут же заснул. Ночью же он вдруг проснулся: в комнате словно бы что-то происходило, словно бы что-то падало на пол. Он открыл глаза и несколько мгновений прислушивался: может быть, эти мягкие, неясно чем грозящие, непонятного происхождения звуки явились из его сна? Он сел на кровати, опираясь на руки: теперь уже не было никаких сомнений, что звуки исходят откуда-то из окружающего пространства и все приближаются. Он стал искать очки, но шарил сначала не там, забыв, что кровать стоит по-другому. Наконец он нащупал их — и даже смог зажечь лампу. И тут увидел Старуху: с закрытыми глазами, качаясь, она брела к нему через комнату,

правой рукой волоча за собой одеяло. Двигалась она все медленнее, так как ей приходилось тянуть за собой на шлейфе одеяла предметы, упавшие на него со стола и со стульев. Старик не в силах был ничего сказать: пересохшее со сна горло не могло издавать звуки. Он лишь глотал густую слюну, глядя, как Старуха, словно призрак, переправляется через комнату. Вскоре она добралась до Старика и медленно, боком, повалилась на кровать рядом с ним. Одеяло она по-прежнему не отпускала, пытаясь накрыться, но не могла с ним справиться из-за предметов, которые на нем лежали. Старик перегнулся через нее и, взявшись за край одеяла, натянул его на Старуху. Она, словно и не проснувшись, мирно посапывала рядом. С тех пор они долгое время так и спали, на одной кровати, потому что Старик не мог в одиночку передвинуть кровати на прежнее место. Однако их это не беспокоило: места обоим вполне хватало, так же как на прежней, двойной кровати.

Старик настороженно замер. Сквозняк, проникающий с двух сторон, еще не коснулся тела, однако нос уже чуял движение воздуха. Старик вскинул голову, пропуская сквозь чуткие ноздри воздух, поступающий с открытых пространств. Холодные запахи камня, обожженной глины, мертвого дерева, каменистой, песчаной почвы и крови. Тяжелые водяные капли равномерно падали на спину. Вбок он не мог сдвинуться; вперед ползти тоже было нельзя. Под ударами капель, что попадали в одну и ту же точку спины, пониже хребта, мокрая шерсть лучами ложилась по кругу. Старик напряг тело и потянулся вперед. Лишь голова и плечи сдвинулись в сторону открытого пространства, задняя же часть тела и ноги оставались свинцово-тяжелыми, неподвижными. Он огляделся. Руины закрывали обзор уже лишь наполовину. Слева и справа — темная, совершенно пустынная местность. Он посмотрел вперед: надо как-то пробраться на ту сторону, в укрытие, что находилось там, меж темных, бесформенных груд. Среди застывших, подвижных теней он видел зияющую черную пустоту — место, где безопасно и где есть пища. Он изо всех сил напряг мышцы груди, за ними все остальные мышцы, затем жилы, кожу — и выволок на дорогу все тело. Оно состояло как будто из двух отдельных частей. Одна — от живота и дальше, другая — от головы к спине. Эта, вторая, была сильной и цельной. Она тянула за собой совершенно неподвижную, непослушную заднюю часть. Рот Старика раздвинулся кверху, к ушам. Между узкими, растянутыми губами широкой желтой полосой проглянул оскал; между зубами, из глубины, откуда-то из желудка, вырывался мучительный хрип. Почва, в острых осколках камня и щебня, комья твердой, сухой

земли царапали, резали, раздирали кожу голого живота. Нижняя часть тела лежала на земле, задние лапы бессильно вывернулись назад и тащились по ямам и рытвинам, словно ненужные тряпки. Передние лапы, дрожа от напряжения, мелкими судорожными рывками продвигались вперед. Шея судорожно выгнулась вверх, глазные яблоки рвались из глазниц; он скалил зубы и скулил. Капли, редкие, но увесистые, теперь осыпали все тело. Кожа на животе в нескольких местах лопнула, под ней узкими полосками сочилась сукровицей живая плоть. В раны попадал кварцевый песок с каменной крошкой. В паху ползали, кусая, впиваясь в кожу, какие-то насекомые. Старик по привычке дергал головой, тянулся назад, щелкал зубами, но паразитов достать не мог. Темные горы развалин, каменные осыпи уже вздымались над головой, взгляд, насколько позволял мрак, ощупывал лабиринт, угадывая в нем места, доступные для движения, фиксируя пятна упавшего света, отмечая надежные или обманчивые, опасные точки. Он проделал примерно две трети пути, когда почувствовал, что передние лапы его подломились. Напряженные мышцы, дрожа, поддерживали тело несколько секунд, потом он грудью рухнул на землю, а холка неуклюже завалилась вбок. Он прерывисто дышал, судорожно втягивая живот. Глаза выкатились; из раздвинутой пасти вывалился вбок и лег на землю язык. Однако, как только грудь коснулась почвы, сила вновь потекла в его жилы; зябкая сырая земля вытягивала из тела жар, а с ним — и слабость. Время от времени он вздергивал голову, поднимая нос к небу. Каждый раз он чуял одно: холодный, постепенно смешивающийся с влагой запах камня, обожженной глины, мертвого дерева, каменистой, песчаной почвы — и крови. Тело болело снизу и изнутри, болело непрекращающейся, тупой болью. Он кое-как перевалил заднюю часть туловища на брюхо, приподнял грудь и, вновь напрягши передние лапы, пополз через дорогу. Желудок жгло от голода, глотку палило жаждой; но он почти уже был в той яме, куда стремился, почти рядом с той плотью, неведомой и сладкой, что, разодранная и разможженная, проступала, чуть пузырясь, меж камней... Ворча, повизгивая, скалясь, Старик набросился на нее, мотая головой, рвал зубами, жадно вгрызался, лакал кровь. Голова его, опущенная к самой земле, ушла во впадину между лопатками, передняя часть хребта вздыбилась горбом, в то время как задняя распласталась по земле. В яме постепенно собиралась дождевая вода; чтобы напиться, ему нужно было всего лишь повернуть морду... Он явно переел: кровь в жилах стала густой, отяжелело сердце, мозг; голова его склонилась на камень, глаза закатились; еще мгновение — и он уснул с открытыми глазами, словно в обмороке... Проснулся Старик от собст-

венного воя. Выл он громко и долго, пока голос его не соприкоснулся с сознанием; тогда он замолчал. За окнами светало. Он повернул голову: к счастью, Старуха не проснулась. Детали ее лица в синеватом брезжащем свете проступали из вмятин подушки.

Старик вдруг, совершенно неожиданно, ощутил острый позыв к мочеиспусканию. Это было в самом деле неожиданно: послеобеденная истома, проходящая обычно лишь к вечеру, притупляла все ощущения. Старик не только любил, но и очень ценил такие минуты, которые иногда, при удачном стечении обстоятельств, складывались даже в часы; это было блаженное состояние, когда между телом и сознанием опускается тонкая, но плотная пелена приятного полузабытья, всеохватывающей расслабленности, и сигналы из внешнего мира или совсем не проникают к тебе, или проникают до предела ослабленными. И пока сознание, полностью или частично отгородившись от всякого рода раздражителей, как будто всего лишь мерцает, дух, напротив, пробуждается, проясняется и, лениво потягиваясь, обволакивает какую-нибудь одну-единственную, незамысловатую мысль. Словом, Старик долго не воспринимал напряжение, постепенно нарастающее в нижней части живота, не обращая внимания на мелкие покалывания, множащиеся и усиливающиеся в мочевом пузыре. И вот — этот неожиданный, словно приступ, позыв; вдвойне неожиданный потому, что ко второй половине дня организм Старика в основном успевал уже переработать и выделить то значительное количество жидкости — главным образом горячей воды, — которую он выпивал с утра. Старик открыл глаза — и тут его словно резануло что-то в области поясницы. Он стиснул колени и слегка наклонился вперед. Мышцы ног, ягодицы, сфинктер стремительно напряглись; напряжение охватило всю нижнюю часть тела, перехватив мочу, которая уже двинулась по каналу. Однадве капли, может, успели все-таки просочиться; даже, скорее всего, так и было, хотя Старик все еще был способен — если не считать раннего утра — не мочиться по нескольку часов кряду. Правда, на белье у него постоянно появлялись желтые пятна, но свидетельствовало это не о деградации мышц мочевого пузыря, а лишь об отсутствии должного терпения: часто он, не дождавшись конца мочеиспускания, прятал в кальсоны еще капающий пенис. Старик оперся локтями на поручни кресла, потом обхватил руками поручни, обтянутые искусственной кожей, и слегка приподнялся на сиденье. Старуха сидела напротив, немного наискосок от него, с опущенной головой — и глубоко спала. Старик — может быть, от звука скрипнувшего

кресла — поколебался с минуту, потом опять сел. Несколько секунд он не шевелился, потом осторожно откинулся на спинку, устремив куда-то перед собой невидящий взгляд. И медленно-медленно расслабил все мышцы, позволив моче вытекать из пузыря. Низ живота все еще был сведен болезненной судорогой, но по каналу уже спускалась, согревая пенис, приятная теплота. Старик закрыл глаза и блаженно вздохнул. Моча сперва растекалась широким пятном по толстой ткани кальсон, потом, пропитав ее, обильно хлынула дальше, омыв мошонку и быстро добравшись до заднего прохода. Старик всем своим существом отдался чувству освобождения, наслаждаясь теплом, которое охватывало тело. Черты лица его разгладились, сквозь опущенные веки мерцало неяркое розовое сияние — примерно так ощущается солнечный свет, падающий на закрытые глаза. Моча уже текла по ногам, пропитывала штанины; мокрая ткань быстро остывала. Но Старик этого пока не ощущал: моча все еще изливалась обильно, согревая кожу на ногах вплоть до щиколоток. Она намочила носки, полилась в шлепанцы, на пол. Наверное, что-то еще сочилось — тут Старик наконец открыл глаза. Старуха, видимо, какое-то время назад проснулась — и сейчас удивленно смотрела на Старика. Потом, переведя взгляд на его штаны, покрытые темными мокрыми полосами, на лужу, растекающуюся у ног, засмеялась, сначала неуверенно, вполголоса, потом все громче. Старик слегка склонил голову набок, растерянно глядя на Старуху, потом засмеялся и сам. Они хохотали долго, самозабвенно, всем существом погружаясь в ощущение счастья.

По утрам, обиходив Старуху, Старик обычно занимался бумагами. Эти утренние часы особенно благоприятствовали осуществлению тех, не поддающихся точному определению, дел, которые Старик называл — разбирать бумаги. Занятие это он откладывал на послеобеденное время лишь в тех случаях, когда в квартире находился кто-нибудь посторонний. После завтрака, как только выдавалась минута, Старик направлялся в комнату, что выходила окнами на площадь, закрывал за собой дверь и принимался наводить порядок сначала вокруг стола, потом на столе. В первые моменты он каждый раз — словно попав в незнакомое место — неуверенно ощупывал предметы, лежащие на столе, с трудом ориентируясь среди различных письменных принадлежностей. На спинке стула, стоящего у стола, висела одежда. В зависимости от погоды за окном Старик надевал или легкий жилет, или теплый кардиган. Если погода была ветреная и в щели оконных рам дуло, он выбирал кардиган, если же светило солнце, согревая комнату, тут, ясное дело, больше под-

ходил жилет. В особенно ненастные дни он старался раздвинуть плотные шторы так, чтобы они загораживали края рам со щелями, пропускавшими холод, середина же оставалась открытой, пропуская в комнату свет. Задача была непростая, так как на подоконнике вечно стояло множество всяких мелких предметов, которые было легко сбить, двигая штору. Иной раз дело складывалось так неудачно, что все эти предметы со звоном и грохотом сыпались на чугунный радиатор, а то и за него, и вылавливать, вытаскивать их оттуда, из пыли и темноты, приходилось в процессе долгих, изнурительных поисков. Собственно говоря, никакой нужды в этих предметах не было, даже напоминать они ни о чем не напоминали; они просто относились к обстановке, и Старик принимал это как должное. На письменном столе никогда не было беспорядка, однако предметы, которые там находились, все менее просились в руку и требовали все больше времени, прежде чем удавалось разместить их в том порядке, какой ему был необходим. В последнее время Старик исключительно много занимался выбором письменных принадлежностей, а также изучением следов, которые различные карандаши и ручки оставляли на обеих сторонах бумажного листа. Особенно притягивали его внимание свойства карандашей с грифелем разной степени твердости: потому, может быть, что он впервые за долгое время снова пользовался карандашами. От электронных устройств он совсем отказался — и даже совсем удалил их из комнаты. Даже перьевая авторучка казалась ему слишком претенциозной, и он избегал ею пользоваться; шариковая ручка тоже ему не нравилась: очень уж резкими, грубыми выглядели следы, которые она оставляла на бумаге. Едва ли не с ужасом разглядывал он бесцветные борозды на обратной стороне исчерканного шариковой ручкой листа: они были словно вспухшие следы плетки или розги на гладкой коже. Он открыл верхний левый ящик стола: тут он держал письменные принадлежности, которыми в это время не пользовался. Взгляд его сразу упал на блестящий, серебристый карандаш. Прежде он почти не пользовался карандашами, главным образом потому, что не умел их затачивать: или ломал грифель, или затачивал карандаш криво — так что результатом всегда был недоволен. Сейчас беспокоиться об этом не надо было: карандаш был заточен машинкой, и острый кончик его был безупречен. Старик вынул его, провел линию на чистом бумажном листе. И почувствовал себя так, словно внезапно нашел тропу, ведущую к дому. Грифель скользил по бумаге легко и бесшумно. Не врезался в нее, не сливался с линейками, а летел по поверхности, словно был ее продолжением. Не наносил знаки на бумагу, а словно извлекал их из нее. И

хотя линия, оставляемая острием грифеля, выглядела однотонной, все-таки нельзя было с полной уверенностью сказать, усиливается или ослабевает ее яркость от начала к концу. С тех пор Старик пользовался исключительно карандашом. Особенно он заботился об острие; грифель вообще-то мало его интересовал, важны были движения руки с зажатым в ней карандашом, полет, размашистость линий. Неуверенность, с которой он садился за стол, скоро проходила, и если Старуха после завтрака мирно дремала в кухне или настолько погружалась в себя, что не замечала отсутствия Старика, — он проводил за письменным столом несколько спокойных часов, заполненных содержательной деятельностью... Правда, в то утро ему пришлось несколько раз прерваться. После завтрака Старуха быстро обнаружила, что Старика нет. Он слышал, как она, шаркая, бродит туда-сюда, бормоча что-то себе под нос, а может, обращается к нему; это, однако, не очень его беспокоило: из множества самых разных шумов и шорохов он всегда совершенно точно и почти бессознательно мог выделить те, на которые следовало обратить внимание. Тот привычный, мирный звуковой фон, который связан был со Старухой, не мешал ему, скорее даже успокаивал, ведь так он постоянно убеждался в том, что может без помех продолжать свое занятие. Однако Старуха вдруг принялась толкаться в неплотно прикрытую дверь, слабо, но упорно, и, в конце концов распахнув ее, появилась на пороге, голая снизу до пояса. Подойдя к сидящему за столом Старику, она встала рядом, привалившись голым животом к его плечу. Старик обернулся к ней, но не поднял головы, только ласково похлопал Старуху по ляжке. Сейчас нельзя, сказал он; Старуха постояла, глядя куда-то над головой Старика, потом покорно ушла назад, в кухню. Старик закончил прерванное дело и пошел следом за ней. Старуха сидела в кухне за пустым столом и тихонько плакала. Старик погладил ее по голове, одел, потом вернулся к письменному столу. Однако работа в тот день шла неважно: Старуха еще дважды наведывалась к нему, так что большая часть времени, предназначенного для разбора бумаг, ушла на непростое одевание. Старуха же, как в этом легко было убедиться, воспринимала церемонию с удовольствием, смеялась не переставая, прижималась к Старику головой, болтала всякую несуразицу и каждый раз, то есть трижды, требовала накормить ее завтраком. Потом вдруг — видимо, переутомившись — погрузилась в глубокий сон. Старик был уверен, что теперь-то он может провести в другой комнате даже больше времени, чем обычно; но на сей раз ему уже не захотелось возвращаться к письменному столу, и он остался рядом с

похрапывающей Старухой, оставив, будто по забывчивости, ладонь на ее руке.

Старик снял носки, лег на кровать и накрылся пледом. Руки, вытянутые вдоль тела, лежали полураскрытыми ладонями вниз на матраце. Когда тело приняло привычную позу, сознание Старика мягко перетекло в выработанное долгими тренировками состояние. Вот только тренировки эти давно уже поменяли свою направленность: помогали не сконцентрировать внимание, но, напротив, рассеять. Неторопливо, осторожно выкачивал он из тела оставшуюся там энергию. Сначала из кистей рук, потом из предплечий, затем из ног и, наконец, из груди. Опустись ему на руку пушинка — он и ее бы в этом состоянии не смог удержать. Тело, словно лишившись всех своих твердых компонентов, утратив вес, выскальзывало из своей оболочки и растекалось в воздушном пространстве. Лицо Старика в такие минуты становилось белым, кожа обтягивала кости черепа, нос заострялся. Сознание подрагивало едва ощутимой пленкой на поверхности воды, но уже не пробивалось, не всплывало наверх, и земля более не возвращалась на свое обычное место. Все затопляла влага. В углах рта появлялись тонкие ручейки слюны, под носом и под глазами мерцали неопределенных очертаний пятна, намокали нижние отверстия, а в то же время глазницы, нос, глотку опаляла сухость. Язык — словно окаменевшая глина, дыхание смрадно, воздуха в легких не хватает, хотя грудная клетка продолжает равномерно вздыматься и опадать. Дым окутывает лицо, пальцы рук судорожно подергиваются. Самосознание полностью распадается, трепещет в клочках и обрывках, ничто больше не укрывает его: ни материя, ни кожа, ни плоть; сосуды и капилляры пустеют, все заливает сквозящий холод, глаза закатываются, в горле шуршит сухой целлофан. Тяжелое дыхание замедляется, воздух движется только наружу, то и дело прерываясь, и, наконец, останавливается совсем. Он словно всегда, извечно лежал вот так, вытянувшись на постели, накрытой пледом, положив руки вдоль тела, погрузившись в ничем не нарушаемую тишину. Потом вдруг зрачки его резко сужаются, голова дергается, он с хрипом хватает ртом воздух, словно всплыв после долгого-долгого, бесконечного погружения... Старуха тем временем мирно дремала в кресле, или следила за бликами и тенями, шевелившимися в стекле балконной двери, или бродила по комнате, перекладывая вещи с места на место, наводя порядок. В такие моменты она Старика никогда не трогала. Наверно, думала: прилег отдохнуть ненадолго, вот же он, лежит на кровати, укрытый пледом, глаза закрыты, не шевелится. Имеет же он пра-

во отдохнуть, день длинный, ему тоже вон сколько приходится хлопотать. Пусть спит. Ничего иного в такие моменты, глядя на Старика, она и не могла думать, не подозревая ни о погружениях, ни о всплытиях. Да и как она могла что-то такое подозревать, если ни того ни другого на самом деле не существовало. Ни погружения, ни всплытия. Существовал лишь долгий, бесконечный сон и в нем — вспыхивающие и гаснущие образы.

По вечерам, чаще всего перед ужином, они гуляли на свежем воздухе; если не считать дождливых, ненастных дней, прогулки они не пропускали почти никогда. Сильные морозы случались редко, но Старик со Старухой и в мороз не отказывали себе в свежем воздухе; разве что время прогулок существенно сокращалось. Жару они оба любили, а от палящего солнца их защищал обычный пляжный зонт, старомодный, но совершенно целый. Зонт, однако, использовался редко: квартира была расположена так, что к началу прогулки солнце — даже в летние дни — уже скрывалось за скатом крыши. Вечерний моцион отменялся лишь в тех случаях, когда они слишком долго спали после обеда и у Старика не оставалось времени, чтобы одеть Старуху и самому одеться в соответствии с погодой. Дело в том, что прогулка требовала немалых приготовлений. Старуха, правда, охотно принимала участие в процедуре одевания, часто даже помогала Старику, а в сухую и солнечную погоду почти все, что требовалось, делала сама. И все равно Старику — если день был не очень уж знойным — на одевание требовалось много времени. Во-первых, он тщательно упаковывал свое тело самой различной одеждой. Открытыми, даже в мороз, оставались лишь голова и руки. Сначала он надевал длинную нижнюю рубашку из ангорской шерсти и теплые кальсоны. Потом — толстые, длинные, почти до колен, носки, в которые аккуратно заправлял штанины кальсон. После этого начинал заниматься Старухой: оденься он полностью, он бы весь вспотел, одевая ее. Если на улице было очень холодно, он, управившись со Старухой, сам еще без пальто, усаживал ее возле окна с открытой фрамугой, и лишь после этого натягивал еще пару коротких тонких носков, штаны на подкладке, шерстяной пуловер, на него — жилет и пиджак. Затем, поставив Старуху на ноги, говорил: "Пошли". В передней они надевали пальто, заматывали шею шарфом, Старуха часто натягивала перчатки; голову же она тоже ничем не покрывала. Наконец, улыбнувшись друг другу, они выходили на балкон. Они сидели практически над городом, на одной высоте с раскидистыми кронами платанов, их ровесников; если не смотреть вниз, сквозь пузатые столбики балюстрады, то города не видно было совсем. Подставляя лицо

и лоб холодному воздуху, Старик ощущал какое-то почти животное удовольствие оттого, что все тело его тщательно укрыто и находится в тепле, словно защищено густой, плотной шерстью или, может быть, теплым, равномерно распределенным воздухом, или жидкостью, которые позволяют долго не терять приятной для тела температуры. В такие минуты ему не нужна была никакая природа, ничто не мешало ему наслаждаться жизнью; разве что летом, когда он снимал даже носки и никак не мог найти места для голых ступней — у него возникало ощущение дискомфорта. Он чувствовал некоторое недовольство собой: наверное, нехорошо, что целый год он живет, ходит по квартире, совсем не касаясь ногой почвы, травы... Так они сидели, дыша свежим воздухом, и сами словно становились частью листвы и крон древних платанов. Когда однажды в квартиру пришли две чужие женщины, Старик и Старуха как раз были на балконе, хотя за окном уже какое-то время, медленно кружась, падали хлопья снега. Женщины не искали их: возможно, они подумали, что Старик со Старухой находятся в туалете и скоро сами выйдут. Лишь спустя какое-то время они обнаружили, что те мирно дремлют на балконе, укрытые толстым слоем пушистого снега. Фигуры их, привалившиеся друг к другу, белели в молочных сумерках, словно два снеговика.

Уже долгое время они не выходили за порог квартиры. Однажды Старик — с большим облегчением — заметил, что его коленные суставы, преодолев несколько ступеней, полностью отказываются служить ему; особенно когда он поднимается вверх. Так что теперь он мог существенно сократить ненужные и обременительные контакты с окружающим миром. Самозваные попечители, разумеется, тут же выступили с хитроумными планами переселения. Однажды Старика и Старуху даже вынудили для пробы провести некоторое время в какой-то квартире на первом этаже. Старик целый день сидел в незнакомой, с затемненными окнами комнате, терпя грохот и вонь города, отворачиваясь от бессмысленных вспышек света, пробивавшегося даже через плотные занавеси на окнах. Старуха, к счастью, весь апокалипсис проспала. Вечером их привезли домой и больше с предложениями о переезде к ним не приставали. Старик знал: чем выше он живет, тем ближе оказывается к тому состоянию, когда делает только то, чего не может не делать, и не делает ничего, что делать не может. На Старуху же часто находила охота куда-нибудь идти. В такие дни она почти не спала, даже ночью, лишь бродила из комнаты в комнату, из угла в угол, задерживаясь лишь для того, чтобы переложить что-нибудь с места на место. Ста-

рик сквозь сон слышал, как она выдвигает ящики, открывает шкафы, шуршит свертками и коробками; звуки эти отдавались эхом у него в голове даже после того, как период беспокойства заканчивался и Старуха мирно сопела рядом с ним в постели. Во время одного из таких приступов она выпотрошила огромный трехстворчатый шкаф, грудой вывалив на пол все содержимое, — пока не нашла в нем небольшой, но прочный чемодан из свиной кожи. Чемодан был стянут ремнем, но Старуха без большого труда расстегнула пряжку и открыла замок. Чемодан доверху был набит старыми фотографиями. Старуха и не подумала их рассматривать: она набила ими пластиковый пакет, а пакет вынесла в кухню, в тот угол, где стояло ведро с мусором. И потом несколько дней укладывала в чемодан, вынимала и снова заталкивала туда всякую всячину: одежду, столовые приборы, шампунь, мыло, другие предметы личной гигиены — стараясь все это разместить как можно компактнее. Старик не вмешивался, следя лишь за тем, чтобы в эти дни во всех помещениях, даже ночью, горел свет: войдя куда-нибудь, где было темно, Старуха замирала на месте и больше не двигалась. Если Старик не приходил вовремя, она терпеливо стояла в темноте, потом, когда ей это надоедало или она уставала, садилась или ложилась на пол и засыпала. Если же Старик шел за ней и включал свет, она шла по своим делам дальше... Однажды утром Старик готовил на кухне свой завтрак, когда Старуха неожиданно появилась в двери и сообщила: "Фридеш приехал". Старик не ответил, продолжая натирать яблоко; Старуха, подождав, повторила: "Фридеш приехал". Старик отложил терку и яблоко, вытер кухонным полотенцем руки и пошел за Старухой. Та отвела его в комнату, к чемодану, и еще раз сообщила насчет Фридеша. Старик кивнул и вернулся в кухню. После этого Старуха полностью забыла про чемодан. Старик в тот же день, не открывая его и не распаковывая, убрал чемодан в шкаф. Однако иногда Старуха не довольствовалась путешествиями по квартире, под разными предлогами норовя выйти наружу. Уговорами или хитростью Старику удавалось отвлечь ее от подобного рода поползновений. Как-то в углу комнаты, в щели между книжной полкой и стеной, Старик обнаружил длинный картонный цилиндр. Движимый любопытством, он извлек из него свернутый трубкой постер, красочную репродукцию то ли фотографии, то ли картины. Там был изображен мирный луг с цветами, а за ним, в непосредственной близости, высился горный пик, засыпанный снегом. Старик прикрепил репродукцию на внутренней стороне входной двери, и каждый раз, когда Старуха испытывала желание

выйти из квартиры, он говорил ей: не думает же она, что они могут перебраться через эту громадную гору. Старуха никогда с ним не спорила. Картина оставалась на двери до того дня, когда Старухе стало плохо и ее пришлось отправлять в больницу. Старуха послушно устроилась на носилках, но, едва санитары, подняв ее, подошли к двери, она закричала, что это невозможно, что они вообще о ней думают; словом, устроила безобразную сцену. В конце концов Старик надел на нее свою дубленку и нахлобучил ей на голову свою меховую шапку; после этого Старуха без сопротивления позволила, чтобы ее вынесли из квартиры. Старик вышел на балкон, но не дождался, пока уедет "скорая": стояла такая жара, что они несколько дней даже не выходили дышать свежим воздухом. Он лишь увидел, как санитары выходят из подъезда с носилками, на которых, закутанная с ног до головы в зимнюю шубу, лежит Старуха. В больнице она провела несколько дней. Перед ее возвращением Старик снял постер с двери.

Читать Старик не мог. Он точно понимал смысл отдельных знаков и слов, однако более крупные языковые единицы были для него непостижимы. Лишь в исключительных случаях раскрывался у него в голове, или скорее в сердце, смысл какого-нибудь предложения. Однако исключительные случаи эти создавались не им, а какими-то физическими и психическими предпосылками, содержащимися в самом предложении. Окружающих это ввергало в недоумение, и трудности, которые Старик испытывал при чтении, точнее, в понимании того, что читал, они воспринимали как новый признак духовной его деградации. Старика, впрочем, ни в малейшей мере не смущало, что иные считают его неграмотным или просто выжившим из ума. Более того, обстоятельство это было ему на руку, избавляло от необходимости выполнять нечто, заведомо ему не нужное, лишнее. Да, прежде чтение было частью его натуры. Неотъемлемой частью. И он, как ни прискорбно, все еще не смирился с тем, что разучился читать. Все еще относился к этому как к утрате. Обнаружив, что он не понимает прочитанного, Старик с горечью решил, что это некий паралич, охватывающий его существо постепенно, медленно, коварно, но абсолютно необратимо. Вначале этот процесс был почти незаметен, потом стал проявляться в мелких, хотя и реальных, но пока еще не осознаваемых, не пугающих признаках, а со временем — все более явно и грубо, все более стремительно. Его отношение к книгам изменилось; он впервые заметил это, после того как во второй или в третий раз обнаружил, что не может дочитать книгу до конца. Он задумался; но большого значения этому фак-

ту не придал. И даже порадовался немного: смотри-ка, он уже не ощущает навязчивой потребности дочитать до последней точки любой текст, который попадает ему на глаза. Его даже не смущало то, что он, не закончив, бросает вне всяких сомнений заслуживающий внимания текст. Он просто *не способен* был читать его дальше. Впервые он серьезно испугался, когда заметил, что тратит все больше времени на выбор того, что читать. Он брал в руки одну книгу, другую, третью. Раскрывал ее, листал, выхватывал глазами какую-нибудь фразу, недлинный абзац, пробегал взглядом введение, послесловие, прочитывал примечания, но в сам текст погрузиться не мог. Последняя стадия наступила внезапно и совершенно неожиданно. Он вдруг обнаружил, что как только открывает книгу и начинает складывать слова в предложения, голова становится невыносимо тяжелой, словно на нее давит груз свинцовых литер всех прочитанных ранее книг. Плотный слой лунатического равнодушия ложился на мозг; часто он прочитывал строчки, страницы, целые главы, но их смысл не пробивался сквозь этот слой. Все с большим отчаянием он громоздил вокруг себя разнообразное чтиво. Подчас он читал сразу полдюжины книжек — но, полистав несколько страниц, откладывал каждую. И в какой-то момент замирал в тоскливом недоумении: какое ему дело до всех этих многословных, надуманных историй? Ему казалось, с ним говорят некие чуждые, даже, может быть, инопланетные существа. Правда, язык их он, по всей очевидности, знает, и все-таки не понимает ни слова ни в подробных описаниях, ни в запутанных, полных глубокого смысла диалогах. Бесспорно, иной раз он и сам отдавал себе отчет в том, что описание в точности соответствует тому, что описывается, или что рассказчик говорит то, что обычно и говорят в подобных ситуациях, — но звучание, пульсация речи до него не доходили. Знаки простонапросто лишены были среды, в которой могли распространяться. Они прилипали к бумаге, вдавливались в ее волокна. Духовная субстанция лишь в том случае могла бы переселиться в них, если бы и сама сошла, шагнула в эту плоскость, пустив корни в ткани белых листов. Старик смотрел на буквы с отстраненным интересом, как на коллекцию насекомых, умело препарированных и аккуратно пришпиленных к чистой бумаге. В то же время, лишившись охоты к чтению, он чувствовал себя так, словно у него отняли значительный кусок его естественной среды. В утренние часы, одев, накормив Старуху, он беспомощно и смущенно сидел в комнате, окнами выходящей на площадь, и взгляд его потерянно бродил по стенам, будто у заключенного, который, попав в камеру, еще не знает, что готовят ему тюремщики. Иной раз, подчиняясь давней привычке, он

брал с полки какой-нибудь том, нервно листал его, потом раздраженно заталкивал обратно; или вдруг засыпал, опустив плечи, с раскрытой книгой на коленях. В один из таких моментов его застала Старуха. Сначала она остановилась в дверях, растерянно потопталась, но потом подошла к нему, наклонилась и, едва касаясь головой его лба, осторожными, ласковыми движениями подняла его голову. Когда лица их оказались на одном уровне, она прислонилась лбом ко лбу Старика и, глаза в глаза, испытующе стала рассматривать его лицо. Сначала справа налево, потом сверху вниз — и, следуя за своим взглядом, губами касалась его кожи, словно таким образом хотела прощупать его лицо, снимая, стирая с него налет страдания. Старик начинал понемногу просыпаться и, открыв глаза, сразу погрузился взглядом в глаза Старухи. Зрачки ее были такими чистыми и зелеными, что в них можно было плыть бесконечно, до изначальных времен. Книга выпала из рук Старика. Услышав шелест и стук, он на мгновение замер. Но потом улыбнулся, глядя в Старухины глаза. И зная: в них, в этих глазах, он ничего, что его беспокоило бы, не увидит. Ничего.

Мыться Старик не любил. Он считал, что это совершенно ненужное времяпрепровождение — два-три раза в день по десять-двадцать минут стоять на металлическом эмалированном поддоне, в облаке пара, перехватывающего дыхание, поливая себя жесткой, известковой водой, хлещущей из ржавых труб. Определенные части тела он, естественно, мыл ежедневно, но лишь теплой водой. Ощущение скользкой мыльной пены ему тоже не нравилось. Если иногда он все-таки намыливал тело, то долго не мог смыть с кожи жирную слизь: она въедалась в поры, загустевала там и закупоривала их. Его коже, и без того сухой, скверная водопроводная вода и мыло с намешанной в него всякой химией были только во вред. Хотя кремы для кожи и лосьоны всегда вызывали у него отвращение, в последнее время он вынужден был пользоваться ими все чаще. Когда по утрам он по старой своей привычке тер сухой ладонью все тело, из-под руки иной раз, словно пыль, сыпались частицы высохшей кожи. На лице же, особенно в складках — например, возле крыльев носа, — появлялись настоящие чешуйки, которые, если их не смазывать, воспалялись, вызывая неприятный зуд, или, полностью высохнув, отваливались. Кромки же желтоватых пластинок врастали в кожу так, что их приходилось отдирать ногтями, а новый слой кожи под ними смазывать влажным кремом. Словом, утром, после сна, Старик обычно лишь чистил зубы и мыл ноги; ну и еще ополаскивал нижнюю часть тела спере-

ди и сзади. Чистя зубы, он, как правило, мог довольно точно определить свое общее физическое состояние на этот день; об этом свидетельствовало количество крови, которое он выплевывал с водой, полоща рот. Десны его, хотя и слабели, однако еще удерживали передние зубы, да и кое-какие из коренных, оставшиеся между коронками и мостами. Однако полость рта чувствительно реагировала на любые, ощутимые или незаметные, внешние и внутренние, изменения, будь то погода на улице, температура в квартире или общее самочувствие Старика. В неблагоприятные дни передние зубы во рту шатались, словно у мальчишки-первоклассника, и в раковину, чистя зубы, он выплевывал воду пополам с кровью. Если он вставал попозже и погода на улице была потеплее, кровь окрашивала только щетинки зубной щетки. Но бывало и так, что десны начинали вдруг кровоточить среди дня, без всякой явной причины. Он отчетливо чувствовал, как размягчаются, теряют упругость десны, как начинает сочиться между зубами кровь. В последнее время Старик все чаще принимал душ, потому что у него изменился запах тела. Его это не удивило: нечто подобное произошло уже со Старухой. Запах был несильный, но совершенно не похожий на тот, к которому он привык. Сначала Старик подумал: новый запах откуда-то принесла Старуха. Он даже нюхал потихоньку ее одежду; потом решил, что собака зарыта, скорее всего, в каком-нибудь новом стиральном порошке или средстве ухода за кожей. Однако скоро обнаружил, что запах исходит просто от кожи, даже свежевымытой. Это не было зловонием, просто — другой запах, и лишь в редких случаях приятный. Он и собственный изменившийся запах обнаружил сначала на коже Старухи. Запах исходил не от оставшихся на нижнем белье следов мочи или кала, не от желтоватых, пораженных грибком ногтей, не от остатков пищи во рту, не от слабо закрывающегося заднего прохода, не от выделений, скапливающихся иногда в углах глаз. Может, это и не запах был вовсе, а лишь сочетание неких ультратонких частиц, которые можно было воспринять только обонянием. Во всяком случае, Старик отчетливо его ощущал — и уверен был, что его чувствуют и другие. И тщетно пытается он удалить его водой, мылом, заглушить другими запахами. Этот запах окончательно и бесповоротно принадлежал ему и распространялся все быстрее, цепляясь за каждый отдельный атом воздуха, отягощая, затрудняя, парализуя дыхание.

Зрение Старик утратил, когда Старухи не было рядом. Говоря точнее, он по-прежнему распознавал контуры предметов,

различал в границах этих контуров светлые и темные пятна, но все это видел в белом цвете, вернее, в оттенках белого. Сначала он решил было, что его ослепил льющийся в окно яркий солнечный свет и в затененной квартире зрение его быстро придет в норму. Нащупывая руками дорогу, он побрел в комнату, выходившую окнами на улицу, и там сел — почти упал — на первый же стул, сделал долгий выдох, зажмурил глаза. Перед ним беспорядочно дергались и метались образы только что виденных эпизодов, но двигались они, уже выпав из общего порядка происходящего, рассыпая слепяще яркие, хаотичные искры. Он торопливо открыл глаза — правда, совсем чуть-чуть, только чтобы хоть что-то увидеть из-под слабо подрагивающих век. Однако дрожь эта, исключительно тонкая, лишь немного притеняющая поле зрения, сейчас была приятна: она смягчала яркий свет, заливающую все вокруг белизну. Потом он, очевидно, уснул, так как спустя какое-то время обнаружил, что сидит совсем в другой позе. Спина его сгорбилась, голова упала вперед, руки, свисая между колен, тянули вниз плечи, из глотки же через открытый рот вырывался негромкий, сухой, хриплый храп. Он вытянул из-под стула ноги и вновь оперся на всю поверхность ступни. В результате тело выпрямилось, и он откинулся на спинку стула. Яркое мерцание почти полностью прекратилось, уступив место однородной, неподвижной белизне, словно внутреннюю поверхность век смазали густой белой краской. Старик открыл глаза, но ничего, кроме белизны, не увидел; все вокруг было белым. Он бросил взгляд в окно — и с удивлением обнаружил, что уже наступила ночь. "Видно, основательно я поспал", — думал он, глядя в недвижную белую тьму. Потом медленно поднялся и двинулся в сторону ванной комнаты. Ориентироваться было непросто: ведь все вокруг было белым. Белой была и высокая стена из книжных полок, она делила комнату пополам, в середине имелся проход в виде арки; белыми были книги на полках, деревянные статуэтки, стоящие на полу в углах, растения в горшках, ковер, зеркало, стены, двери; даже электричество зажигать не пришлось; предметы светились сами, словно белизна шла изнутри, изнутри освещая каждый отдельный атом. Старику откуда-то знакомо было это ощущение — белое ощущение, когда мгновения, словно взмахи широких белых крыльев, наплывали чередой, неспешными волнами, равномерно и бесконечно; и знакома была вздымающаяся в такие моменты неподвижная белая тишина, которая впитывала в себя, поглощала память, растворяла в себе его "я", и лишь какие-то неосознанные импульсы, исходящие от тела, давали о себе

знать, легкой рябью пробегая вдоль нервов. Состояние это Старик не воспринимал как враждебное; но сейчас белизна вызывала у него ощущение, близкое к ужасу. Вернувшись в комнату, окна которой выходили на площадь, Старик натянул на себя свои пуловеры и жилеты. Он не понимал, как это получилось, что он одет так легко: ведь когда он смотрел в окно, там огромными хлопьями падал снег, и это вдруг наполнило его душу безграничным покоем. Ну конечно же, все вокруг белое: и деревья на площади, и густая путаница ветвей, и плоские пятна земли, проглядывающие между кронами, и небосвод, исчерченный вдоль и поперек косыми штрихами. Вот почему все залито белым сиянием, вот почему белизной залита вся квартира, и не только квартира, но и внутренняя сторона век, когда Старик на мгновение прикрывал глаза. Он стоял у окна, смотрел на снегопад и уже не чувствовал ужаса. Медленные, плотные хлопья словно замирали, поравнявшись с окном, пушистые, мягкие, как клочья ваты; Старик с удовольствием зарылся бы в них с головой... Вдруг он дернулся; всю нижнюю часть тела заполонили множественные покалывания крохотных игл. Он совсем забыл, куда направлялся перед этим: еще в комнате окнами на улицу ему срочно понадобилось в туалет. Он едва успел добраться до ванной комнаты. Там сел – скорее упал – на сиденье унитаза, и из него полилась горячая струя. Он с облегчением перевел дух, оперся локтями на колени, положил голову на руки. Странным образом белизна проникла даже сюда, в полностью изолированное помещение ванной комнаты. Она растекалась по кафелю, по стене, по стиральной машине, по полотенцам... Тут под батареей отопления словно бы шевельнулось что-то. Всего лишь какой-то крохотный, тонкий белый штришок, как бы продолжающий едва заметную щель под плинтусом, только не параллельный стене, а отходящий от нее под острым углом. Белая тень медленно, но все-таки проворно приближалась. Не было никаких сомнений, да Старик теперь и сам ясно видел: белый штришок – это обыкновенный муравей-жнец, *messor structor*, констатировал в мозгу былой коллекционер. Видимо, это был самец: торакс был закрыт какой-то белой, совершенно прозрачной пленкой – очевидно, крыльями. Брюшко соединялось с грудью стебельком, состоящим из двух сегментов. Передняя часть тела представляла собой скорее цилиндр, задняя – скорее шар. Как только моча перестала шуметь, Старик услышал высокое, но исключительно деликатное стрекотание. Тоненький штрих под радиатором тем временем все вытягивался: оказалось, там двигался не один, а целый взвод муравьев-жнецов, под уг-

лом примерно шестьдесят градусов к стене, и путь их пролегал мимо ног Старика. Тот с изумлением следил за шествием насекомых. Крохотные белые пятнышки, виляя брюшками, ползли по белому полю, напоминая белесый лоскуток тумана. Поскольку направление, в котором вереницей двигались муравьи, обозначилось четко, взгляд Старика скользнул вперед, до той плитки, которую он различал еще довольно ясно; затем он перевел взгляд на предыдущий квадратик. Первые особи вскоре добрались сюда. В тот момент, когда они перебирались через крохотную выпуклость шва, соединявшего плитки, Старик еще четко видел их подвижные тельца; в следующий момент картина стала бледнеть, а на пути до следующего бугорка очертания муравьев совершенно растворились, растаяли в белизне. Старик не двигался, пока последняя особь не прошествовала перед его глазами, утонув почти незаметно в белом тумане.

Старик теперь часто не в состоянии был понять, кто скрывается под местоимением первого лица единственного числа. Когда Старуха, например, говорила: "Я хочу есть", он не знал, кого или что обозначает самый первый элемент конструкции этой сингулярной парадигмы. Они сидели за пустым кухонным столом, завершив очередную будничную процедуру, и словно ждали чего-то. Старик, возможно, только что убрал со стола после завтрака, снял скатерть, вытряс ее на балконе, но обратно все же не постелил. Деревянная столешница, раздвигаемая в длину, покрыта была светло-серым, с прожилками, пластиком. Неприятный материал: не воспринимает ни тепло рук, ни температуру воздуха. Уже по этой причине стол каждый раз застилали скатертью. Сейчас поверхность стола блестела, совершенно пустая, — наверное, до того момента, когда Старик соберется с силами и снова постелит скатерть. Стол стоял напротив балконной двери. Поток света, льющийся в дверь, падал в кухню беспрепятственно — если не считать разве что слоя пыли на стекле. Старуха сидела к балконной двери спиной и смотрела на стол. Она сразу заметила темно-серую тень, полосу примерно в ладонь шириной, которая, слегка наискосок, пересекала блестящий прямоугольник. В полосе не было ни малейшего разрыва. Она возникла на середине стола, медленно-медленно двигаясь к Старухе; потом исчезла. Старик, сидевший лицом к балкону, в первый момент подумал, что это тень какой-нибудь птицы, которая, расправив крылья, пролетела в небе напротив балкона. Тень, однако, вскоре возникла снова, двигаясь по столу точно в том же направлении и точно с такой же

скоростью. Старуха следила за тенью с тем же любопытством, что и в первый раз. Полоса появлялась и исчезала еще несколько раз, но Старуха всегда смотрела на нее так, словно видела впервые. Начиная со второго случая, они наблюдали за тенью вместе, и все же Старик чувствовал: он видит совсем не то, что Старуха. Несомненно, это была та же плывущая по столу, чуть наискосок, серая тень; однако она ничего общего не имела с тем, что видела Старуха. Ведь Старик, желая того или не желая, всегда помнил о том, что́ он видел до того момента, когда заметил тень; Старуха же замечала ту же самую тень, но не увязывала это с предшествующими впечатлениями. Если бы даже Старик сказал: "Не помню", — то это были бы лишь слова, он только сделал бы вид, будто не помнит, в то время как клетки, нервы, кожа, желудок, внутренности, мышцы, сердце — все это, тысячами волокон, помнило, помнило. Наверное, помнила — по-своему — и Старуха, однако ее воспоминания находились в каком-то другом измерении, а потому выпадали из совокупности общего переживания. И подобно тому, как время утрачивало свою внутреннюю взаимосвязь, превращаясь в цепочку герметически замкнутых, отдельных мгновений, точно так же расщеплялась на невероятное множество отдельно взятых личностей та личность, которую означало первое лицо единственного числа Старухи. Если она говорила "Я хочу есть", то, конечно же, голодным было ее "я"; кто же еще! Точно так же ее "я" хотело пить; ее "я" обжигало палец, когда она задевала рукой горячую кастрюлю на плите. Это "я", однако, не было устойчивым, его элементы появлялись и мельтешили, как пузырьки в стакане с растворимой таблеткой, ощущение или чувство возникало, словно шипящий пузырек, и тут же лопалось, растворяясь в равнодушной стихии всемирного безличного бытия. То, что Старуха воспринимала как "я", было не более чем отражением образов реальности на стенках такого быстротечного пузырька. В момент появления образы вырастали, растекались по всей поверхности восприятия, в то время как тело без остатка отождествлялось с той точкой, на которую раздражение, поступающее от органов чувств, действовало непосредственным образом. То есть когда Старуха была голодна, она превращалась в сплошной голодный желудок; когда ей хотелось пить — в сплошную пересохшую глотку; когда обжигала палец — в сплошную обожженную кожу. Реакции ее, таким образом, были куда интенсивнее, чем у обычного человека; зато в тот момент, когда раздражение прекращалось, ее "я" расставалось с предыдущим переживанием, Старуха делалась довольной жизнью и беззаботной: ведь как для нее не сущест-

вовал последующий момент, точно так же она не помнила, не знала и предшествующего. Ее не тревожили ни истории ее прошлых "я", ни то, что может произойти с ее "я" последующим. Следил за временем, измерял время только Старик, только он непрестанно искал в нем содержание, которое можно было называть "я". Он чувствовал: потеряй он эту иллюзию, он потеряет и Старуху.

У Старика хватало целеустремленности и доброй воли, чтобы понимать языковые сигналы, исходящие от окружающих его предметов или от людей, которые находились рядом, или, по крайней мере, проявлять интерес к ним. Однако внимание его чаще всего быстро соскальзывало со звучащих слов, и, когда ему что-нибудь говорили, он спустя некоторое время начинал следить за движениями губ или за кончиком языка, который мелькал между губами, за тем, как напрягались и расслаблялись под кожей мышцы лица. В такие моменты он словно видел некий трехмерный анатомический разрез и наблюдал, как поднимаются, опускаются, растягиваются и сокращаются, подчиняясь движению мышц, кожные покровы. Голос человека не способен был перевесить это зрелище; а если перевешивал все же, то лишь как некий шум, никакого смысла в себе не несущий. И обстоятельство это не рассеивало, а, наоборот, концентрировало внимание Старика. Когда собеседник начинал говорить, Старик ясно сознавал, что звуки голоса сами по себе складываются в какие-то обладающие смыслом элементы, и смысл этот он тоже мог бы постичь, но считал совершенно излишним, следуя от слова к слову, наподобие какой-нибудь программе компьютерного перевода, вычленять значение элементов, содержание которых было для него безразлично. Тем не менее, независимо от того, как он к этому относился, он терпеливо выслушивал каждого — отчасти из вежливости, а в основном по привычке. Он и прежде вел себя так же, обращая открытый, внимательный взгляд к каждому, кто к нему обращался; но и тогда у него часто бывали трудности, если он хотел воспроизвести то, что ему говорили. Позже у него даже спрашивали иной раз, не иностранец ли он, хотя он без малейшего акцента говорил на языке, который был для него таким же родным, как и для собеседников... Однако вечерний выпуск новостей, в 19 часов, он по-прежнему не пропускал. Старуха привычно проводила эти четверть часа рядом с ним, но в первые же минуты засыпала. А когда Старик выключал телевизор, испуганно открывала глаза и машинально спрашивала: "Ну, что там?" Старик отвечал ей, мол, ничего особенного, и существенным

в его ответе было первое слово. Не мог же он ей сказать, что доходят до него не слова, а пустые их оболочки, которые он тут же заполняет собственными мыслями, так что если он даже и воспроизведет то, что говорил диктор, то это будут лишь слова диктора, а вовсе не содержание новостей. К счастью, объяснять ему никогда ничего не приходилось: Старуху в полной мере устраивал повторяемый из вечера в вечер ответ. В других же случаях добрая воля Старика наталкивалась, не приводя к результатам, не на пустоту слов, а на навязчивое нагромождение символов. Больше всего Старику давало письменное сообщение. Если на желтом бумажном квадратике, приклеенном к холодильнику, он видел фразу "Список на столе", то, хотя это коротенькое сообщение тоже было не более чем символом и именно это свойство языка прятало таившуюся в нем информацию или, точнее, делало невозможным ее усвоение, разум его тем не менее сразу улавливал смысл фразы. В таких случаях Старик тут же, часто даже несколько раз, повторял про себя или вслух прочитанное. Не для того чтобы не забыть: просто потому, что его разуму приятны были тональность фразы, ее общий вид, начертание слов. Список на столе. И под сообщением — имя; имя, символизирующее какую-то личность. Но здесь, в данном контексте, это значения не имело.

	Услуга	**Стоимость**
1.	Первый визит	21.00 €
2.	Дальнейшие визиты	10.50 €
3.	Расходы на транспорт (в целом)	3.21 €
4.	Расходы на проезд (в целом) — 1/2	1.61 €
5.	Отопление в квартире (с округлением в бóльшую сторону)	2.80 €
6.	Уборка в квартире (с округлением до 10 минут в бóльшую сторону)	2.80 €
7.	Содержание в порядке постельного белья и одежды (с округлением до 10 минут в большую сторону)	2.80 €
8.	Закупки (с округлением до 10 минут в большую сторону)	2.80 €
9.	Малый уход	7.70 €
10.	Большой уход	12.60 €
11.	Большой уход II	15.75 €
12.	Помощь в укладывании в постель и вставании (только с малым уходом)	1.75 €
13.	Помощь при укладывании в постель и вставании	3.50 €

14.	Специальное размещение (только с малым уходом)	3.50 €
15.	Специальное размещение	7.00 €
16.	Причесывание и бритье	2.45 €
17.	Подготовка и приготовление пищи (с округлением до 10 минут в большую сторону)	3.50 €
18.	Простая помощь при приеме пищи	3.50 €
19.	Всесторонняя помощь при приеме пищи	10.50 €
20.	Питание посредством зонда со встроенным желудочным зондом (PEG)	8.20 €
21.	Дополнительная помощь при опорожнении прямой кишки и мочевого пузыря (только с малым уходом)	2.80 €
22.	Всесторонняя помощь при опорожнении прямой кишки и мочевого пузыря	7.00 €
23.	Введение катетера	6.73 €
24.	Орошение мочевого пузыря	3.47 €
25.	Клизма / вливание	3.21 €
26.	Уход за стомой при anus praeter (смена и опорожнение мешка)	6.38 €
27.	Опорожнение прямой кишки пальцами	6.41 €
28.	Смена трахеотомической канюли, уход за ней	5.39 €
29.	Очищение верхних дыхательных путей	5.39 €
30.	Бронхиальный туалет	5.93 €
31.	Уход за аппаратом искусственного дыхания	5.39 €
32.	Внутривенный катетер / Porth	4.66 €
33.	Присмотр за Medi 7 Box	7.84 €
34.	Дерматологическая ванна	2.72 €
35.	Дренаж	2.77 €
36.	Вливание	6.41 €
37.	Обработка пролежней	6.20 €
38.	Втирание	2.72 €
39.	Помощь при надевании и снятии компрессионных чулок	2.28 €
40.	Помощь при надевании и снятии компрессионных чулок (II класс)	2.28 €
41.	Инстилляция	3.47 €
42.	Инъекция	3.53 €
43.	Инъекция, поправка	1.07 €
44.	Подача лекарства	2.72 €
45.	Регулирование уровня жидкости	2.77 €

Дорогой друг! Возможно, Вас удивит это письмо; возможно, Вы будете лихорадочно гадать, кто прячется за этими немыми строками. Едва ли Вам тут поможет память: ведь с того момента, когда мы общались с Вами в последний раз, минули десятилетия. И вообще наши контакты были более важны для меня, чем для Вас. Вы, пожалуй, и не подозревали тогда, какое впечатление оказывало на меня общение с Вами, как много оно для меня значило. Я смотрел на Вас не просто как на ученого и старшего друга, но и как на своего учителя. Учителя с большой буквы. Вы, очевидно, этого даже не замечали: Вы просто были самим собой, а я воспринимал Ваше отношение ко мне как подарок судьбы. Я знал, что Вы бы с неловкостью встретили выражение моего восхищения, которое, должен признаться, мне иногда с трудом удавалось сдерживать, как и любое, искреннее даже в преувеличении, чувство. Сейчас, когда прошло столько времени, Вы, может быть, не воспримете мой доверительный тон как навязчивость. Вероятно, лицом к лицу я и сейчас не посмел бы говорить с вами столь откровенно. В письме всегда легче быть смелым. Когда я в архиве Городского дендрария вдруг наткнулся на Вашу работу, меня поразило не только то, как много лет прошло после последней встречи с Вами, но и значительность этого периода. Я собирал материал — точнее сказать, мотивы, идеи для работы, задуманной мною давно. Тема работы, правда, к сфере ботаники отношения не имеет, однако, продумывая ее теоретическую базу, я как-то, почти для себя незаметно, соскользнул к определенным вопросам, связанным с ботаникой. Разобраться с ними я и собирался в архиве Городского дендрария. И здесь-то, в этом зале, где царит дух гармонии и высокого духовного равновесия, где я испытал благодатные, редкие минуты покоя, обрушились вдруг на меня всем своим весом прошедшие годы, как бы и этим подчеркнув разительное отличие между атмосферой, в которой проходили наши прогулки, и той суетной жизнью и вечной гонкой, которые начались потом. Я сидел в невероятно удобном мягком кресле, почти один, в огромном, погруженном в полумрак барочном зале, в круге теплого света, который лился от маленькой настольной лампы, и завороженно смотрел на массивный том, лежащий передо мной. В какой-то момент у меня возникло чувство, что если я открою его, то под толстой картонной обложкой окажутся страницы давно минувшего этапа моей жизни. Если оглядываться назад, то, конечно, линия, ведущая от этапа к этапу, кажется совершенно ровной и непрерывной; однако, когда я осознаю беспощадную жестокость столкновения предчувствия и реальности, душа моя содрогается. Ибо прежде

всего именно предчувствие сделало меня столь восприимчивым ко всему тому, что представляли в моих глазах Вы и Ваша наука. Предчувствие, что в сфере языка существует один, только один достоверный ответ на основополагающие вопросы бытия, и ответ этот – Scheitern[1], фиаско. Все остальное – мираж, видимость, лицемерие, ибо оно заставляет верить, будто ответы можно обдумывать и формулировать таким способом, который для обдумывания, для выражения непригоден. Да, конечно, когда предчувствие в подсознании или пускай в каких-то разрозненных, случайных догадках уже работало во мне, проникая в каждую клетку, я с энтузиазмом обратился к кристально чистому языку Вашей науки. Каким благоговением наполняло меня присущее Вам чувство формы и меры, удивительно отражающее гармонию естественности и духовности! Как я восхищался Вашей четкой и точной, свободной от всяких излишеств речью, в которой даже самый крохотный нюанс обретал самостоятельный, самоценный смысл, в то же время поддерживающий в равновесии всю создаваемую Вами конструкцию. Как я завидовал Вашему инструментарию, нацеленному на решение сложных, но конкретных задач, Вашим умелым, профессиональным рукам, Вашим рациональным и точным формулировкам, благодаря которым все, что Вы называли, встраивалось в стройную, продуманную систему! С каким восхищением я листал те великолепные фолианты! Когда я касался тех старых гравюр по дереву и по меди, пальцы мои почти ощущали жилки на листьях, бороздки стеблей, нежную шелковистость лепестков. Едва ли мог возникнуть такой вопрос, на который не нашлось бы ответа в десятке томов, стоящих в том старинном шкафу... А я в это время без всякой надежды искал ответ в необозримых книгохранилищах, среди множества стеллажей, которые, как мне казалось, можно было совершенно произвольно поменять местами... Я сидел за длинным и очень широким библиотечным столом, в глухой тишине огромного зала – и вдруг услышал себя, услышал, как я произношу название лежащей передо мной книги: "Растительный мир Ангельского Утеса". Не знаю, может, такой знакомый оттенок пергаментной обложки побудил меня вспомнить необычные обстоятельства нашего знакомства. А может, это только мне показалось странным, что кто-то заказывает себе папку для гербариев у переплетчика книг. Мы оба стояли перед массивным застекленным прилавком. Вы как раз принимали у мастера свой за-

1. Крушение, крах (*нем.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

каз, углубленно изучая качество картонной обложки, обмениваясь с мастером какими-то негромкими репликами. О чем шла речь, я не слышал: я стоял немного в стороне и сзади, по привычке разглядывая в витрине старинные инструменты для переплетного дела. Я не торопился; более того, мне было даже приятно, что в мастерской я не один и мне не нужно сразу приступать к делу, забирать свои переплетенные рукописи, рассчитываться и уходить. У меня была возможность немного постоять, осмотреться в этой симпатичной мне обстановке. Мастеру зачем-то понадобилось уйти в заднее помещение, где была мастерская. Вы подняли голову, словно желая оглядеть свой заказ чуть со стороны; и тогда я тоже невольно бросил туда взгляд. Не будучи сведущим в гербариях, я не сразу понял, что такое лежит перед Вами на прилавке, но внимание мое привлекла прочная, шириной примерно в три пальца, лента, соединявшая листы картона. Заинтересовал меня не цвет ленты и не материал, из которого она была сделана, а способ, каким она вплеталась в обложку. Выйдя из середины, она шла вниз, тянулась к краю листа, там сворачивала, достигала верхнего края, вновь пряталась и на противоположной стороне встречалась с собственным началом. Я, по своему простодушию, тут же увидел в этих изгибах и поворотах письменный знак, встречающийся почти во всех альфанумерических алфавитах: три горизонтальные или вертикальные параллельные линии. Но меня здесь заворожила еще и иллюзия бесконечного перехода ленты в самое себя. И в то же время то обстоятельство, что бесконечность не исключает начальной и конечной точки. Взгляд не скользит, без опоры и без препятствий, по замкнутой самой на себя орбите, но на каждом отрезке есть отправление и прибытие. Я шагнул ближе и слегка виноватым тоном, как бы извиняясь за свою бесцеремонность, спросил, какой цели служит такая папка. Чтобы собирать растения, ответили Вы; и, заметив, очевидно, мое удивление, с доброжелательной иронией спросили: "А вы что собираете?" Мы улыбнулись друг другу. И в этой нашей встречной улыбке, словно кто-то внезапно открыл шлюз, хлынули навстречу друг другу потоки духовной энергии. На следующий день мы уже вместе бродили неподалеку от Ангельского Утеса, и я смотрел зачарованно, как Вы с помощью линейки и транспортира производили на растениях какие-то замеры и невероятно остро заточенным карандашом заносили крохотные значки в толстый, в кожаном переплете, блокнот. Неделями, месяцами ходили мы по холмам, долинам, лугам, лесам, вдоль рек и ручьев, продирались сквозь кустарник, вооруженные (сначала Вы, а позже и я) маленькой лопаточ-

кой из прочной стали, перочинным ножом и сумкой для растений, и я мечтал о том, что когда-нибудь в будущем гербарии под одним из аккуратно засушенных растений, рядом с точной датой сбора и прочими сведениями, под латинским названием появится и мое имя, пускай в сокращенной форме: ведь в ботанике принято называть растения по первооткрывателю. Об этой своей наивной, детской фантазии я, конечно, Вам никогда не рассказывал. Но вот что интересно: я и сейчас, после того как написал столько работ, которые признаны важными и значительными, и сейчас, миновав стадию предчувствия и перейдя в стадию уверенности, чувствую примерно то же, что тогда. Чувствую, что, может быть, мне было бы легче переносить свои неудачи, когда бы возле названия какого-нибудь цветка стояло, в сокращенном виде, мое имя. Если у меня еще будут силы выйти из дому и отправиться куда-нибудь, я бы отправился только ради этого. Сил у меня, однако, в последнее время существенно поубавилось. Не только множество дорог, оказавшихся тупиками, подорвали запасы моей энергии: ведь с тех пор, как мы расстались, я путешествовал почти исключительно в бесплодных краях, среди мертвой материи, среди уродливых порождений больного разума, где мог собирать в свои папки только побеги людоедства, некрофилии. Я высох и истощился еще и потому, что остался один, предоставленный самому себе. Жена моя, которая так высоко всегда ценила Ваши советы и Ваш характер, надолго опередила меня, распалась еще при жизни, как песочный человек под палящим солнцем. Ужасно было наблюдать, как ее покидает разум... Она была словно вытекшее яйцо, тело ее медленно, но неуклонно утрачивало свои тайны, пока на нем практиковались, без малейшего результата, орды деятельных медиков. Однажды вечером, стоя перед балконной дверью, она открыла для себя уличный фонарь. Я как раз грел воду в кастрюле, и стекло в двери слегка запотело. В нем, запотевшем, кругами расходился свет фонаря. Она едва не уткнулась лицом в этот белый, размазанный свет — и сказала: "Знаешь, луна каждый вечер куда-то падает. Я вижу..." Это была последняя фраза, которую я сумел понять. Конец ее был ужасен, и все же я воспринял его как милость. Ведь в этом мраке, в этом кошмаре я снова обрел любовь. Знаю, это довольно абсурдная идея, писать Вам письмо. Скорее всего, оно до Вас не дойдет. Однако с того момента, как я вернул, так и не раскрыв, "Растительный мир Ангельского Утеса", меня не оставляет в покое мысль: хранится ли еще у Вас или у кого-нибудь из Ваших коллег тот роскошный, редкий по богатству гербарий? Я помню в нем едва ли не каждый цветок и листок. И все же, сколько ни роюсь

в памяти, не могу вспомнить их цвет и форму. Только твердо знаю, что все они — *там*. Все до единого.

Дни Старика сменяли друг друга, словно бы и не менялись; так через раскрытые двери идешь из зала в зал, почти не замечая этого. Потом тебе уже самому приходится открывать двери, которые становятся все тяжелее; между помещениями, непосредственно переходящими одно в другое, появляются какие-то полутемные коридоры и переходы. Старик охотно задерживался тут, пережидая депрессию пробуждения, длившуюся иногда довольно долго, и радуясь прозрачной глади сознания, которое замирало, зависало в этой изумительной точке начинающегося дня. Это было состояние очень хрупкого, зыбкого равновесия, и требовалось очень тонкое взаимодействие внутренних процессов и внешних обстоятельств, чтобы он мог оставаться в этом крайне приятном для него состоянии как можно дольше. Из кишок его удалялись последние газы, скопившиеся за ночь, пищеварение работало почти незаметно, мочевой пузырь был совершенно пуст. Прополоскав рот, он избавлялся от липкого осадка на деснах и нёбе, а теплая вода размягчала высохшую, ставшую шершавой слизистую оболочку. Известковые гранулы между мышцами и волокнами в процессе движения размещались так, что о них на какое-то время можно было забыть, тогда как разного рода жидкие компоненты смазывали хрящи и возвращали некоторую упругость сухожилиям. Слезная влага смачивала глазное яблоко и края век, освобождая их от засохших выделений. На поверхности мозга разрыхлялись и исчезали застрявшие там после пробуждения лоскуты сна, разлезающиеся, призрачные остатки которого витали вокруг сознания, как бахрома полусварившегося белка вокруг треснувшего яйца, которое варится в кипящей воде. Он сидел перед балконной дверью, лицом к освещенному солнцем стеклу, и ничего не ждал от наступающего дня, так же как день ничего не ждал от него. Старуха крепко спала в спальне; трубы и провода молчали в стенах; ни снизу, ни сверху не доносились звуки чьего-то пробуждения, и улицы пока еще не принимались реветь, как двигатель под ногой неопытного шофера. Старик сидел неподвижно, с открытыми глазами. Ничто не давило на плечи, ему не нужно было преодолевать гравитацию, отправляться куда-то, куда-то стараться успеть, сознание без всякого сопротивления растекалось по глади замершего мгновения, и почти по всему телу теплом разливалась безмятежная легкость и невесомость. Он смотрел на заполнявшее все поле зрения переплетение ветвей в кронах

платанов напротив балкона. Выбрав в путанице веток одну какую-нибудь точку, следовал от нее взглядом вдоль прихотливых изгибов и пересечений, часто проделывая сложный и длинный, словно в лабиринте, путь, особенно если удавалось удержаться в одной плоскости пространства. Напрягать глаза для этого Старику вовсе не приходилось: очень скоро не он, а сами ветви вели за собой его взгляд. Спустя некоторое время он мог точно выделить ту часть кроны, по которой так успешно путешествовал в эти утренние часы. Ветви, словно прочерченные тушью, четко вырисовывались на синем или пасмурном небе. Удивительное это было времяпрепровождение. Вокруг него и в нем самом царило, захватывая позиции, разложение, а он все далее углублялся в бесконечную вязь ветвей, и контуры пройденной траектории становились все четче и контрастнее.

Во сне Старик почти не шевелился. Обычно он просыпался в той же позе, в какой засыпал: на спине или на правом боку, с подогнутыми коленями, левую руку положив на бедро, а правую, раскрытой ладонью, под щеку. Когда он лежал на спине, у него лучше работала голова; когда на боку — свободнее дышало тело. Но он все-таки предпочел бы — когда дойдет дело до этого, — чтобы его посадили, с прямой спиной, лицом к окну, к свету... Он и в тот раз лежал на спине, вытянув руки вдоль груди. Медленно, нехотя выплывал он из сна в бодрствование, хотя до утра было еще далеко, а просыпаться ни с того ни с сего среди ночи было совсем не в его обыкновении. Правда, каждую ночь он вынужден был вставать раз или два, но это ни его, ни его организм не обременяло. Автоматически, не выходя из полусна, он делал свои дела и потом продолжал прерванный сон в том же положении, в каком спал до того момента. Сейчас он проснулся, но еще не открыл глаза; лишь инстинктивно насторожился, ища причину пробуждения. Рядом с собой он ощущал что-то лишнее; что-то было не так по сравнению с обычной ночью. Глаза его вдруг открылись: он понял, что разбудила его тишина, глухая, недвижная тишина, которую не нарушало ровное, немного хриплое дыхание Старухи. Сухой этот хрип с течением ночи всегда усиливался: Старухе трудно было дышать носом, поэтому она все больше разевала рот, и к утру слизистые оболочки в полости рта совершенно пересыхали, на тканях появлялись мелкие чешуйки, и воздух шелестел ими в глотке. Когда Старик вставал ночью, чтобы совершить обычный поход в туалет, он по степени шума, с каким дышала Старуха, мог довольно точно определить, долго ли еще до утра. Но сейчас в

комнате стояла мертвая тишина. Старик протянул руку в сторону, но нащупал только смятую перину. Он сел, сощурил глаза, ища в синеватой тьме хорошо знакомые контуры; однако постель была пуста. Старуха не выходила по ночам, спала спокойно, без перерывов даже в самые тревожные периоды, и Старику это очень облегчало жизнь. Он прислушался: ни в комнате, ни в других помещениях не было никаких звуков. Он сполз с кровати ногами вперед, хотя мог бы просто сдвинуться вбок, через опустевшее Старухино место. Надел шлепанцы, халат, вышел в переднюю, оттуда — в кухню. И поразился, увидев, как светло в кухне: в окно лился яркий белый свет полной луны. Словно светились сами беленые стены — так четко выделялись на их фоне все предметы. Однако Старик прошел почти через всю кухню, направляясь в комнату, что смотрела на площадь. И лишь тут, уже на выходе, обнаружил, что Старуха сидит в кухне — правда, спиной к нему, почти утонув среди больших черных подушек кресла. Обернувшись от двери в комнату, он оказался лицом к Старухе. Совершенно голая, она сидела, скрючившись, в кресле, словно кукла, вылепленная из серой земли. Старик не смел к ней прикоснуться: ему казалось, она в тот же момент рассыплется. Ее ничто не держало, не защищало, кроме собственного веса, вдавившего ее в подушки кресла; кожа ее напоминала тряпку, случайно брошенную на кресло. Она не сопела, как обычно во сне, и даже не дрожала; только зубы у нее чуть слышно пощелкивали, будто какое-то крохотное насекомое, вроде сверчка, поскрипывало посреди кухни. Старик наклонился, пытаясь увидеть ее лицо, уловить ее дыхание, но не находил ни ее глаз, ни рта, только слышал пощелкивание да ощущал холод, исходящий от серых комьев, брошенных в кресло. Он прижал к себе ее тело, оно было податливо, словно из него вынули все твердые компоненты; он нежно стискивал ее, пока она не переняла его тепло, ритм его дыхания. Из серой массы постепенно проявилось лицо; серые губы пробормотали, что она совсем не может спать, потому что каждую ночь приходит черный человек и вынимает у нее глаза. Старик укрыл голое тело Старухи своим халатом и повел ее в спальню. В передней он поднял сброшенную на пол ночную рубашку, одел Старуху, потом усадил ее на кровать. Старуха послушно легла и впервые — с того момента, когда Старик нашел ее в кухне, — открыла глаза. Улыбнулась ему — и вскоре, с открытыми глазами, уснула.

Старуха любила, чтобы Старик читал ей вслух. Что, о чем — ей было все равно, значение слов не доходило до ее созна-

ния, лишь пробегало по нему, почти неощутимо тревожа поверхность, словное легкое дуновение ветра, от которого шевелились листья на кончиках веток. Для нее было важно слышать голос, звучание речи. Даже в самые тревожные, самые беспросветные периоды это был едва ли не единственный способ, которым Старик мог утешить ее, а то и развеселить. Он просто садился рядом и начинал читать вслух. Не то чтобы громко, скорее даже наоборот, вполголоса, стараясь, чтобы его речь вливалась в то более тихий, то более громкий ансамбль звукового окружения. Старуха спустя некоторое время начинала прислушиваться к монотонному звучанию его голоса. Если она в это время металась по комнате, то движения ее мало-помалу замедлялись, теряли порывистость. Она останавливалась на полпути и вслушивалась в голос Старика. Потом садилась — и теперь уже все внимание сосредоточивала на этих звуках, которые охватывали ее кругами, доходили к ней со всех сторон, проникая в сознание, словно чистая, успокаивающая мелодия. Судорога отпускала мышцы, лицо разглаживалось, и голос словно проникал в нее через тысячи открывшихся пор. С ощущением, близким к блаженству, Старуха вытягивалась, колыхалась в волнах, что через невидимые ворота стремились внутрь ее смятенной души, и она всем своим существом отдавалась тонкой вибрации, порождаемой ими. Тяжесть, недомогание, дурное настроение — все это скатывалось с нее, как вода. Склонив голову набок, она сидела, забыв обо всем, чувствуя себя парящей в легком потоке бытия. Старик читал всегда один и тот же текст; во всяком случае, в тональности звучания, в рисунке вибрации никогда не было никаких различий. Даже поза его всегда оставалась одной и той же. Слегка сгорбив спину, он внимательно смотрел в свои, сомкнутые ребрами ладони — словно читал нечто, написанное на них. Рук он не опускал, даже если ему случалось заснуть за этим занятием. А задремывать под монотонное чтение случалось то одному, то другому. В конце концов они засыпали оба, склонившись друг к другу и негромко похрапывая в неравномерном, полосами и пятнами испещрившем комнату полумраке давно состарившихся ламп. В неверном освещении, в мятой одежде, со странно вывернутыми во сне конечностями, с приоткрытыми ртами, они немного напоминали потрепанных жизнью, подвыпивших бомжей. Однажды Старик проснулся, оттого что Старуха, даже во сне удерживая последний аккорд их "чтения", начала напевать знакомую мелодию. Они часто пели вместе: музыкальная память у Старухи сохранилась почти без изъяна. Воспроизводя какую-нибудь мелодию, она

обычно вспоминала и текст песни. Если Старик знал мотив, они пели вместе. Он уже не мог вспомнить, кто написал эту песню; вроде бы она существовала в нескольких вариантах; однако Старуха уверенно выдерживала мелодию, помогая ему в неясных местах. "Die Jahre kommen und gehen, / Geschlechter steigen ins Grab, / Doch nimmer vergeht die Liebe, / Die ich im Herzen hab. / Nur einmal noch möchte ich dich sehen, / Und sinken vor dich aufs Knie, / Und sterbend zu dir sprechen: / 'Madame, ich liebe Sie!'"[1] Старик, собственно говоря, полностью проснулся лишь на последней фразе, а до тех пор подпевал Старухе почти в полусне. Старуха же на последних тактах вдруг перешла в более высокую тональность и выкрикнула задорно: "Madame, ich liebe Sie!"

Старик лежал на левом боку. Левая рука согнута в локте, голова и щека покоились на раскрытой ладони, словно он держал на ней голову. Ноги согнуты в коленях и подтянуты так, что живот и колени образовывали полукруг. Этот полукруг был как бы внутренней поверхностью некой чаши, а чашу доверху наполняло тепло. Старик лежал неподвижно, а потому и тепло было неподвижным и приятным. Там, где он ощущал тепло, тела не было, было только тепло. Он не понимал, куда могли деться его пижамные штаны. Даже в жару он спал в пижаме, а куртку всегда заправлял в штаны — иначе у него зябла поясница. Сейчас поясница не зябла, хотя ничем не была закрыта. Лежа в постели, штаны он не мог снять: исключено. Он давно уже не способен был в такой позе приподнять нижнюю часть тела, чтобы стянуть штаны. Даже сидя в постели, он вряд ли сумел бы это сделать; разве что, если бы сполз на самый край и поставил ноги на пол. Но сейчас ничего такого не было; во всяком случае, он не помнил. Да и с какой стати он стал бы снимать пижамные штаны? Однако тут не было никаких сомнений: снизу до пояса он был голый. Если бы было иначе, то впадина между грудью и коленями не наполнилась бы теплом. Не мог он понять и того, почему Старуха снизу обнажена. Ведь когда они ложились, он сам надел на нее пижаму. Старуха с готовностью скользнула в штаны, как всегда, когда он ей помогал. Если ей приходилось одеваться самой, она долго мучилась: то ступня где-нибудь застревала, то обе ноги она пыталась просунуть в одну штанину; словом, го-

1. "Племена уходят в могилу, / Идут, проходят года, / И только любовь не вырвать / Из сердца никогда. / Только раз бы тебя мне увидеть, / Склониться к твоим ногам, / Сказать тебе, умирая: / 'Я вас люблю, madame!'" Г. Гейне. Из книги "Возвращение домой". Перевод А. Блока.

ре, а не одевание. Старику это быстро надоедало, и, хотя он частенько думал, что Старуха просто валяет дурака, он все-таки помогал ей. Минувшим вечером он как раз сам одел ее: он чувствовал себя усталым и хотел поскорее лечь спать. Сейчас Старуха дышала глубоко, ровно. Она явно спала. Но если бы и не спала, то снять с себя пижаму в лежачем положении ей ни за что бы не удалось. Старик открыл глаза. Правым глазом он — поверх плеча Старухи, которая тоже лежала на левом боку, — видел противоположную стену. Позу, в которой она спала, он обычно мог сразу определить: Старуха всегда плотно подтыкала под себя одеяло. Сейчас, однако, оно не уходило ей под бок, а на уровне тела переходило к Старику, из чего он сделал вывод, что они лежат вдвоем под одним одеялом. Взгляд его остановился на серовато-синей шторе, которая закрывала окно. Была, должно быть, глубокая ночь: на плотной ткани ни разу не забрезжил свет, отбрасываемый фарами проезжавших машин. Старик, не поднимая глаз выше, к потолку, обвел взглядом на том же уровне комнату, касаясь знакомых, легко узнаваемых предметов, скользя по их поверхности, в то время как теплота постепенно поднялась до грудной клетки, одновременно спускаясь вниз, к ступням ног. Очевидно, он подвинул правую руку, однако пальцев своих не ощутил. Отсюда он сделал вывод, что рука его находится как раз там, где тепло, полностью утонув, растворившись в нем. Взгляд его из глубины комнаты пополз обратно, оставаясь все на том же уровне; когда он снова приблизился к шторе, Старик уже глубоко и безмятежно спал, погрузившись в тепло всем телом.

Стул у Старика случался лишь тогда, когда кишечник был наполнен до определенного уровня. В этот раз у него не было ни запора, ни других проблем, но очередное опорожнение запаздывало уже почти на день; организм был загружен больше, чем обычно. Живот пока не болел; ощущалось лишь некоторое давление. Утром Старик, проснувшись, обнаружил, что у него эрекция. Не слишком сильная, да и длилась недолго; но Старик был удивлен. Сначала он подумал, что ему просто пора помочиться. Однако позывов он не ощущал. Он встал и принялся за привычные утренние дела. Еще не закончив готовить завтрак, он почувствовал, что ему нужно в туалет; хотя время для этого было необычное. Устроившись на унитазе и начав тужиться, он сразу ощутил, что вниз движется более плотная и тяжелая масса. Правда, давление странным образом захватывало не нижнюю часть живота: оно сместилось куда-то к пояснице, на левую сторону, под почки. Почти одно-

временно с этим, непосредственно перед тем, как каловая масса готова была покинуть задний проход, он вдруг почувствовал, что по мочевому каналу движется что-то теплое, слегка щекочущее. Кал длинной, толстой порцией упал в наполненный водой резервуар унитаза. Старик большим и указательным пальцем взял пенис, пониже головки, и поднял меж колен, повернув концом к себе. В щели канала появилась и остановилась, дрожа, густая, тяжелая, желтовато-белая капля спермы. Старик ошеломленно смотрел на нее; потом оторвал большой кусок туалетной бумаги и стер сперму.

Последнее время Старика трогало все, что живет. Скажем, он стоит у окна, взгляд его устремлен на улицу, и вдруг в поле зрения на блестящей глади стекла появляется крохотный черный жучок. Какое-то заурядное, ничем не примечательное насекомое. Оно медленно ползет, наискосок пересекая стекло прямо перед глазами Старика, и у того — словно жук ползет по его глазному яблоку — на глаза набегают слезы. И так происходит каждый раз, когда перед ним появляется что-то живое, занятое своим бытием. Помимо его воли, в нем горячей волной неудержимо взбухает растроганность. Он чувствует, как заполняются влагой слезные каналы, как набухают ткани в горле, как в нижней части глотки скапливается густеющая слюна. Неприятное ощущение. Однако самое мучительное — то, что все это остается в нем: ни слезы, ни слюна, ни выделения в носу наружу не выходят. Старик боится, что он испачкает себя, стекло, дневной свет; боится, что лапки жука увязнут в этой липкой массе, что у него склеятся крылья, что он не сможет доползти по стеклу до той точки, куда нацелился. Какой-то обычный жучок... Крохотное черное существо в бескрайней стеклянной пустыне, нанизанное на взгляд Старика. Жук ползает туда-сюда по поверхности зрачка — и от этого у Старика начинают работать всякие железы. Старик трет глаза — сначала кончиком указательного пальца, потом кулаком — и от этого жмурится и моргает. И в эти минуты то видит жука, ползущего по стеклу, то преломления падающего на слезы света; видит их как бы изнутри, словно находится в глубине слезы и оттуда наблюдает вспышки света на ее поверхности. Потом голова тяжелеет, веки превращаются в тяжелые завесы. Ему хочется лечь на стекло, вытянуться на нем: стекло — теплое, солнышко с утра согрело его. В сознании на миг появляется Старуха: что она скажет, когда увидит его лежащим у окна? Может, она ничего плохого и не подумает: ведь и прежде случалось, что он ложился на ковер, там, где его как раз покидали силы. Старуха

в таких случаях не пугалась: бывало, позовет его пару раз, подергает за плечо или потычет в бок, а потом и сама ляжет рядом. В конце концов, какая разница, прямо здесь лечь или чуть в стороне, на диване. Насколько ей удавалось, она старалась устроиться так, чтобы как можно большая поверхность тела была залита теплым светом.

Старик открыл глаза. Он лежал навзничь, вытянувшись на одеяле, положив руки вдоль тела. Организм его был в полном покое. В комнате брезжил скудный, рассеянный свет; должно быть, еще совсем рано, подумал он, но не стал подниматься, чтобы посмотреть на часы. Он чувствовал: время вставать еще не пришло, и надеялся, что вернется в сон так же легко и незаметно, как вышел из него. Спать не хотелось, но обычно это не становилось препятствием, чтобы заснуть, если ему случалось проснуться раньше времени. Правда, глаза чуть быстрее приспособились к полумраку, из чего он заключил, что утро, пожалуй, ближе, чем он сначала решил, так что пытаться заснуть, видимо, уже не стоит. Придется все-таки посмотреть на часы, подумал он; однако шевелиться по-прежнему не хотелось. Брезжащий сумрак определенно казался приятным: в нем не было ни намека на щель, на просвет, словно над головой у него натянули какой-то навес из очень плотной ткани спокойного, ровного оттенка. Старик немного удивился: ведь даже в самые глухие ночные часы в окно попадал какой-то свет с улицы или из дома напротив. Он повернул голову, как обычно, когда просыпался ночью; но сейчас он делал это медленно: очень уж было приятно вести взгляд по ровной, гладкой поверхности, которая уходила вверх и вбок. В первый момент он комнату не узнал, потому что контуры предметов полностью сливались с фоном. Лишь рядом с собой он видел продолговатое возвышение, не слишком высокое; оно размещалось параллельно ему. Он сразу понял, что человек, лежащий рядом, это не Старуха. Он приподнялся на локтях и вгляделся пристальнее. Рядом лежал какой-то Старик; лежал мирно, неподвижно, вытянувшись. Старик не стал наклоняться ближе, рассматривая того со своего места. Ничего тревожного в том Старике не было, но и хорошего впечатления он не производил. Седые, не очень длинные волосы беспорядочно облепляли череп, длинный, мясистый нос торчал вверх, губы ввалились, кожа на шее пошла складками. "Эй, — тихо, но решительно обратился к нему Старик, и, поскольку реакции не последовало, повторил громче и резче: — Эй!" Ответа не было. Другой Старик лежал все так же невозмутимо. Старик на мгновение растерялся, отвел

взгляд, потом немного сдвинулся влево и правой рукой, где-то на уровне пояса, ткнул лежащего рядом. Одеяло было мягким, но не вдавилось под пальцами. Он толкнул сильнее, несколько раз подряд, и тогда то, что находилось рядом, заколыхалось, словно резиновая кукла. И, в ритме колебаний, произнесло: "Ты чего? Эй! Ты чего?" И тут Старик открыл глаза. Его удивил яркий свет. Он не помнил, когда включил радио. Он пользовался радиобудильником, который будил только его. Видимо, он все же заснул, потому и было сейчас совсем светло. Он повернул голову, ища Старуху; вернее, тот продолговатый сверток, который она обычно собой представляла, так как любила спать, закутавшись в одеяло по макушку. Однако постель рядом с ним была пуста, и даже простыня не выглядела измятой. Не мог же он заспаться настолько, что не заметил, как она поднялась и вышла. Да и вообще она почти никогда не вставала первой. Старик приподнялся и оглядел комнату. Старуха лежала рядом с кроватью на полу, на одеяле, которое словно сама себе постелила, и мирно спала.

Старик давно не открывал входную дверь. Да и зачем? У него ни с кем не было никаких дел. Те же, кто чувствовал, что им что-то надо от Старика, могли прийти сами. После того как они уходили, он обычно выключал дверной звонок. Дело в том, что они, словно следуя какой-то навязчивой потребности, перед уходом норовили этот звонок включить. Конечно, даже при выключенном звонке сохранялась опасность, что в дверь постучат, но случалось такое редко. А когда все же случалось, то Старик — если он находился на кухне — уходил в комнату и сидел там, пока, по его расчетам, стучащему надоест стоять у двери, и он уйдет на безопасное для Старика расстояние. Вообще-то по отношению к людям, которые оказывались с ним рядом, Старик не проявлял ни малейшей враждебности. Поведение его можно было охарактеризовать как вежливую сдержанность; такая манера была свойственна ему и раньше. То, что в последнее время он никому не открывал дверь, не означало, что он стал еще более сдержанным, он делал это, чтобы упростить себе жизнь. Правда, если в тот момент, когда кто-то стучал в дверь, Старуха тоже оказывалась на кухне, Старику приходилось-таки идти открывать, поскольку Старуха слышала стук даже в самом глубоком сне и с живым любопытством вскакивала и спешила к двери. Она никого не узнавала, но каждого встречала исключительно дружелюбно, словно доброго знакомого. Направляясь к двери, она старалась опередить Старика, радостно таращила

глаза, ласково улыбалась — и затем в какой-то момент вдруг теряла всяческий интерес к пришедшему и, словно считая свою миссию законченной, удалялась. Нечто подобное произошло и на сей раз. Старик мыл посуду после завтрака, Старуха сидела у стола; в этот момент в дверь вежливо, но решительно постучали. Пока Старик вытирал руки, Старуха уже была в прихожей и стояла, нетерпеливо ожидая, когда откроется дверь. Старик никогда не спрашивал: "Кто там?" Если уж встречи все равно было не избежать, он готов был с этим смириться; но кто стоит по другую сторону двери, его не интересовало. Он дождался, пока Старуха даст ему пройти, повернул ключ и, как обычно, скорее недоумевающим, чем вопросительным тоном произнес: "Что угодно?" Пришедший приветливо поздоровался и протянул Старику заклеенный конверт. Тот взял конверт, внимательно осмотрел его, потом со слабой, как бы извиняющейся улыбкой вернул. "К. здесь уже не живет", — сказал он. Пришедшего, по всей видимости, весьма удивили слова Старика. Но ничего сказать он не успел: Старик ушел, но скоро вернулся с целой пачкой нераспечатанных конвертов и протянул всю пачку человеку, стоявшему за порогом. И в виде объяснения сказал: "Это тоже заберите, ваши коллеги бросали их в ящик внизу, а соседи, видимо, по ошибке приносили сюда". Пришедший поколебался секунду, потом вежливо поклонился и повернулся, чтобы уйти. Старик — что было ему совсем несвойственно — окликнул его и попросил сообщить и коллегам, что никакого К. здесь нет, а для него, Старика, чужую корреспонденцию хранить обременительно.

Старуха не различала дни. Время текло в ее восприятии сплошным потоком, и в нем, подобно подводным течениям, неразделимо переплетались те не поддающиеся определению субстанции, которые принято называть прошлым, настоящим и будущим. И, тоже подобно подводным течениям, субстанции эти отличались друг от друга разве что температурой и скоростью движения. Так что колебания настроения, которым была подвержена Старуха, являлись следствием изменения температуры и скорости, и изменения эти умел считывать с точностью высокочувствительного прибора только Старик. Он давно понял, что состояние духа Старухи лучше всего поддается регулированию посредством пищи и способа ее приготовления. Люди, которые иной раз возникали около них, чаще всего неправильно понимали эту Старухину особенность: фантазии у них хватало лишь на то, чтобы связать ее поведение с чисто животной жаждой

насыщения. Старик же прекрасно знал, что чувство времени у Старухи прочнее всего связано со вкусовыми ощущениями. Так что, чем с большей жадностью она ела, тем интенсивнее было в ней течение времени. Но если она совсем отказывалась принимать пищу, это точно так же означало, что поток времени ускорился. Поскольку в сознании Старухи один день не отличался от другого, то традиционный обычай праздновать день рождения становился пустой и глупой формальностью. Однако Старик — хотя это для обоих было обременительно — никогда не вмешивался в ход событий, терпеливо дожидаясь, пока посетители совершат необходимые ритуальные действия и, довольные собой, уйдут восвояси. Лишь после этого он принимался за приготовления к празднованию. На этот раз он решил сварить сливовое повидло. Для осуществления этого смелого плана и времени требовалось больше, чем обычно, да и хлопот хватало; к тому же он заранее тревожился, зная, каковы бывают последствия поедания сливового варенья. Но Старуха сливовое повидло обожала, и едва ли существовала для нее большая радость, чем откусить кусок хлеба с маслом, намазанный сверху еще не остывшим повидлом. Сначала Старик собирался сам купить необходимое количество слив. Донести их ему было бы нетрудно, поскольку повидла он хотел сварить лишь одну порцию. Но он не решился оставить Старуху дома одну, и в конце концов попросил купить сливы женщину, которая регулярно приходила в квартиру. Разумеется, он не сказал, для чего ему сливы; а того, что она сама догадается из его объяснений, он не особенно опасался. Она, наверное, в жизни не варила повидло. Тем не менее он как бы между прочим сообщил ей, что сливы лучше купить некрупные, почти перезрелые, чуть подвядшие около ножки. Время покупки Старик рассчитал правильно: он догадывался, что перед приготовлением повидла сливы должны еще несколько дней лежать на блюде, чтобы дозреть до кондиции. Потом он выбрал день, когда риск появления какого-нибудь посетителя был минимальным. Старуху он перед вечером основательно выгулял на балконе, потом купал дольше обычного, так что, когда он ее уложил, она сразу погрузилась в глубокий сон. И Старик спокойно взялся за дело. Он тщательно промыл сливы, даже стер с них беловатый налет, вынул косточки и сложил ягоды в высокую кастрюлю. Он рассчитывал, что к раннему утру повидло будет готово и даже успеет немного остыть до завтрака, чтобы, когда Старуха проснется, его уже можно было есть. Ночь была жаркой, душной. Распахнув балконную дверь, засучив рукава рубашки, он сидел у плиты и, думая о

всякой всячине, помешивал медленно густеющую массу. Город вскоре тоже совершенно затих; тишину в кухне нарушало только пыхтенье кастрюли. В темно-синем проеме балконной двери беззвучно качались черные пятна крон — прямо-таки вечерняя идиллия в какой-нибудь загородной летней кухне. Вдруг он увидел, что по руке его, лежащей на коленях, ползет оса. Рука Старика между запястьем и локтем выглядела так, словно плоть на ней выложили мокрыми облатками. На тонкой, почти прозрачной, как синтетическая пленка, коже черно-желтая оса казалась яркой, будто светилась изнутри. Оса ползла прямо, время от времени подрагивая крылышками, на которых можно было различить едва заметные прожилки. Старик, не шевелясь, с тихой улыбкой наблюдал за насекомым. Другой рукой он продолжал помешивать повидло — и, видимо, на какую-то секунду перевел взгляд на кастрюлю: во всяком случае, в следующий миг оса бесследно исчезла. Улетела, должно быть, подумал Старик, продолжая мешать повидло... Ночь подошла к концу; уже рассвело, когда Старуха вдруг появилась в дверях кухни. Старик, наверное, все-таки задремал ненадолго: взлохмаченную со сна Старуху он увидел, когда та уже стояла на пороге. Она возбужденно принюхивалась к свежему, чуть терпкому аромату — и до самого завтрака ни за что не хотела уходить из кухни даже на минуту. Старик закрыл балконную дверь, надел на Старуху халат, причесал ее, поправил у нее на шее бусы, которые она каждый вечер, ложась спать, обязательно надевала на себя. Старуха сидела за кухонным столом, выпрямив спину, с почти торжественным видом, и внимательно следила за действиями Старика. Через некоторое время Старик переложил готовое повидло в блюдо, разровнял его тонким слоем и выставил блюдо на широкие перила балкона, остывать. Потом неторопливо и аккуратно накрыл на стол; можно было приступать к праздничному пиру. Откусив кусок булочки, намазанной маслом и покрытой полупрозрачным, рубинового оттенка, слоем еще теплого варенья, Старуха засияла от счастья. Именинный завтрак получился точно таким, каким его задумал Старик; если бы он не следил с таким вниманием за тем, как предавалась радости Старуха, он бы избежал и той неприятной интермедии, которая имела место, когда поглощались первые куски. Дело в том, что было *кое-что*, к чему он не мог привыкнуть. Старуха, даже во время будничных приемов пищи, отдавалась еде всем своим существом, с какой-то животной ненасытностью. Не успев еще проглотить полупрожеванный кусок, она широко разевала рот и запихивала туда новую порцию. В такие моменты Старик ста-

рался на нее не смотреть. Конечно, он мог бы пересесть на другой край стола, чтобы не сидеть напротив; однако такая возможность даже не приходила ему в голову: ведь они всегда сидели так, а не иначе. Однако иной раз, забывшись, он не успевал отвести взгляд от Старухи — и с ужасом видел раздавленную вставными зубами, перемешанную со слюной, медленно переворачиваемую в полости рта пищевую массу, похожую на густую, свежую блевотину. В то утро он пострадал не из-за своей рассеянности, а из-за радостного волнения, с которым он наблюдал Старухино счастье. Повидло, будто деготь, размазалось по языку Старухи. Когда взгляды их встретились, Старуха, благодарно улыбаясь ему, испачкавшись до кончика носа, как раз заталкивала в рот половину густо намазанной булки.

Старуха любила сидеть перед телевизором, но происходящее на экране проникало в ее сознание только в тех случаях, когда шел какой-нибудь фильм о животных. Она не обижалась, если Старик смотрел что-то другое. Правда, до этого — если не считать вечерних новостей — дело доходило редко: Старика телевизор занимал мало. Чаще всего он просто переключал каналы. Иногда он развлекался тем, что щелкал пультом в тот самый момент, когда на экране происходило что-нибудь необычное, — и таким образом растягивал мгновение развязки до бесконечности. Взлетевший с дороги автомобиль, перевернувшись в воздухе, так и не падал на землю, пуля после выстрела не достигала цели, взмах кулака зависал в пустоте, открытый для крика рот оставался немым. Однако Старику и это обычно скоро надоедало. Тогда он включал Старухе ее любимый канал, а сам уходил из комнаты. До этого момента Старуха или дремала, или смотрела, как мелькают на экране лица и предметы, но они лишь проецировались на ее зрачки, не проникая внутрь, словно движущиеся цветные узоры на какой-то непрозрачной поверхности. Однако, едва на экране появлялись животные, интерес ее просыпался, и она следила за происходящим не только взглядом, но и как бы всем телом. Особенно она оживлялась, когда камера неотрывно следовала за какой-нибудь одиночной особью. В таких случаях она почти синхронно и с удивительной точностью имитировала движения некоторых животных. Величественно и вкрадчиво двигалась вместе с пумой, вертела высокомерно поднятой головой со страусом, стояла столбиком, прижав руки к груди, с сусликом, вращала глазами с хамелеоном, поднимала лапки и замирала с саламандрой. Старик иной раз с интересом следил за ее поведением, удивляясь

гибкости и гармоничности движений, которые Старуха словно бы заимствовала у какого-то другого существа, куда более молодого и ловкого. В таких случаях он часто задумывался: что бы Старуха ответила, если бы, давая новую жизнь, ее спросили, *каким животным* она хочет быть? В том, что человеком она стать не согласится, он был уверен.

Когда у Старухи что-то болело, она становилась живым воплощением боли; даже *за пределами* боли была только боль. Боль заполняла каждое мгновение, во всем его объеме, не оставляя в нем ни микроскопического просвета. Мгновения эти были абсолютно одинаковыми, но между ними не существовало преемственной связи. Каждое существовало само по себе, без предыдущего и без последующего; каждое было единственным, и каждое герметично замыкало в себе Старуху, не оставляя ей ни единого шанса на спасение. В такие часы она словно деревенела, становилась тонкой, почти прозрачной. Взгляд ее туманился, лицо как будто делалось жидким, текучим; и, несмотря на негромкие, размеренные, как метроном, стоны, все ее тело воплощало всепоглощающую, неизбывную немоту. Во всем мире существовало лишь одно-единственное, но до космических масштабов разбухшее измерение, которое абсолютно вбирало в себя ее бытие. Сюда, в эту галактику, Старику приходилось отправлять экспедицию, чтобы вернуть оттуда Старуху, с каждой клеточки ее тела счищая, соскабливая, стирая — таблетками, порошками, компрессами, прикасаниями — неизбывную муку. Когда ему удавалось удержать Старуху в сидячем положении, он садился перед ней как можно ближе, прислонялся лбом к ее остекленевшему лбу, от боли покрытому вязким потом, шепча что-то или губами собирая всепоглощающее страдание с пепельной кожи, и Старуха, размягченная то ли его дыханием, которое вливалось в нее, то ли работающими в ней химическими доменными печами таблеток, припадала к его лицу и, изнуренная, засыпала. И боль уходила куда-то из того времени, в котором обитала Старуха. Старик вдруг ощущал на лбу у нее совсем иной пот. Он пробовал встать, но не мог и пошевелиться, придавленный ее обессилевшим телом. С трудом отстранив ее, он вставал. Голова Старухи падала на спинку стула. Черты лица разглаживались, на лбу бисером выступал чистый пот; прекращались и стоны. Руки мягко свисали с подлокотников кресла, нижняя часть тела и вытянутые ноги сдвигались вперед. Халат распахивался, полы его с двух сторон свисали на пол. На кожаном сиденье под раздвинутыми ногами скапливалась небольшая темная лужица. Грудная

клетка казалась неподвижной, но Старик знал, что Старуха дышит. Наклонившись, он брал в ладони ее лицо и спокойно, но настойчиво звал ее. Спустя некоторое время она начинала открывать глаза — то один, то другой, — но снова и снова соскальзывала в беспамятство. Старик упорно продолжал звать ее — ведь только так, только до того момента он может ее удержать, пока может к ней обращаться, пока произносит ее имя. Он знал: если он замолчит, она ускользнет, ее перетянут на ту сторону, туда, где сначала растает имя, раньше, чем кровь, чем дыхание, чем клетки тела.

Посетители, время от времени непонятно зачем появляющиеся в квартире, полагали, что жизнь Старухи закончилась, потому что она, эта жизнь, утратила содержание, перестала воплощаться в события, которые можно связно изложить. Ее "я", представляющее роли, которые прежде могли быть четко перечислены и систематизированы, к этому времени просто распалось, рассыпалось, как песочный человек в сказке. Однако песчинки до сих пор скатывались внутрь и, подобно звездной пыли, все еще сохраняли следы прошлого, впитывали в себя соки прожитой жизни Старухи — так песок, просыпанный на землю, куда перед этим было пролито масло, втягивает в себя частицы жира. На месте, где прежде было "я" и где прежде виделась некая фикция, называемая историей, теперь лишь чередовались происшествия — то тихо, почти незаметно, то суматошно и возбужденно, то снова лишь как мерцающие струйки в тине уныния. Если же поведение Старухи вновь на какое-то время становилось более или менее логичным, то люди, которые оказывались поблизости, считали ее просто-напросто идиоткой. Что говорить, Старик тоже был удивлен, когда Старуха однажды вдруг заартачилась, наотрез отказываясь входить в ванную комнату. Каждый раз, когда Старик пытался отвести ее туда и посадить на унитаз, она останавливалась на пороге, упорно не желая сделать дальше хотя бы шаг. Люди, которые в это время оказались в квартире, сразу принялись обсуждать, какие экстренные меры следует тут предпринять. Старику, однако, удалось отвлечь внимание гостей от инцидента и найти несколько убедительных слов, чтобы заставить их уйти из квартиры. Выпроводив их, он какое-то время попробовал не обращать внимания на поведение Старухи, надеясь, что речь идет лишь о недоразумении, которое рассосется само собой. Однако после обеда Старуху пришлось вести в другой туалет: он находился на лестничной площадке, пользовались им во время ремонта квартиры, но он все еще действовал. Старик тер-

пеливо ждал Старуху на лестнице; позже он опять попытался отвести ее в ванную комнату. Старуха снова уперлась, молча встав перед дверью и ни за что не соглашаясь переступить порог. На протяжении дня Старик демонстративно несколько раз заходил в ванную комнату, стараясь делать это на глазах Старухи. Та все время стояла перед дверью и жалобным голосом звала его. Старик никогда не закрывался на ключ, заходя в туалет, — чтобы, если с ним что-то случится, не пришлось взламывать дверь. Но Старуха никогда и не пыталась открыть дверь. Теперь она тем более не делала этого: лишь стояла в коридоре и звала его. В этом не было ни истерики, ни паники: чувствовалось, ей просто необходимо слышать собственный голос, как и ответы Старика. Она так ни разу и не вошла в ванную; а когда Старик пытался узнать, в чем дело, она отвечала: "На стене сидит птица". Старик два дня прилежно водил Старуху в туалет на лестничной площадке; а потом снял в ванной комнате зеркало со стены. "Теперь можешь идти, нет там никакой птицы", — сказал он. После этого Старуха снова стала ходить в ванную.

Старик любил дни, когда время можно было созерцать, словно смотришь в пустой сосуд, откуда мир смотрит на тебя. Совершенно беспристрастно, в полном согласии со своей природой. Старик и Старуха мирно сидели вдвоем. Старуха болтала, не закрывая рта, молола всякую ерунду, Старик помалкивал. Плоть их не доставляла им никаких неприятностей; ничто из того, что было внутри или вокруг, от них ничего не требовало. В такие минуты Старик любил сидеть лицом к окну: зажмуренные веки пропускали солнечное сияние, тепло выстилало организм изнутри. Мысли текли ровным, никуда не направленным потоком; ни язык, ни въевшиеся в нервы, лишенные значения штампы не угнетали сознание. Журчание Старухиной речи усыпляло рефлексы; бытие было лишь теплым светом и звуком. Иногда Старик, жмурясь, выглядывал из-под век, машинально фиксируя мгновение на каком-либо предмете, детали, выступе мебели; а потом — снова парение. Так в нижних слоях атмосферы витает, ни на что не опираясь, ничего не поддерживая, тепло. Время от времени они незаметно окунались в дрему — словно в дрему друг к другу; может быть, им даже снилось что-нибудь общее, но это абсолютно никакого значения не имело, плоскости видимого и ощущаемого накладывались друг на друга, а может, не разделялись вообще... Старик протянул руку, положил ее на пальцы Старухи. Лишь сейчас он обратил внимание, что голос Старухи утонул в каком-то другом, чужом голо-

се, тоже что-то рассказывающем. Глаза его, открывшись, не сразу привыкли к свету. Белое режущее свечение рассекло и перемешало поле зрения, ограниченное сферой его глазных яблок. Теплый повествующий голос вскоре показался знакомым, да и свечение утратило неприятную резкость. Свет очистился; на экране мерцающего, словно аквариум, телевизора появился привычный природный ландшафт. Старику казалось: изображения спускаются по внутренней поверхности слегка выпуклого экрана, словно текучий, чрезвычайно тонкий занавес. Старуха сидела, испуганно съежившись в кресле: вероятно, на экране хищная птица кружила над маленьким беззащитным зверьком, а может, к трагическому финалу двигался один из обычных лесных эпизодов с погоней хищника за удирающей добычей. Старик был невероятно удивлен, увидев оживший экран: дело в том, что Старуха давным-давно разучилась обращаться с телевизионным пультом. Он одобрительно похлопал Старуху по руке и отвернулся было к другому источнику света; но тут рассказ прервался, и он услышал *знакомые*, через равные промежутки времени повторяющиеся стоны. Прямо против него лежал поверженный олень. Камера показывала его голову, тело же едва угадывалось за рогатым черепом, который, оказавшись на первом плане, выглядел огромным. Лежал он, видимо, на боку; иногда, под воздействием рывков и толчков, ноги его вскидывались вверх. Широко раскрытыми, совершенно пустыми, лишенными выражения глазами олень смотрел перед собой в пространство, время от времени устало и как-то равнодушно взревывая. За ним виднелись головы двух больших кошек — то ли львов, то ли леопардов; они то появлялись, то вновь погружались в живот жертвы, вырывая, выгрызая, пожирая его внутренности. Потом рассказчик снова заговорил, продолжая свою малоинтересную историю. Старик отвернулся к окну, жмурясь в лучах предвечернего солнца, и продолжил свою сиесту.

Когда он проснулся, все было вроде бы как обычно. Он лежал, вытянувшись, на спине. Было уже светло, но дома, стоящие напротив, еще загораживали вставшее солнце. Он любил это время. Предутренняя тьма угнетала его, а яркий солнечный свет, пробивающийся даже сквозь плотные шторы, казался неприятно навязчивым. По утрам он почти всегда просыпался в такой позе, на спине. И сразу же открывал глаза, привычно бросая взгляд на окно напротив, закрытое синевато-серой полотняной шторой. Если начинающийся день не грозил никакой опасностью, ему было уютно и спо-

койно в эти утренние часы. Старуха ровно дышала рядом; она проснется потом, когда Старик сползет к торцу кровати, чтобы встать. На мгновение она откроет глаза, зрачок ее сделает оборот в триста шестьдесят градусов, выворачиваясь наружу открытой, потом закрытой половиной, пока Старуха не убедится, еще во сне, что Старик здесь. Но пока что Старик лежал неподвижно, лишь несколько раз сжал и разжал кулаки да покрутил ступнями ног влево и вправо. Проделав эти свои утренние упражнения, он откинул одеяло, согнул колени и, отталкиваясь ладонями, пополз ногами вперед к торцу кровати. Поставив ноги на пол, слегка нагнулся вперед и, словно лыжник на верхней площадке трамплина, оттолкнулся сжатыми кулаками от кровати. Ему нужно было сделать лишь несколько шагов до окна, где на стуле лежал его халат. Однако сначала он присел на стул, чтобы взять валявшиеся под стулом, свернутые в комочек носки. Носки надо было надеть обязательно: если он занимался своими утренними делами на босу ногу, то вполне мог ожидать приступа цистита, независимо от того, какая погода была на дворе. Садясь, он еще ничего необычного не почувствовал. Он наклонился, вытянув указательный и средний пальцы наподобие ножниц, — но носки уже не достал. Он ничего не услышал, однако почувствовал, что в пояснице у него что-то сломалось, или, во всяком случае, хрустнуло. Спину пронзила острая боль, стремительно, словно выстрел, пробежав до плеча и потом вниз, по руке, где и остановилась, застряв в ней на всю длину. Старик широко раскрыл глаза, словно удивляясь, и замер, скованный болью. На секунду он совсем растерялся, не зная, что делать дальше, как пошевелиться. Он подождал, надеясь, что тянущая боль хоть чуточку ослабеет, чтобы можно было вернуться в исходное, сидячее положение. План не выглядел таким уж неосуществимым: прежний опыт подсказывал, что сейчас главное — выбрать правильный темп, меняя позу очень плавно, без резких движений. И даже сам удивился, как успешно ему удалось это осуществить; вскоре он сидел на стуле почти прямо. Однако в следующий момент он понял, что нагнуться за носками ему в это утро вряд ли удастся; оставалось выбрать другую стратегию. Слава богу, то, что произошло в пояснице, не затронуло непосредственно ни ног, ни другой руки. Так что нужно было только как-нибудь не сгибать туловище. Он попытался как можно точнее спланировать предстоящую операцию. Важно было не торопиться, собрать силы; он посидел, похлопывая ладонью по колену и по предплечью, потом двумя руками взялся за сиденье стула и, не сгибая туловище, сдвинулся вперед. Когда на стул опирал-

ся практически только копчик, Старик слегка наклонился вбок, левой рукой отпустил сиденье, медленно опустился на корточки и свободной рукой схватил носки, которые перед сном, к счастью, свернул в один клубок. Удачный маневр так его ободрил, что он почти без усилий вернулся в нормальное сидячее положение. Положив носки на колени, перевел дух. И подумал: если удастся положить ногу на ногу, то в конце концов он сумеет надеть носки. Поскольку боль шла с левой стороны, он сначала осторожно поднял правую ногу, предварительно сделав несколько пробных движений. И вздохнул с облегчением: мышцы не сопротивлялись. Вскоре лодыжка правой ноги лежала на левом колене. Руки, на которые он опирался перед этим, все еще дрожали и не вытягивались на всю длину, так что у него лишь с большим трудом получилось подвести ступню к верхней части носка. Но как только большой палец ноги зацепился за край, Старик понял: победа обеспечена. Левой рукой нужно было лишь натянуть носок на остальные пальцы, а потом надеть его на ногу целиком. Когда он с этим покончил, ему не удалось опустить ногу медленно: соскользнув с колена, ступня ударилась о пол. К счастью, Старуха не проснулась, и он мог начинать операцию с левой ногой. Эта нога вообще была у него менее ловкой, но в это утро она оказалась послушной, и Старику удалось натянуть на нее носок без особых проблем. Утомленный, но довольный собой, он поднял взгляд и посмотрел в большое зеркало, висящее на противоположной стене. Видимо, во время предыдущих своих упражнений он задел штору у себя за спиной и один ее край зацепился за радиатор под окном. Образовалась щель, совсем небольшая, как в уже опустившемся занавесе на сцене, когда актер должен выйти и поклониться зрителям. Через эту щель — хотя за окном уже совсем рассвело — смотрел сквозь рассеивающийся туман утренний небосвод. На нем пылала широкая розовая полоса, словно чья-то огромная рука, окунув палец в краску, провела им над крышами. Старик откинулся на стуле и с восторгом смотрел на отражающееся перед ним в зеркале сказочно-мифологическое небо.

Старик заметил, что некоторые сны как бы затягивают лицо Старухи чем-то вроде матовой синтетической пленки, и чем дольше пленка эта скрывает кожу, тем бледнее становится под нею лицо: оно словно уходит, просачиваясь куда-то, может быть, в наволочку, в обивку кресла, и ткань поглощает его быстро и без следа. Если в таких случаях он долго смотрел на спящую Старуху, то спустя какое-то время видел лишь

пленку, серо-бесцветную, сморщенную, тонким неосязаемым слоем прилипшую к наволочке. Иной раз он касался ее, едва-едва, лишь для того, чтобы пленка сошла, испарилась, но сама Старуха при этом не возвращалась в состояние бодрствования. Не считая случаев, когда на Старуху — чаще всего это случалось ночью — находила потребность бесцельно бродить, спала она глубоко и безмятежно. Вечером, когда Старик отправлял ее спать, она никогда не противилась и засыпала за считаные мгновения. Утром, чтобы не менять без нужды обычный режим, Старик будил ее, гремя на кухне посудой. Однажды утром, однако, несмотря на несколько подобных бесплодных попыток, она так заспалась, что Старик, вопреки своему обычаю, решил все же войти в спальню. И, войдя, обнаружил, что Старуха опять слезла с кровати и лежит на ковре, напротив двери. Как обычно, она стянула за собой подушку и одеяло, устроив себе постель на полу. От двери Старику видны были лишь всклокоченные пряди пепельно-седых волос на подушке; он тихо подошел сбоку, посмотреть, не спит ли она, а уж потом позвать. Старуха лежала навзничь, вытянувшись и плотно прижав руки к телу. Поверх одеяла, натянутого до глаз, правильной дугой протянулись бусы цвета слоновой кости, с которыми Старуха не расставалась никогда. Только средняя, точно в середине нитки, бусинка слегка провалилась: там была ямка между ключицами. Теплый восковой свет, просачивающийся сквозь плотные шторы, разгладил черты Старухиного лица. Лишь обе щеки ее глубоко провалились в беззубый рот. Глаза тоже ушли на самое дно глазниц, отчего надбровные дуги неестественно выпятились; крылья ноздрей опали, острый, длинный нос вонзался в воздух. Старик в некоторой нерешительности неловко опустился на одно колено, чтобы лучше разглядеть лицо Старухи. Трогать ее за руку он не хотел, чтобы, если она спит, не разбудить и не испугать. Он слегка наклонился над ней. И тут веки Старухи, дрогнув, медленно, то и дело соскальзывая назад, на глазное яблоко, поднялись, открыв две маленькие, серые, водянистые, мелкие канавки без зрачков. Наконец радужная оболочка с темным пятном в середине стала проясняться, обретая зеленоватый оттенок. Вскоре Старуха узнала Старика. Она все еще не осознала окончательно, где находится, но уже почувствовала, что место это — теплое, знакомое и вовсе не неприятное, и ее черный открытый рот стал растягиваться в улыбке. Старик наклонился ниже, приложил губы к ее сухим, потрескавшимся губам. Ощутив крохотные колючие чешуйки засохшей слизи по краям трещин, он облегченно перевел дух и громко, чуть даже

громче обычного, пожелал Старухе доброго утра, потом стал перечислять утренние новости. Это был невероятно важный ритуал. Сразу после пробуждения Старуху ни в коем случае нельзя было отпускать. Надо было все время звать ее, окликать, говорить с ней, заставлять говорить ее, не позволяя опять провалиться в сон, — иначе она полдня будет апатично полулежать в кресле и не доведенное до конца пробуждение сделает день для обоих невыносимым.

Лежа вечером в постели, Старик каждый день проходил один и тот же путь. Он шел от слегка покосившихся, наклонившихся внутрь сада ворот, за которыми была река. Тонкие, покрытые ржавчиной рамы створок держала железная, порванная кое-где сетка. Ворота заслоняли густые заросли сирени. Старик углублялся в сад. Аллея всегда была *одна и та же*: полоса, посыпанная мелкой речной галькой и окаймленная кирпичами, вкопанными в землю ребром. Красноватые, в пятнах-лишаях, кирпичи кое-где были вывернуты из земли, кое-где утонули, вросли в нее. Сейчас сад выглядел уже другим. Но этот сад был их садом; более того, именно этот сад был их садом, а другой, прежний сад, давно уплыл по реке, словно поваленный, с обрубленными ветвями лес. От того сада остались лишь по два каштана, стоящие в торцах дома, возле углов, да огромный тополь. Этот, нынешний, сад Старик любил даже больше, чем прежний; да и что бы он делал сейчас, скажем, на бывшей площадке для игры в мяч, теперь заросшей кустарником, полевыми цветами, бурьяном. Почти все тут росло само по себе, хозяйничали тут ветер и насекомые: ведь никто, кроме них, не разносил семена, пыльцу, споры. И тем не менее все казалось здесь точно спланированным, все было на своем месте, все подходило друг к другу. Старик шел босиком, не спеша, ощущая попадающиеся между пальцами камешки. Ступал он по гальке легко и спокойно: за это время кожа на пятках и ступнях стала плотной и грубой, он не чувствовал боли, даже наступив на колючку. Дорога была той же самой, он всегда шел одним и тем же путем, без воспоминаний и лишних мыслей. Но каждый раз смотрел на сад по-другому. То выбирал цветы разной окраски: фиолетовые, синие, желтые, белые, любуясь каким-нибудь особенно ярким цветком. Скажем, то венериным башмачком с его полностью открытыми, вздымающимися из розетки длинных светло-зеленых листьев лилово-синими цветами-зонтиками, то одиночными, золотисто-желтыми, сияющими лепестками нарциссов. То вслушивался в музыку листьев, семян, травинок, в шелест трясунки, сухой шорох погремка, тихое

позванивание колокольчиков. Идя по аллее, он делал около тысячи шагов, и у каждого шага был свой запах, вкус, аромат. Поблизости от ворот он ощущал запах лаванды или жасмина, дальше сменяли друг друга лимон и ваниль, в других случаях — миндаль или густой аромат меда. Конечно, было так не всегда, порядок часто варьировался, появлялись новые запахи, другие же навсегда исчезали. Иногда он перешагивал — но лишь одной ногой — через кирпичный барьер, трогал шершавые, маслянистые, бархатистые листики, серебристо-шелковые волоски, свисавшие из склоненных куполов пушицы, лезвия осоки, лиловые гроздья ятрышника, бархатисто-медвяные губы лепестков, едва колышимых пробегающим ветерком. Так он подходил к дому, не торопясь, осторожно. Тут он часто садился передохнуть на глыбу бутового камня, перебирая пальцами ног мелкие камешки или любуясь желтыми разлапистыми соцветиями могучих каштанов, высившихся в начале и в конце расходящейся развилкой аллеи. Спешить было некуда: ведь в саду он чувствовал себя как дома. Когда ему случалось быть одному, он часто здесь задерживался. Если же Старуха не могла заснуть или спала беспокойно, он нащупывал через смятую простыню ее пальцы и вел с собой в сад. Они молча шли, держась за руки, по усыпанной галькой аллее, поднимались на террасу, огороженную резными перилами, проходили между шеренгами сложенных металлических садовых стульев, а прежде чем войти в дом, просто так, на ходу, на последнем шаге, оборачивались друг к другу, обменивались, как влюбленные, мимолетным поцелуем. И исчезали в доме.

Если вдруг — в одно неуловимое мгновение — наше Солнце погаснет, мы еще целых восемь минут не узнаем об этом. Потому что лучам Солнца нужно восемь минут, чтобы достичь Земли.

Фруде Грюттен

Песни пчелиного улья

Главы из романа

Перевод с норвежского Веры Дьяконовой

Эти истории начинались в действительности, а закончились вымыслом. Книга — не портрет настоящей Многоквартирки в городке Одда, и любое сходство с реальными людьми, живыми или мертвыми, случайно.

Давиду и Майклу

We could dream, and keep bees[1].

Ван Морриссон

Монстр

ПОСРЕДИ фьорда ты начинаешь блевать. Ты склоняешься через перила, выворачивая внутренности наружу, и содержимое желудка разлетается по черному борту парома. Ты думаешь. Как хорошо быть одному на палубе. Остальные пассажиры сидят в салоне, они курят и едят черст-

© Det Norske Samlaget 1999
Published by agreement with Hagen Agency AS, Oslo
© Вера Дьяконова. Перевод, 2011
1. Мы могли мечтать и разводить пчел (*англ.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

вые булочки, ты думаешь о теплых хот-догах и снова блюешь. Ошметки непереваренной еды остаются во рту. Ты идешь в туалет умыться и сполоснуть рот. В зеркале твое бледное лицо. Ты думал, что изменишься. Что-то прорастет вместе с ребенком, что-то, о чем ты до сих пор не подозревал, незнакомое чувство, которое наполнит тебя и сделает другим человеком. В родилке ты стоял и ждал, что нахлынут чувства, ждал, как что-то новое вырастет в тебе. Но ничего не случилось. Твоя девочка плакала и ликовала, но с тобой ничего не случилось. Ты ничего такого не почувствовал, не ощутил ничего, когда впервые сидел с младенцем на коленях, ты не заметил ничего, кроме легкой тошноты и головной боли. Ты стоял у окна, смотрел, как из серых туч снег падает в черную воду фьорда. Снег, снег, снег. Небо брызжет молоком. Теперь ты выпал из мира. "Монстр, — подумал ты, впервые увидев ребенка. — Монстр". Ты видел, как ребенок выходит из нее, будто из нее вываливаются внутренности, выворачивая ее изнанкой наружу, а тебе совсем не хотелось видеть свою девочку с изнанки. На курсах для беременных показывали фильмы, но ты отворачивался, тебя тошнило от одной мысли, тебе становилось плохо, да тебе и было плохо с самого начала ее беременности, тебя тошнило, ты беспокоился. Тебе плохо от одних воспоминаний. На твоих глазах дети появились у брата, и ты даже сидел с ними, когда брат приезжал домой в отпуск, и тогда ты думал, что сам не будешь заводить детей никогда. Твои друзья становились отцами и взахлеб рассказывали, как это здорово. Ты отмечал с друзьями рождение их детей и слушал их рассказы о том, как они перерезали пуповину, как потом мыли и одевали малыша. А тебя тошнило, и ты ничего не смог. Акушерка поднесла к тебе ребенка, чтобы ты перерезал пуповину, но ты отвернулся, покачал головой, ты не хотел его видеть. Даун. Ты думаешь — надо бы поплакать, поплакать на этом долбаном пароме, дать волю слезам, они должны появиться, но слез нет. Ты ничего не чувствуешь. Может, слезы помогли бы, помогли бы почувствовать. Почему тебе не плачется? Почему не приходят слезы? Ни одной слезинки. Ты думаешь, черт возьми, почему не получилось заплакать, когда ребенок родился, это было бы к месту, слезы были бы кстати, приложением к родам. Но ты просто стоял там в родилке и думал, что жизнь перевернулась с ног на голову. И все из-за ребенка. Дауна. Снег все еще валит, огромными хлопьями, плотно, сплошной стеной. Почти невесомый, он падает в воду. У тебя дрожат руки. Беременность превратила ее в воздушный шар. У нее отекло лицо и тело. Ты часто об этом думал, когда она была беременной, она стала другой, это не та девочка, в которую ты влюбился. Ты нашел несколько ее

фотографий прошлого года, когда начинался ваш роман, смотрел на эти фотографии, чтобы убедиться, что не ошибся, что она не всегда была такой. На одной фотографии она стояла у моря, держа в руках бутылочку с маслом для загара, светлые волосы, красное бикини, июньский свет падает на твою девочку. На всех фотографиях она была ослепительно красива, настолько красива, что ты задыхался. Ты спускаешься к машине, садишься в нее и ждешь, когда паром пришвартуется. Снегопад закончился, хлопья снега все еще опускаются на землю, но он уже не такой плотный. Ты думал, только у старых родителей рождаются такие дети, что дети бывают умственно отсталыми только у старых матерей. Врач отвел тебя в другую комнату и объяснил все про синдром Дауна. Ты не слушал, сидел и смотрел на ребенка. Косые глаза. Открытый рот. Деформированные уши. Паром швартуется. Тебя все еще немного тошнит. Ты срыгиваешь. Больше ты ничего не чувствуешь. Ты заводишь двигатель и выезжаешь на берег. Перед трассой ты не знаешь, какую выбрать полосу. Ты об этом не задумывался. В голове гудит. Ты занемел. Включаешь левый поворотник, но поворачиваешь направо. В этот момент мимо со свистом проносится машина, ты содрогаешься, ты ее не видел, резко тормозишь, топишь в пол педаль тормоза, и белая машина проскальзывает мимо, а шофер сигналит, все происходит молниеносно, едва-едва успел, а все могло быть просто ужасно. Ты заезжаешь на заправку и ждешь, пока проедут остальные машины с парома. Думаешь: чуть-чуть — и была бы авария, так мало нужно. Десятые доли секунды. Черт возьми. Пронесло. И ты думаешь, что мало уехать. Надо ехать куда-то. До тебя только сейчас это дошло. Ты думал только о том, чтобы сбежать. Ехать, ехать. Прочь, прочь. От ребенка, орущего дома в Многоквартирке. Ребенка, будящего тебя по ночам. Ребенка, который срет и ссыт. Ребенка, который уменьшил тебя до персонажа второго плана в твоей собственной жизни. Ты смотришь на себя в зеркало. Монстр, думаешь ты, монстр. И ты плачешь. Ты больше не можешь совладать с собой. Ты плачешь, как младенец. Слезы текут. Ты всхлипываешь и шмыгаешь носом. Плачешь, почти как баба. Пытаешься взять себя в руки, открываешь дверь, заливаешь полный бак. Входишь на заправку и платишь, а слезы текут. Девушка за прилавком смотрит на тебя, но ничего не говорит. Ты возвращаешься к машине. Выезжаешь на дорогу, включаешь левый поворотник и снова заезжаешь в очередь на паром. Тормозишь и становишься в очередь за трейлером, который, как тебе кажется, уже давно пора помыть. Билетер не реагирует, хотя это тот же парень, у которого ты покупал билет на другой стороне фьорда. Ты мед-

ленно заезжаешь на паром и поднимаешься на палубу. Небо прояснилось, небольшой просвет в снеговых тучах. Ты стоишь один на ветру, пока меняется шум мотора, ты замечаешь, как низкий гул переходит в более высокий звук, когда двигатель включается и паром снова выходит во фьорд.

Семейное рождество

Первый тайм был говно, это было заметно даже вполглаза, и это все, что он смог пожертвовать матчу — полглаза, потому что дети колотили друг друга, младшему надо было сменить подгузник, а старшая, мерзавка, хотела играть. Oh, what a perfect day[1], идеальный день, лучше, мать твою, не бывает! Ему даже не удалось нормально посмотреть матч, он должен был менять подгузник и играть в козу рогатую, он ведь так хотел посмотреть матч, просто посидеть на диване с пивом или типа того и посмотреть матч, успокоиться. "Ливерпуль" играет на поле "Анфилд", обычно это хорошо, но сегодня первый тайм был говно, это даже он понял — сменщик подгузников, главный примиритель и теленянюшка Вибеке Сэтер-Грёбаная в одном лице. Он увеличил громкость и вовсе не для того, чтобы послушать Эрнста А. Лерсвеена или Арне Ларсена Экланда, кстати этот Ларсен Экланд вещал, как фригидная карга, он сипел, будто не говорил пару недель, копил силы, пока не оказался в комментаторской кабине на "Анфилде", готовый словом разить норвежский народ. Хуже был только Хьелль Кристиан Рике. Когда Хьелль Кристиан Рике выходил в эфир, он полностью отключал звук и ставил старые пластинки, пока смотрел матч, но теперь он делал все громче и громче, потому что отец принялся колоть орехи. И чавкать. Сюита Щелкунчика. Сначала этот долбаный стук, а потом чавканье и чмоканье; вот денек, подумал он, зашибись какой чудесный, какой прекрасный день, и еще подумал, что для него самой страшной пыткой было бы слушать, как отец колет орехи и ест орехи, жует и чавкает. Это хуже пытки водой, хуже тока по яйцам, пожирание орехов, он бы выдал все государственные тайны, оговорил бы товарищей и сдал бы собственную бабушку. Он представил себе эту сцену: он сидит, привязанный к стулу перед письменным столом с горящей на нем одинокой лампой, на голову натянуты наушники, в которых папашкино чавканье раздается усиленное в двадцать раз, в тридцать раз громче, пока

1. Какой чудесный день (*англ.*).

он не взвоет от боли. Он, как собака, боится этого чавканья с того момента, как они решили приехать сюда на Рождество. Интересно, что его раздражает – само чавканье или отец, который чавкает. Чавканье само по себе ему однозначно не нравилось, но в том, что чавкает его собственный отец было что-то особенно мерзкое, его собственный отец издавал ртом эти гадкие звуки, возможно, это передается по наследству. У него был друг, столкнувшийся с такой же проблемой. Они об этом говорили и пришли к выводу, что все дело именно в отце. День чудесный, а ему даже матч, блин, посмотреть внимательно не удается, увидел только, как Джейсон Макатир обвел полузащитника Лидса, финтил, хитрил, танцевал, будто прямиком вышел из труппы Большого театра, а сил послать мяч в ворота не хватило. Он увидел это на повторе, дети продолжали крушить елку, но на повторе он разглядел, как Макатир бьет ровнехонько над воротами, хотя цель – вот она, подана ему, блин, на блюдечке с голубой каемочкой. Ну что он говорил: "Ливерпуль" теперь – просто сборище педиков, выводок фотомоделей, вышагивающих по полю, стайка примадонн, выставленная мамочкой напоказ, одиннадцать сосок, до смерти боящихся вспотеть и засрать свои шикарные костюмчики. Вот она Премьер-лига в представлении Эрика Кантоны. Компания девчонок. Ни одного мужика не осталось. Мелкий завопил. Он поднял его, чтобы утешить. Сестра кинула в малыша деталькой от "Лего" и попала прямо в башку. "Ну, ну, – сказал он и обнял его. – Сейчас папа подует". Его отец увеличил громкость, чтобы расслышать голос комментатора сквозь детские крики. "Потише!" – крикнула мама с кухни. Она жарила котлеты для завтрашнего обеда. "Я же ничего не слышу!" – ответил отец. "Купи слуховой аппарат!" – крикнула мама. Отец вышел год назад на пенсию и теперь занимался только тем, что терроризировал жену. Он заметил, что мама похудела еще сильней. Она доводит себя, подумал он, а отец становится все толще и толще. Эта парочка действует друг другу на нервы, подумал он. Отец командовал на заводе последние десять лет перед пенсией. Он был из тех людей, что живут работой, ходят в свободное время в рабочей одежде, бегут на завод даже во время отпуска. Следят за производством, говорят с коллегами, обсуждают акции или технические проблемы. А теперь он сидит дома, ходит по потолку от безделья и мучает жену, превратившись в старого, уставшего тигра в клетке. Они действуют друг другу на нервы, подумал он, очень хорошо их понимая, особенно мать, папаша и мне на нервы действует, я не выдерживаю в его компании даже пару рождественских дней в году, а она выносит его всю жизнь, ей надо, блин, вручить королев-

скую золотую медаль "За заслуги". Он попытался спустить мелкого на пол, чтобы тот поиграл, и сосредоточиться на матче, но мелкий заплакал и тесно прижался к нему. Какой чудесный день. Это все жена, она решила поехать сюда. Теперь она валяется в спальне и отдыхает. Сказала, что болеет, не знает, что с ней, просто все тело ноет. А ведь это она хотела поехать сюда, он отказывался, он не выдержит, здесь нет места для всех, тут слишком тесно, долбаная банка с селедками, он ненавидит эту квартиру, ненавидит. "Ненавижу", — так он и сказал. "Это же твои родители, — отвечала она, — раз они приглашают нас на Рождество, мы не можем отказаться. Я хочу, чтобы дети побыли с бабушкой и дедушкой", — сказала она. Ответить ему было нечего. Семью надо запретить законом, думал он. Создание семьи должно считаться уголовно наказуемым деянием. У человека хотя бы должно быть право выбрать себе семью. Естественно, в конце концов, они поехали. Все как всегда. А теперь она лежит в спальне, болеет и хочет домой, каждый раз одно и то же. Они приезжают, и она тут же хочет домой. А бабушка с дедушкой почти не видят внуков, мама пару раз их поднимет, поворкует какие-то уси-пуси, а отец только и делает, что сидит в кресле и таращится в ящик. Он встал смешать себе коктейль, предложил отцу, но тот только зацикал, показывали повтор неудавшегося гола. С мелким на руках он смешал коктейль и проглотил несколько орешков. И вот ведь дерьмо — он столько сил положил, чтобы отличаться от отца, он переехал подальше, чтобы жить совсем другой жизнью, и вот приезжает на праздники на несколько дней и видит, насколько они похожи, будто смотрит в зеркало со встроенной машиной времени. Я вижу, насколько я похож на отца и насколько отец похож на дедушку. Долбаная наследственность. Та же фигня и с братом. Хотя между ними пять лет, они похожи как две капли воды. Брат живет по-прежнему в Многоквартирке и недавно у него родился ребенок. Он подумал, это как помешательство, от которого не избавиться, ты, вроде как ты сам, но еще и все то, чем были отец, дедушка и прадедушка. Гребаная родня. Мелкий теперь снова играл на полу. Он уселся на диван и отхлебнул коктейль, глядя в экран. Было бы прекрасно, если бы комментаторы совсем заткнулись, кто-то должен перерезать кабели, чтобы не слушать эту белиберду, они все равно несли полную пургу. Он помнит чемпионат мира девяностого года, тогда телевизионщики бастовали и передавали какие-то матчи без комментариев, вот это был сущий рай, видна была только реакция публики, звук ударов по мячу, просто супер, мечта. Мелкий снова заплакал. Какого рожна теперь ему надо? Сестра забрала у младшего братика игрушку — маленькую пластмас-

совую пчелку. Уа-а-а-а-а! Папа, помоги! Дверь в спальню с грохотом распахнулась. "Что здесь происходит? — крикнула жена. — Почему он плачет?" — "Ничего, — ответил он. — Они просто играют". Жена посмотрела на него. "Ничего? Почему же он тогда плачет?" Она подняла мелкого, чтобы утешить: "Ну, ну, ну". Мальчик плакал и закашлялся. Она посмотрела на мелкого. "У него температура!" — сказала она. "Да нет у него никакой на хрен температуры!" — "Я же вижу, — сказала она. — Вижу по глазам. Я никогда не ошибаюсь на счет собственных детей. Он от меня заразился", — сказала она. "Ничем он не заразился, — сплюнул он. — Он просто играл и взопрел". Он подошел к жене и потянул малыша к себе. Она крепко его держала, но он выхватил мелкого. Мальчик завопил. "Иди, ложись, — сказал он, — ты же больна". Она посмотрела на него испепеляющим взглядом и захлопнула за собой дверь. "Ты больна, — сказал он про себя, — ты, блин, больна, ты, блин, больна". Он вышел с обоими детьми в коридор и начал их одевать. "Она, блин, больна, — шептал он, отыскивая ботинки, варежки, куртки и шапки. — Она, блин, больна". Он все ругался и не мог найти одного ботинка. Какой чудесный день. Зашибись какой чудесный. Он вытащил детей из дома. Уже было темно, пошел снег. Декабрь был почти бесснежным, но теперь с неба парили легкие снежинки, и подхваченные сперва ветром, они опускались на черную Одду. Дети спросили, куда они собираются, но он только втолкнул их в машину, сел за руль и завел двигатель. Она, блин, больна, подумал он и поехал в сторону Эйдсмуена. Она, блин, больна. Больна, больна, больна. Дети сидели сзади и вопили. Он поставил кассету и увеличил громкость, звучала песня "Perfect Day" — та версия, где поют все вместе, и та, где поют отдельно женщины и отдельно мужчины. Он подумал: вот это, блин, звездный состав. В нем участвовали многие его любимцы: Боуи, Шейн Макгауэн, Лу Рид, конечно же, Сюзанн Вега, Эммилу Харрис, Бретт Андерсон из "Суэйд". Он так развлекался, пытаясь отгадать, кто что поет. Они проехали кладбище и теперь перед ними была вся Одда. На кладбище он увидел много зажженных свечей. Теперь снег валил уже всерьез. Будто кто-то вытряхивает дырявую перину, из которой летят перышки. Снег падал на машину и на покойников. На его дедушку, бабушку, дядю. На их жизнь, на чувства, любовь и ненависть. Они жили когда-то, а теперь умерли. И смысл? Какой, блин, смысл? Он не знал, куда ехать, и снова повернул в сторону Одды, пересек центр и поехал по восточной стороне фьорда. Дети плакали, оба, он крикнул, чтобы они заткнулись. "Заткнитесь, мать вашу!" — крикнул он, и они на секунду замолчали, но потом завопили опять, и он тут же

пожалел, обычно он так на них не кричал, просто его все уже задолбало. Он думал: почему так получается, что все, что вначале кажется тебе в девушке таким милым, потом начинает бесить. "Купим мороженое?" — крикнул он детям. Они доехали почти до Тюсседала. Проехав тоннель, он свернул налево и припарковался у кафе "Ралларен". Подумал вдруг — не зайти ли поесть мороженое? Может быть, там показывают матч. Может быть, он сможет в тишине и спокойствии посмотреть второй тайм, пока дети размазывают мороженое по лицу. Он это, блин, заслужил, не так-то много ему надо. Он просит о самой малости — чтобы его не дергали два раза по сорок пять минут. Разве это много? Два раза по сорок пять в спокойствии. Два раза по сорок пять и немного счастья. В матче был перерыв, шла реклама прокладок и подгузников на большом экране в прокуренном кафе. Двадцать или тридцать мужиков сидели полукругом и ждали второго тайма, верные болельщики оделись в футболки, как у игроков "Ливерпуля". Он не видел ни одного знакомого. Кстати, его это поразило, что он уже никого не знает здесь, он приезжает домой только на Рождество и иногда на несколько дней летом. В этом кафе он, пожалуй, не был с тех пор, как оно называлось "Пивная и стейкхаус в Тюсседале". Помнится, здесь у них была своего рода вечеринка в стиле шестидесятых в последнюю школьную весну. Они пародировали звезд, он был Джоном Траволтой в кожаной куртке и массой геля в волосах. Весь вечер он танцевал с Оливией Ньютон-Джон из Рюллестада, а по дороге домой они тискались на заднем сиденье, точно как в фильме, только что не парили в облаках. Теперь, кстати, фильм снова идет в кино. Какая херня. Какая чушь. Где теперь его Оливия? Он слышал, она работает ветеринаром на самом севере, но он не уверен. Он подумал, каково быть мужем Оливии Ньютон-Джон, морозить жопу и спасать собак от воспаления легких за полярным кругом. "Привет, домой заехал?" — услышал он из-за стойки. Он обернулся. Черт, только теперь он заметил Джонни Кому. Парня едва можно узнать, он почти полностью облысел и сильно потолстел. Он стоял и мыл кружки привычным движением. "Привет, давненько не виделись", — сказал он и протянул Джонни Коме руку. Он подумал, что Джонни — вылитый отец. В свое время тот держал спортивный бар в Одде, а теперь, значит, сын стал отцом. И так со всеми. Безумие, сидящее в крови. "Ты теперь в Осло?" — спросил Джонни. Он кивнул и заказал по мороженому детям и пива себе. "Ты, кажется, стал журналистом?" — спросил Джонни. Он ответил "да", не понимая, почему врет про Осло и свою работу. Он не хотел, чтобы жирный Джонни Кома что-либо о нем знал. "Централь-

ные газеты, значит?" — спросил Джонни. "Да", — ответил он. "Все вранье?" — спросил Джонни. "То есть?" — "Разве то, что пишут в газетах, не вранье?" — захихикал Джонни Кома. "Возможно", — ответил он. Джонни фыркнул и показал на детей: "Ну, этим вот не соврешь". Надо же, просто копия своего отца. Матч возобновился. В самом начале второго тайма Майкл Оуэн получил идеальную передачу от Лео и бах! Мяч в воротах. Один: ноль. Болельщики "Ливерпуля" в кафе встали и завопили, гол был красивым, Майкл Оуэн — отличный игрок, надо признать, но ему больше нравилась команда, когда все как будто только что из порта, из проулков, из ближайших пабов, все со сломанными носами и взлохмаченными шевелюрами, словно игроки только что из постели любовниц, слегка только попрыскали воды на лицо, надели форму и выбежали на поле. Эрик Кантона был последним игроком, который ему действительно нравился, но Кантона, конечно же, играл не в той команде, нельзя играть в "Юнайтед", просто никак нельзя, это все прекрасно понимают, но Кантона — гений, в этом никто не сомневается. После Эрика Кантоны все остальное — сплошное вырождение. "Ты помнишь, как мы братались?" — спрашивает жирный Джонни из-за стойки. Он кивнул, но ничего вспомнить не мог. "За Многоквартиркой, — сказал Джони. — Братья навек". Дети слопали мороженое и прекрасно играли вдвоем у автомата. Ему не надо было кидать монетки, они играли так, думая, что могут управлять гоночной машиной, если крутить маленький руль, они не замечали, что на экране автомата снова и снова машина проезжала по кругу в деморежиме. Она ехала по каким-то улицам, сворачивала, попадала в аварию и снова катилась. Надпись "San Francisco Heat" мигала над экраном. После матча ему пришлось сметать снег с машины — так много его нападало за короткое время. Было чудовищно скользко, он выпил и ехал осторожно, слушая "Perfect Day". Теперь он подпевал. Drink sangria in the park, and later when it gets dark...[1] Худшее теперь позади, волчий час закончился, теперь осталось только уложить их спать, и настанет покой. Все иначе, когда дети спят. Словно туман рассеивался, и взору предстает прекрасный, величественный пейзаж. Все наладится. "Вкусное было мороженое?" — крикнул он детям на заднем сидении. Когда они выехали из тоннеля, он заметил мигающие фары съехавшей с дороги машины. Как сигнализация, которую никто не слышит декабрьским вечером. Он отъехал на обочину, включил аварийку и

1. Пей сангрию в парке, а позже, когда стемнеет... (*англ.*)

подбежал к машине. За рулем сидел молодой мужчина без сознания, голова между сиденьями. Он не смог отчетливо разглядеть лицо, слишком много было крови. Он развернулся, и его вырвало в снег. Он работал с кровью, принимал у людей анализ крови днями напролет, но здесь ее было слишком, просто море, едрить твою. Он вытер куртку и крикнул парню через разбитое лобовое стекло, но тот лежал совершенно неподвижно. Теперь он разглядел, что у парня на голове выстрижен ирокез, как у индейца. "Да скажи что-нибудь! Скажи, блин, что-нибудь!" Повсюду было стекло и кровь. Подушка безопасности была похожа на продырявленный воздушный шарик на детском празднике. Старшая дочка уже собиралась выбраться из машины и пойти посмотреть. Он крикнул ей, чтобы она вернулась. "Не выходи! — крикнул он. — Не выходи!" Он подлетел к собственной машине и попросил детей сидеть тихо. Вытащил мобильный и позвонил в "Скорую помощь". Он видел как-то по телевизору, что нужно делать, если первым попадаешь на место аварии, но теперь все вылетело из головы, он все забыл. Его тошнило, он был выпивши и вспомнить не мог. Надо ли вытащить парня, чтобы тот смог дышать, или надо просто ждать "скорую помощь"? Парня прижало к рулю, но, может, его удастся как-то высвободить? Он выключил зажигание у попавшей в аварию машины и остался стоять в бездействии, подумал, что, может быть, от его действий зависит жизнь этого парня. Имело значение, что он делал или не делал прямо сейчас, так бывает в первые критические минуты после аварии. Может быть, он стоит тут, ничего не предпринимая, и тем самым лишает парня жизни. Он надеялся, что, может быть, проедут другие машины, что приедет кто-нибудь, кто больше соображает и знает, что делать. Но никто не ехал. Только снег падал на него и на разбитую машину. Он посмотрел на раненого, увидел, что тот дышит, прикинул, что парень его немного младше, подумал, знакомы ли они. С мигалкой подъехала "скорая". Следом за ней полицейская машина. Тени, голоса, снег. Ему полегчало, ему, блин, охрененно полегчало. Теперь ситуация уже не в его руках. Врачи "скорой" быстрыми уверенными движениями уложили парня на носилки. "Жить будет?" — спросил он. Но никто не ответил. Полицейские записали его имя и спросили, видел ли он аварию. Он ответил, что приехал уже после. Свидетелей самого происшествия не было. Он подумал, пахнет ли от него алкоголем. Только этого не хватало. Вот этого только и не хватало. Но они поблагодарили и спросили, не нужна ли помощь ему самому. Ему дали номер телефона, по которому он может звонить. В машине заиграла "Perfect Day", как только

он включил зажигание. You're going to reap just what you sow[1]. Он выключил музыку и медленно поехал в Одду. Дома он посадил детей смотреть детский час по телевизору и прошел прямо в комнату к жене. Она спала, натянув одеяло на голову. Он подошел к окну и смотрел, как на Одду падает снег. Огромные хлопья собираются в сугробы перед Многоквартиркой. В окне он видел голубой блеск собственного отражения. Глаза были темными впадинами под бровями, волосы на лбу поднялись выше, большой нос и лоб были освещены уличным фонарем. Казалось, он вот-вот погаснет. Он знал, что смотрит на отражение собственного отца, каким был отец, когда он родился. Он подумал, что мы находимся здесь всего секунду, мы здесь — и нас нет, мы слабо освещены на одно мгновение, и тут же нас уже нет, мы покрыты снегом или штукатуркой. "Где ты был? — спросила жена с кровати. Он не ответил. — В общем, если ты выводил детей в такую погоду..." — сказала она. Он все смотрел на снег и на снегоуборочную машину, медленно ползущую по улицам, фары освещали желтым белые сугробы. Just a perfect day, you made me forget myself[2]. "Если ты выводил детей и они заболеют..." Он повернулся к ней, увидел, что она надела его пижаму, которую сама подарила ему на их первое Рождество. Он подошел к кровати, снял брюки и заполз под одеяло. "Не надо, — сказала она. — Ты можешь заразиться". Он тесно прижался к ней. "Я болею", — сказала она и повернулась к нему спиной. "Я хочу еще ребенка", — сказал он. Она простонала. "Не надо, я болею", — сказала она. "Зарази меня", — сказал он и обхватил ее бедра под одеялом. Она злобно откинула его руку. "Зарази меня", — сказал он. Она вздохнула и тихо выругалась. "Зарази меня, — сказал он. — Зарази меня".

Ночное окно

Нина просыпается посреди ночи, оттого что кто-то запускает ракеты прямо перед окном. От них ее темная комната взрывается светом. На пару секунд комната становится совсем другой, с длинными тенями и всполохами, озаряющими пол и стены.

Вспышки света простреливают занавески и окрашивают одеяло в нездоровые цвета. Она слышит пронзительный вой ракет. Они взмывают и взрываются в воздухе. Внезапно все

1. Ты пожнешь, что посеял (*англ.*).
2. До чего же чудесный день, благодаря тебе я забылся (*англ.*).

прекращается, комната успокаивается, и все приобретает привычные очертания.

Ее нарядная одежда висит на стуле. Нина понимает, что сегодня первая ночь нового года. Она подходит к окну, чтобы еще посмотреть на ракеты, но на улице больше нет никого, и она слышит только свое быстрое дыхание.

Она видит, что снег покрыл Одду словно замерзшее молоко. Удивительным образом все кажется новым. Поселок свернулся калачиком под снегом, дома еле-еле дышат, уличные фонари тихо вздыхают светом. Нерожденный мир, завернутый в холод.

Нина думает, одна ли она. Может, все вышли в ночь и оставили ее. Но тут она слышит музыку из гостиной. Тихий возглас, мягкий смех, звон стекла. Она идет по холодному полу, выходит в коридор, оттуда в гостиную.

В слабом свете у обеденного стола мать танцует с Эриксеном. Играет какая-то медленная мелодия, и они танцуют, тесно прижавшись, с закрытыми глазами. Она думает, так не танцуют, не так надо танцевать. Во всяком случае, мама с папой танцуют не так.

Они все делают неправильно, думает Нина. Они все делают не так. Нина хочет подойти и разъединить их, разбудить, заставить их проснуться, вытащить их из сна. Они танцуют будто во сне, думает она, парят по паркету как два лунатика.

Гостиная и кухня забиты пустыми бокалами, объедками тортов, блюдцами с чипсами и гирляндами, которые вот-вот свалятся с потолка. У стола сидит какая-то женщина и смотрит на свои морщинистые руки.

Толстый мужчина прислонился к стеллажу, у него открыт рот и закрыты глаза. На нем пальто, и невозможно понять, он только что пришел или собирается уйти. Кажется, будто все замерли, будто все окоченели в эту холодную новогоднюю ночь.

На диване она видит отца, он заснул, на голове у него маленькая шляпка. Он смешно выглядит и лежит в забавной позе, будто у него сломана шея, словно он умер, но его храп долетает до нее. На его груди лежит женщина. Она видит, что это Лилли, жена Эриксена.

Все было по-другому, когда она ложилась спать. Все стало с ног на голову. Нина знает, что зашла в потайной мир, к которому она не принадлежит, в мир, который ей нельзя видеть, в мир, полный лжи.

Музыка закончилась. Но мама и Эриксен все еще стоят посреди комнаты. Они больше не танцуют, только обнимаются. Будто им не отцепиться друг от друга. Словно они опираются друг на друга, и, если один пошевелится, упадут оба.

Эриксен всегда приносит сладости детям в Многоквартирку. Он работает в Северном море, и, когда возвращается домой, всегда привозит всякие разные сладости.

Мама ее заметила. Она смотрит на Нину дурацкими глазами. Они с Эриксеном расходятся. Расцепляют объятия, будто никогда не обнимались, и Нине кажется, она и не видела их вместе, словно никогда они не прижимались друг к другу так неправильно.

— Ты проснулась, моя девочка? — спрашивает мама и обнимает ее. — Хочешь пи́сать?

Нина говорит, что хочет пить. Мама идет на кухню и наливает ей стакан молока. Нина пьет, а мама пытается разговаривать с дамой с морщинистыми руками.

Вместе они заходят в комнату.

— Спи, — говорит мама и подтыкает под нее одеяло. — Посидеть с тобой?

Нина кивает.

— Тебя музыка разбудила?

— Не знаю.

Мама закуривает. Нина видит ее лицо в свете зажигалки. Дым, поднимающийся от сигареты. Ее глаза. Она накрашена намного больше обычного, от этого она почти неузнаваема.

— Мы завтра поедем в горы? — спрашивает Нина.

— Посмотрим, — отвечает мама, — посмотрим.

Она гладит Нину по лбу, по волосам.

— Нина, Нина, Нина... — говорит мама, и голос ее доносится откуда-то издалека. Этот шепот обволакивает комнату, расправляется над Ниной, прижимает ее, кутает ее, опускается на нее, как снег на землю.

— Почему так получилось? — говорит мама. — Почему так вышло?

Нина хочет что-то сказать, что-то о том, что скоро все уйдут, скоро все кончится, а завтра все будет как раньше. Но она не уверена, что права, и не говорит ничего. Она лежит и смотрит, как медленно сгорает мамина сигарета. Крошечный огонек в синей комнате.

Мама говорит "спокойной ночи" и обнимает ее. Нина пытается заснуть, но слышит чьи-то крики на улице, неестественно высокий голос. Она подходит к окну. Снаружи через снег пробирается пара.

На них маски. Один — Билл Клинтон, а второй — Борис Ельцин. Они ссорятся. Она понимает это по тому, как они двигаются через сугробы, размахивая руками. Неожиданно Билл Клинтон разворачивается и идет прочь от Ельцина.

Ельцин кричит и несется за Клинтоном, но потом спотыкается и падает в снег. Клинтон оборачивается и возвращается, чтобы помочь Ельцину встать. Кончается тем, что он тоже падает. Они лежат друг на друге. Она видит, что они смеются.

Они снимают маски и целуются. Долго. Маски торчат на их головах, а они целуются. Нина думает, не с их ли вечеринки эти люди. Она не видит, кто это, но она половину гостей не знает.

Парочка поднимается, идет, качаясь, дальше и исчезает за ратушей. Нина стоит какое-то время у окна, смотрит на пустую улицу. Видит собственное отражение в окне. Прическа все еще не растрепалась.

Вчера вечером она была Scary Spice. Вместе с подружками они ходили по Многоквартирке, пели и танцевали. С собой у них был магнитофон с последним синглом "Spice Girls". Было смешно смотреть на других девчонок, как, накрасившись и переодевшись, они стали настоящими "Spice Girls".

Они пели во всех квартирах, кланялись и протягивали мешочек, чтобы получить вознаграждение. От Эриксена они получили каждая по огромной плитке шоколада. У нее все еще болит живот от такого количества сладостей.

Музыка в гостиной стихла, но Нина слышит голоса и смешки в прихожей. Она пытается разобрать слова, но говорят слишком тихо, будто вся квартира покрыта снегом.

Она прижимается лбом к холодному стеклу, чувствует, как поднимается в воздух, как парит в ночи, выплывает на улицу и парит над всей Оддой и над горами, она задерживает дыхание, задерживает дыхание, держит его как можно дольше. Она может парить над Оддой, задержав дыхание, пока не упадет.

Она идет к кровати и укладывается под одеяло. Медленно по телу расходится тепло. Она закрывает глаза и знает, что завтра можно спать, сколько вздумается. Она будет спать так долго, что, когда проснется, все снова будут самими собой.

Тереза Боучкова

Год петуха

Фрагмент романа

Перевод с чешского Нины Фальковской

Послесловие Инны Безруковой

Больничная палата раскалилась от жары. Хуже, чем на улице. Неподвижный воздух. Еще утром он сам сходил в душ, а днем мы с ним успели повидаться. Я ему подала питье со столика.

Я мечтал об этом с самого утра, сказал он с облегчением, но почти ничего не выпил.

Марек сидел у него, обтирал ему руки и ноги мокрым полотенцем, пытался напоить, смачивал губы, гладил ему руки, держал их в своих почти до последней минуты. Ночью Марек пошел спать в родительскую квартиру, чтобы с утра вернуться в больницу. Но минут через десять позвонила медсестра: его папа умер.

Кое-какая одежка, нераспечатанные конфеты и минералка, которые Марек носил ему в больницу. Окончательно опустевшую квартиру надо освободить, вернуть хозяину, мебель,

© Tereza Boučková c/o DILIA
© Нина Фальковская. Перевод, 2011
© Инна Безрукова. Послесловие, 2011

скорее всего, сжечь, так же как и того покойника, который еще совсем недавно...

Такое сожжение обойдется в десять тысяч, хотя вначале сумма была на две тысячи больше. Дама из похоронного бюро предложила скидки. Выгодные скидочки, какие предлагает Михал, продавая велосипеды постоянным клиентам. Может, Марек показался ей перспективным для ее фирмы? Или она занервничала, потому что ни одну из названных сумм он не комментировал, не торговался, соглашался со всем, что она говорила? Она предлагала все новые скидки, а он лишь кивал.

Кремация без церемонии. (Кто на нее придет?) Состоится там-то и там-то, это намного лучше. И дешевле. И выгоднее в целом — даже перевозка тела включена. И урна, конечно, тоже входит в цену. Уложились ровно в десять тысяч!

Все к вашим услугам...

Мы встретились в кино с приятелем, бывшим профессором Марека, и зашли выпить с ним пива и вина. Приятель жаловался на одиночество (когда мой муж отлучался), а Марек откровенничал по поводу папиной смерти. Он так хорошо держится. И это притом, что всю жизнь любил своего отца. Марек и со мной откровенничал. Я стараюсь его слушать. Но сама печали не ощущаю. После смерти свекра меня охватило лишь странное, неприятное ощущение нашей конечности.

Домой из города мы возвращались поздно ночью. Марек пошел забрать машину оттуда, где он работает целых двенадцать лет. Путь до машины всегда отнимает у него кучу времени.

А я пока зашла к живущим поблизости друзьям. Их собака лежала в корзине после операции — слабая, разрезанная и зашитая. Ее на весь день оставили дома одну, и она забралась в незапертую кладовку с сухим кормом и слопала его больше полмешка. Объелась так, что пришлось сразу отправлять ее под нож — заворот кишок. Срочная операция обошлась в двенадцать с половиной тысяч. Больше, чем кремация одного покойника.

Вот каков мир во вторник 2 августа 2005-го.

Мне снился сон о Девушке с жемчужиной[1]. Но я быстро проснулась.

"...Где-то между случайностью и загадкой вклинилась абсолютная свобода человеческого воображения. Эту свободу,

1. "Девушка с жемчужиной" (1999) — роман английской писательницы Трейси Шевалье. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

подобно другим свободам, пытаются ограничить и упразднить. Христианство открыло, что грешить можно в мыслях. Некогда то, что я считал своей совестью, запрещало мне воображать некоторые вещи...

Лишь в шестьдесят или шестьдесят пять я осознал наконец — воображение невинно. Мне понадобилось все это время, чтобы понять: происходящее в моей голове касается лишь меня одного, и речь здесь не идет о том, что прежде называлось дурными мыслями, воображению надо давать свободный выход... Воображение — наше главное преимущество, оно столь же необъяснимо, как случайность, его распаляющая.."

Я читала воспоминания Бунюэля "Мой последний вздох". Лежала в постели, а с улицы несся затихающий звук машины — Марек уезжал на работу. Я взглянула сквозь мансардное окно на небо и вспомнила, как вчера в кино художник показывал девушке (с жемчужной сережкой) облака. Какого они цвета? — спросил он.

И она сразу ответила: белого.

А потом взглянула на них его глазами: и синего, и серого, и желтого, и...

Для начала мне было нужно выгулять собаку. Я вышла пораньше, чтобы она успела побегать в лесу, пока не стало жарко. Потом я поехала на велосипеде в деревню на почту; у почтальонши выходной. Купила хлеба, рогаликов, сыра, еще кое-чего, уложила все в рюкзак, привезла на спине домой. Меня переполняло радостное ощущение, что я смогу одолеть все холмы, что я вообще ловкая и сильная.

Лукаш проснулся и сидел перед телевизором. Он еще не завтракал. Обрадовался свежим рогаликам и похвалил меня за них. Пока он ел, я снесла из мансарды в сад ноутбук, и клавиатуру, и мышь, и коврик для нее, и все остальное. Это значило подняться по лестнице наверх, отпереть комнату, взять по возможности все сразу (никогда мне это не удается), одной рукой как-то удержать, а второй запереть комнату. И — вниз по лестнице мимо Лукаша, который предложил помощь, но не знал, что именно мне нужно взять, да вдобавок...

Когда я что-нибудь забываю (а я всегда что-нибудь забываю), приходится снова подниматься по лестнице. Наверху я обнаруживаю, что сунула куда-то ключ от запертой двери, и вот опять — вниз, искать, найти, подняться, отпереть, взять, запереть. Запереть! Обязательно запереть (все равно часто забываю).

Буду писать в саду под деревом.

Попытаюсь.

Лукаш доел и более или менее убрал за собой. Сообщил мне, что уходит. Сам взялся выбросить по дороге в контейнер пакет с бутылками, которые нельзя сдать.

Может, тебе, мама, еще чем-то помочь?

Спасибо, с меня хватит и того, что ты спросил. Порадовал.

Уходя, мой средний сын ласково улыбнулся и пожелал мне удачи.

Итак, о девушке и облаках. Только вот губы у меня, как и у нее, были сухие и потрескавшиеся. Я их уже давно не облизываю — как того хотел от девушки художник. Немного поискав сумочку на пояс, где я всегда ношу гигиеническую помаду, я вспомнила, что оставила ее здесь, на первом этаже, когда вынимала покупки из рюкзака. Сунула руку в кармашек, взяла помаду, намазала губы. И застыла. Странное ощущение, будто что-то не так.

Что-то было не так. (Или — наоборот — так?)

От злости меня аж скрутило. Я кинулась к велосипеду, села и принялась как бешеная накручивать педали. Как бешеная я догнала Лукаша под самым большим холмом. Обогнала его и закричала, даже еще не остановившись, даже не соскочив с велосипеда:

Где пятьдесят крон?

Он глядел непонимающе и ответил вопросом:

Какие пятьдесят крон?

Я остановилась, слезла, прислонила велосипед к забору ближайшего сада.

Покажи карманы!

Я проверила его карманы. До чего унизительно! Впрочем, только для меня. Для тех, кто ворует, это неважно, они же все время шарят в чьих-нибудь карманах.

Стыдно, но приходится.

Я обыскала карманы Лукаша и ничего не нашла. Усомнилась в своем душевном здоровье. Но с утра-то я в магазине платила двухсоткроновой купюрой, это точно! У продавщицы не нашлось сдачи, она дала мне ее только после следующего покупателя, одну бумажку и еще какую-то мелочь, вот я и кричу Лукашу:

Где пятьдесят крон из моей сумочки?

Из какой сумочки?

Они у тебя что, в трусах? Или в ботинках?

Готовится заплакать.

Нет их у меня.

Дай сюда!

Я ничего не брал!

Куда ты их спрятал?

Расплакался.

Позавчера ему исполнилось семнадцать. Позавчера он на день рождения получил тысячу крон. А теперь обиженно ревел, сотрясаясь всем телом от неподдельных рыданий.

Было время, когда его слезы действовали на меня, так что я даже сама могла расплакаться. И извиниться за необоснованные подозрения. Было время, когда я ему верила, когда не умела шарить по карманам.

Я тебя сейчас раздену, прямо при всех! (На дороге никого нет, люди, наверное, возятся в своих садах, мой крик разносится далеко.) Сорву с тебя одежду и найду эти деньги, потому что у меня они пропали! Где они?

В кошельке.

Я же смотрела кошелек, там пусто.

Сложенные, под паспортом.

Бумажка была там. Аккуратно свернутая в маленький квадратик. Я взяла ее, схватила велосипед и попыталась снова въехать на холм.

Выбросишь бутылки в контейнер и сразу домой, понял?

Ноги у меня ослабели. Я вся ослабела. Толкая перед собой велосипед, я судорожно пыталась решить: что мне делать, когда Лукаш вернется?

Ничего.

Он решил все за меня, не показавшись до самой полуночи. А когда вернулся, я была в комнате наверху. Одна. (Марек остался ночевать в родительской квартире.) Я с ним не разговаривала. Молчать мне удавалось с трудом. Его это устраивает. Наелся, залез под одеяло и уснул; на сегодня все вопросы сняты. Попросить прощения за кражу? Больше он так не делает. С тех пор, как однажды извинился, а на следующий день снова меня обокрал. Я крикнула в ответ на его новое извинение: перестань воровать, тогда и извиняться не придется!

Он перестал извиняться.

* * *

"...и раз ты вчера наплевал на мои слова, что тебе надо идти домой, то сегодня будешь дожидаться нашего возвращения. И не пытайся забраться в дом!"

Перед отъездом мы с Мареком заперли дом, чтобы Лукаш мог войти только в прихожую. Мы заперли внутреннюю дверь, а ключа от нее у Лукаша нет. Чтобы он после вчерашнего почувствовал, что с нами такое не пройдет. (Он спал, когда я выходила с собакой, и исчез до моего возвращения.)

Мы приехали в одиннадцать вечера. Лукаш сидел в прихожей, опершись о внутреннюю дверь. Дверь искорежена, расковыряна вокруг замка, но все-таки заперта. Кругом валяются инструменты. Отвертки, проволочки, наскоро сооруженная отмычка. Как он до них добрался, ведь мастерскую мы тоже заперли?

Окно разбито. На земле осколки.

Все у нас разбито и взломано.

Вот так и живем.

Сегодня утром мне уже с полшестого своим дурацким монотонным воркованием мешала спать горлинка, все никак не замолкала. Я ворочалась в постели, спать не могла, лежать не хотелось, вставать не хотелось, ничего не хотелось.

Я встала, спустилась вниз и принялась готовить завтрак. Марек пришел сразу после меня. Мы сели и молча поели. Заговорить означало бы вновь копаться в том же самом. Во всем, что было вчера, в последние годы, во всем, что было день изо дня одним и тем же или только ухудшалось. И в лесу, гуляя с собакой, мы тоже молчали. Кидали ей палку и пытались заразиться всегдашней собачьей радостью.

Вернулись домой, Лукаш все еще спал. Мы обрадовались. Когда он вылезет из своей комнаты, нам опять будет непонятно, как с ним говорить. Если начнем разбирательство — разозлимся с самого утра. Катарсиса это не принесет, а то бы все давно было иначе. Если же сделать вид, что ничего не происходит, то Лукаш и решит, что ничего не происходит. Что мы считаем, будто его воровство — это нормально, выбитое окно — это нормально, будто отвертки и отмычки, поломанные замки на дверях и окнах — это нормально....

* * *

Идет дождь. Наверное, потому что воскресенье. Но мы с Мареком все равно оседлали велосипеды. Лукаш слонялся от телевизора к телевизору, твердя, что никуда ни за что не поедет (да ему и не на чем, все свои велосипеды он давно разбил). А мы уже и не настаиваем, если нет особой необходимости. Пытаемся сохранить мир, так легче.

Вчера мы занялись чисткой печной трубы и самой печки, работа неприятная, масса сажи, копоти, Лукаш присоединился и в меру сил помогал. Нам удалось добиться мира, и теперь мы постараемся сохранить его.

Марек выбрал маршрут: поедем вон туда, а потом — вон туда (там выпьем пива) и обратно в деревню, к нашему дому, но

с другой стороны, через лес. Километров двадцать, не меньше, точно двадцать, да еще и сплошные холмы.

Поехали. Дождь закончился, небо прояснилось. Всю поездку стояла прекрасная погода. Мы крутили педали. Я и встретившийся мне знакомый велосипедист: привет, привет! — а потом он же, обгоняя меня: привет, привет! Как водится у велосипедистов, мы, завидев друг дружку, каждый раз здороваемся.

Марек выписывает велосипедом эллипсы, это его новый метод езды бок о бок со мной. Только когда едет со мной, он может рассмотреть окрестности, в остальных же случаях носится с огромной скоростью — чтобы не снизить свои средние показатели.

Не успели мы добраться до деревни, как погода опять испортилась. Хлынул дождь, резкий и обильный. Из своего окна нас заметила госпожа К. и позвала укрыться к себе под крышу. Кофе, пирог, разговоры. Конечно, о мальчиках. Изо всех сил поддерживаем беседу, и тут Марек, усаженный к самому окну, говорит, что ему показалось, будто по улице идет Лукаш — причем с Патриком. Откуда тут мог взяться Патрик? Через полчаса нам позвонили на мобильник, что они дома, оба.

Мы сели на велосипеды.

Патрику сегодня восемнадцать!

Хотя у него и день рождения, но мы его четыре месяца не видели и столько же не слышали, так что ничего не приготовили.

Патрик, наш старший сын.

Он был вполне чистый и одет прилично — только ботинки подкачали. Стоптанные, рваные. Свежепобритый наголо, вся голова в порезах, словно бритва на ней танцевала. Словно только что из тюрьмы. За последние месяцы я видела его лишь однажды, в проезжавшем мимо автобусе. Тогда у него на голове были дреды.

Ты что, сидел? Почему такой бритый?

Теперь в тюрьме не бреют.

А ты откуда знаешь?

Я налила вина, дома, к счастью, нашлась бутылка, мы выпили за его совершеннолетие: всего наилучшего!

Торт я не испекла, не думала, что ты появишься.

Это неважно.

За здоровье!

Ага.

Больше тебя полиция искать не будет.

Они меня и так не искали.

Сюда частенько заходили.

Что ж, хоть что-то делают.

Они тебя даже у моего папы искали.

Чего? Ха-ха-ха. Он довольно рассмеялся, я тоже, когда папа позвонил мне, чтобы рассказать об этом. Полиция ищет у него Патрика, а он даже не знает, как тот выглядит. Моих троих сыновей он видел всего пару раз, давно, когда они были еще маленькие.

Тебя всюду искали.

Им за это платят.

Не ты им платишь.

Какая разница. Пусть вкалывают.

Патрик приехал за своим загранпаспортом. Общегражданский остался в исправительном заведении, и забрать его оттуда он не может. Почему? Некогда. Собрался с друзьями на дискотеку.

Я сказала, что не дам ему загранпаспорт, пока он не вернет себе общегражданский, и позвонила воспитательнице, чтобы узнать, не осталось ли за ним долгов, не надо ли нам еще за что-то платить.

Откуда у меня могут взяться долги, если я там почти не был?

Они хотели оставить тебя в исправительном до девятнадцати лет — со строгим режимом, с решетками на окнах. Ты их достал.

Я все равно сбегу.

Мы попросили через суд, чтобы тебя отпустили. Так что наслаждайся свободой. Но за паспортом надо зайти. Так положено, они не могут закрыть дело, пока там твои вещи, а главное, документы. Нужна твоя подпись, что ты их получил. Патрик, в любом государстве есть законы, и их надо соблюдать. Найди себе работу, плати за медицинское страхование, потому что так положено по закону. Иначе обрастешь долгами. Испортишь себе жизнь, потом трудно будет выпутываться... Не хочешь работать — хотя бы на бирже труда зарегистрируйся, тогда за тебя страховку заплатят...

Мы упорно дудели свое.

Говорили, что с нами он сможет жить только в том случае, если все у него будет легально. Но жить с нами он не хочет. Он живет в городе, у приятеля, и все у него отлично. Он не такой дурак, чтобы каждый день на работу ходить! Или на биржу труда каждую неделю. Он сам о себе позаботится, он знает как. Деньжат срубить он умеет. А кстати, вы не могли бы подбросить меня до этого самого исправительного заведения? А то я не знаю, как туда добраться.

Не знаешь, как добраться, хотя шесть раз сбегал оттуда?

Пять раз.

Пять, шесть — какая разница?!

Кричим.

Марек и я, мы опять злимся, опять нас понесло, по-другому никак не выходит.

Патрик встал.

Так вы мне паспорт дадите?

Нет.

А почему?

Чему быть — того не миновать!

Я боялась, что нотариус, которую я выбрала наугад по телефонному справочнику и к которой записалась, нас осудит. Но мы пошли, мы учимся с этим справляться, мы привыкаем. Нет, неправильно: не привыкаем, а только учимся.

В девять мы с Мареком вошли в кабинет нотариуса. Смелее! Мы ведь не делаем ничего плохого. Но как бы то ни было, мы чувствовали вину за то, что не справились, не воспитали ребят как следует, почему же у нас ничего не вышло, ведь мы так старались? Неужели вообще ни на что нельзя повлиять? Любовью, энергией, тем, как живешь ты сам? Сколько бессонных ночей я думала об этом.

И вот мы здесь.

Нотариусу мы объяснили все, как умели. Недлинная биография, резюме родителей, о прошедших двадцати годах рассказать можно лишь вкратце.

Юридически усыновление второй степени — это то же самое, что иметь собственного ребенка. Обратного пути нет. В этом случае мы должны привести доказательства того, что Патрик не проявляет интереса к нам, родителям, а также доказательство его "ненадлежащего образа жизни".

Мы быстро перешли к документам. У нас были с собой заключения специалистов, к которым мы обратились несколько лет назад, когда зашли в тупик, поняв, что не можем воспитывать старшего усыновленного ребенка так, как подсказывают нам наши сердца и характеры.

О Патрике: "...Нарушения поведения, постепенно переходящие в нарушения поведения с асоциальными признаками, в сочетании с дисгармоничным развитием личности привели к асоциальным нарушениям поведения с криминальными последствиями..."

Мы захватили с собой и все судебные решения и рапорты о побегах из исправительного заведения (бежал он не к нам). Толстая папка. Мы собрали в ней все, что смогли, — так положено.

Круглая печать.

Мы уходим. Нотариус в дверях пожала нам руки и сказала, что преклоняется перед нашим мужеством. А я... Что ж, надо учиться владеть собой, не все нас осуждают, не все... пока еще.

Марек на служебной машине помчался на работу, я — на нашей в магазин и домой. Не успела я достать сумки из багажника, как на нашу улицу въехала машина с надписью ПОЛИЦИЯ. Двое в форме искали Патрика. Снова в розыске? Зачем его ищут? Ведь со вчерашнего дня он уже совершеннолетний.

А с сегодняшнего лишен наследства.

* * *

"...А еще я думаю, что для фильма нет ничего важнее хорошего сценария..." (Бунюэль)

Я тоже так думаю. Не знаю только, кто в конце концов решает, какой сценарий считать хорошим? Вчера мы встречались вчетвером: продюсер, режиссер, кинодраматург и я, сценаристка. Задача была — познакомить меня с продюсером (его привел режиссер) и отметить принятие сценария в производство.

Продюсер сказал, что прочел сценарий на одном дыхании. И что это — ТОСКА. Продиктовал, что надо поменять.

Мне придется испортить сценарий для того, чтобы снять фильм?

Вечером в родительской квартире должны были поминать Марекова папу. А я думала лишь о том, что делать со сценарием и надо ли.

Растерянная и озадаченная, торопилась я на автобус до города. В этом состоянии растерянности и озадаченности я и встретила почтальоншу. Она передала мне письмо. Держу в руке конверт и вглядываюсь в красивый почерк (похож на папин) — четкий, ровный, выдающий уравновешенность характера и ясность суждений. В письме будет ясное суждение о сценарии. Есть ли у меня силы прочитать его? И как это возможно, что я вообще не знаю, хорошо я пишу или плохо? Чем я старше, тем меньше во мне уверенности. Когда-то я это знала и упорно стояла на своем. Теперь же во всем сомневаюсь. Время идет, автобус, как всегда, опаздывает. С замирающим сердцем я открываю письмо от А. Я. Л.

"...Думаю, на этот раз все получилось".

Наверное, автобус приехал, раз я в нем сидела. Наверное, он привез меня на конечную трамвая, раз я там стояла. Скорее всего, я доехала до набережной и добралась до условленного

места: поднялась в лифте на самый верхний, четвертый, этаж. Не опоздала. Решение я уже приняла: не отступать.

Режиссер опаздывал. А мой приятель оказался точен.

Как дела? — спросил он меня.

Я рассказала ему все.

Как не хотела жить, потому что меня убивала ситуация в семье.

Как хотела разогнаться на машине и врезаться в дерево.

Как все мне казалось напрасным. Прежде всего жизнь, а еще семья и то, что я пишу.

Как ненавидела писать.

Какой ужас испытывала каждое утро при мысли о новом дне.

Как боялась его не пережить. Боялась, что сорвется вентиль, поддерживающий в людях жизнь. (Что за помои у меня в голове? Что за жидкость там разлита, диктующая единственное стремление — покончить со всем?)

Как я все время плакала.

Как плачу до сих пор.

Как А. Я. Л. убеждал меня, что надо попробовать писать сценарии по лучшему из моей прозы.

Как я не верила, что это возможно.

Как попробовала, но безуспешно.

Как мы с Мареком в январе пошли в театр.

Там меня увидел директор, которого я знаю столько времени, что уже не помню, сколько:

Приходи к нам в начале февраля! Получишь бесплатный билет. Только в кассе надо будет предъявить какой-нибудь документ. У тебя в паспорте девичья фамилия?

Зачем?

Затем что девятого февраля начинается *Год петуха*. И мы это будем отмечать. И все, у кого есть что-то общее с этой птицей...

Год петуха?

Ведь я же родилась в год петуха! И даже *в час петуха*!

Как в январе я была никакая. А в феврале начала писать сценарий. И искала кинодраматурга, с которым смогу сработаться, одному я даже навязалась, а он меня прогнал.

Как я не дала себя прогнать. Как долго и упорно носила ему все новые версии, пока он наконец не начал со мной работать.

Как все получилось.

Как я искала режиссера и в конце концов нашла того, о ком после нашего с ним первого совместного фильма говорила себе, что больше никогда, раз он...

Тут-то он и пришел.

* * *

Мы были дома вдвоем, Марек и я. Впервые за столько времени, лет, наверное, за пятнадцать, мы были дома одни. (Лукаша моя мама пригласила на неделю на дачу, составить компанию скучавшему там сыну моей сестры.)

Мы долго сидели на террасе, Марек говорил о покойных родителях, ночь была холодная, мы держались за руки, пили, а к утру вошли в дом, и врубили на полную катушку Леонарда Коэна (или Тома Уэйтса? или Ван Моррисона?), и занялись любовью — тоже на полную катушку, посреди комнаты, на полу, накидав туда наскоро одеял и подушек, и....

Все двери остались незапертыми.

У меня разболелись почки. А потом добавилась резкая боль в низу живота. До машины, чтобы попасть в отделение "Скорой помощи", я доковыляла, согнувшись. Воспаление мочевых путей. Лекарства пока еще не помогли, и я, закутавшись в одеяло, ворочалась у телевизора и пила один урологический чай за другим.

Марек привез из летнего лагеря Матея. Я не видела его две недели, он показался мне большим и самостоятельным. Последнюю ночь в лагере он совсем не спал, явно устал, но выдавать этого не хотел и потому отказался ложиться, не дожидаясь вечера. Он сидел с нами перед телевизором и спал. Наш младший сын.

Нас в доме только трое. Двери можно оставить незапертыми. Но я их по привычке запираю. По привычке хожу по дому с сумочкой под мышкой. А мама тоже так делает? Я набрала ее номер. Завтра ей исполняется семьдесят три!

Мама, я тебе желаю всего самого-самого-самого.

А ты? — спрашивает она меня. — Ты-то как?

Как Лукаш? У тебя деньги не пропадают? Все в порядке?

А у тебя?

Мама...

Ты все еще влюблена?

Мама.

* * *

"...обстоятельства всегда как-то складываются, и почти всегда иначе, чем нам бы хотелось, самая большая радость в работе над фильмом — это написание сценария, а все остальное зависит от расположения звезд. Как мне подсказывает опыт, настаивать на чем-либо контрпродуктивно. Я просто верю, что по этому сценарию фильм, скорее всего, снимут!!! — а если

вдруг не снимут, то твоя прекрасная работа все равно останется с тобой. Это не утешение, не сочувствие, ведь сочувствие (так говорит мой домашний доктор Надя) не лечит, это все равно что подуть на болячку, на боль, на кризис или как это там называется; а когда ты станешь старше (как умник, который пишет тебе эти строки), то (возможно) и переносить тебе это будет легче, хотя злость и раздражение на дураков у нас с тобой никогда не пройдут окончательно. Тем более что в кино их намного больше, чем в других местах, и все они строят из себя умных, режиссеры и продюсеры — это же самые лучшие сценаристы, с той самой минуты, как кто-нибудь, скажем, мы, даем им готовый сценарий, они уже твердо знают, что в нем надо изменить, как его улучшить, а вернее сказать — как его уничтожить. Прошу тебя: не допускай этого, пускай лучше фильм вообще не выйдет, пускай он дождется близкого по духу человека..."

(*Душан.*)

Только бы ни о чем не думать!

Я прибиралась в комнате Матея, он вырос так, что не помещается на кровати, убралась во всех шкафах. Потом занялась комнатой Лукаша, перебрала его драную одежду (она вся драная), половину выкинула — и набросилась на комнату Патрика. Комната у него еще есть. Тут его кровать, шкаф, письменный стол, его вещи. Я убирала и одновременно слушала новости по радио.

У нас новый министр культуры. В своем первом выступлении он заявил, что хочет биться за культуру и выполнять указания господина премьера, потому что они дельные — надо же!

Отличный у нас министр. Вот именно, культуры.

"Материя мира — это материя истории...Человек касается ногами земли, а головой небесной сферы... Чтобы нация оставалась нацией, она должна, пробившись через все легенды, вынырнуть из мифического беспамятства к исторической памяти. Выражаю свое уважение автору, с которым я не согласен... Исправление знаменитой сократовской фразы *Я знаю, что я ничего не знаю*: о том, что знаю — знаю, что знаю, а о том, чего не знаю, знаю, что не знаю..."

По телевизору показывали интервью Марека Эбена с философом Зденеком Нейбауэром.

(Теперь я поняла, почему философ не может быть министром культуры.)

Неужели режиссер не понимает, что, как бы ни назывались персонажи фильма, зритель всегда будет связывать их с живыми людьми? С твоей семьей?

Да все он понимает. Отлично понимает.

Нельзя ему это снимать! Это сказал как отрезал Цирил, кинодраматург.

А кому можно?

Был теплый вечер. Наше ресторанное совещание окончилось засветло. Мы с Цирилом, как обычно, пошли провожать друг друга. Он меня, я его... Цирил поехал домой на трамвае, такое бывает редко, обычно он бежит к метро, причем уверяет меня, что, сколько бы пива ни выпил (а пьет Цирил как сапожник), его никогда не шатает и ходит он прямо.

Меня начало шатать уже после двух маленьких кружек и дойти прямиком до маминой пустой квартиры я не смогла. Добиралась в обход. Смеркалось. Повсюду сияли огни, город жил своей жизнью. Люди, сидящие в ресторанных двориках, разговоры, музыка, река, усеянная лодками и водными велосипедами, вдалеке — мост с гроздьями туристов, а за ним — прекрасная опошленная панорама, иногда мне так этого не хватает — видеть лодки, людей, мост, знакомую панораму...

Ночью по телевизору показывали "Клуб 'Буэна Виста'", документальный фильм Вима Вендерса о старых, открытых заново и собранных вместе кубинских певцах, забытых, разбросанных по разбитой и нищей коммунистической Гаване. Чудесный фильм о едва ли не восьмидесятилетних музыкантах (но каких!), спустя много лет вернувшихся к музыке — в воссозданный оркестр, который в пятидесятые годы был на Кубе лучшим. Один музыкант работал чистильщиком обуви, другой аккомпанировал детям на уроках гимнастики. Все как-то приспособились к жизни, но их талант оставался невостребованным.

Пустые улицы Гаваны — ни единого огонька ночью, полуразвалившиеся дома и бывшие дворцы, облезлые, обшарпанные, держащиеся на честном слове и даже красивые в своем запустении — особенно для нас, для которых это уже в прошлом и чьи города превратились в кулисы из внешних фасадов.

Люди, бесконечно латающие машины пятидесятилетней давности, латающие каждый день, чтобы хоть как-то этот день пережить, люди, бесцельно слоняющиеся по тротуарам и ничего не ждущие, потому что какая может быть цель, если к ней не ведет ни одна дорога?

И мне сразу вспомнилось, с чем жили до 89 года мы: с мертвящим ощущением безнадежности. Остановившееся время, неподвижность. Пустые улицы, темнота.

Но еще и пора крепкой дружбы и взаимопонимания.

Сегодня 21 августа, годовщина оккупации, если вдруг кто не знает. Оккупацией мой сценарий и начинается, если вдруг кто не знает. Пятнадцать лет назад умер дедушка.

Твердо решаю отказаться от режиссера и сообщить ему об этом немедленно. Говорили и переписывались мы с ним беспрерывно, и он упорно стоял на своем, а вернее — на продюсерском:

"...Не спорь с тем, что герои поведут себя как сволочи, эпоха была сволочная, и получится сильно. На грани. Может, за гранью, но уж точно здорово..."

Марек с Лукашем и Матеем уехали. Я тоже собиралась поехать в наш первый и единственный совместный отпуск, но — осталась дома, чтобы стеречь свои творческие идеи. До последней минуты была угроза, что мне придется стеречь и Лукаша, который вернулся от мамы — и его привычки вернулись вместе с ним.

Лукаш отказывался ехать, велосипед (взятый напрокат) ему не нравится. А оставить его одного мы тут не можем, хотя при нормальных обстоятельствах в его возрасте могли бы. (Однажды мы уже попробовали, повторять не будем.)

Заставить Лукаша силой поехать в горы на велосипедную неделю, которую Марек придумал и организовал для Клуба аллергиков, означает следующее: он будет беспрестанно злиться и портить настроение всем, вожатым и детям (с аллергией). Протестовать он может бесконечно. А еще мы боялись, что если Лукаш поедет, то придется обучать остальных сорок участников прятать деньги и мобильники.

Куда их прятать в пансионате? Под подушку?

Клара пригласила меня на обед. А я пригласила ее. Очень удобно, если обе стороны стараются жить скромно. Клара, подруга пятнадцатью годами меня старше, за пятнадцать лет нашей дружбы дала мне множество хороших (и пару плохих) советов. Например, она посоветовала обратиться к Цирилу за помощью в работе над сценарием и сразу дала мне его номер телефона: он умный и опытный, может, тебе и не откажет.

Мы обедали.

В городе, в ресторане с подходящим названием "Потери и находки". Клара рассказывала о своих отношениях с мужем и сыновьями, я в ответ — о своих с сыновьями. А еще — со своим творчеством. Вот тут она на меня набросилась:

Ты что, отказалась от режиссера?

Да, вчера.

И ты еще хочешь, чтобы с тобой кто-нибудь работал? А ты не перебарщиваешь с этим своим соблюдением всех деталей? Что тебе в нем не нравится? Ведь твой первый фильм он сделал хорошо.

Можно было и лучше.

Ты думаешь, хоть один режиссер стерпит, если сценарист (и особенно ты!) будет все время стоять у него над душой и говорить, что нужно делать?

Я не буду стоять у него над душой. Но я хочу участвовать. Потому что ни он, ни любой из актеров не знает, о чем идет речь. Не знает, что это такое — иметь семью, в которой трое разных, абсолютно разных детей! Некоторые ситуации, особенно с мамой, очень женские, режиссер не угадал. Сфальшивил.

Да ты вообще невыносима, не хотела бы я с тобой работать.

Спасибо, что хоть обедаешь.

С тобой невозможно иметь дело.

Вооруженная самой низкой самооценкой, но зато на полный желудок, я ждала в этом же ресторане встречи с продюсером. Он был недоволен, что я распрощалась с режиссером.

Как же это ты со мной не посоветовалась?

Я отказалась от него из-за твоих же замечаний. Потому что ты, продюсер, можешь требовать от меня неприемлемых изменений, но он, режиссер, не должен был на них соглашаться.

Ерунда!

Зачем мне обсуждать с тобой свои шаги, если ты все равно не принимаешь сценарий таким, какой он есть, а на твой лад я его не перепишу?

Нельзя делать все, что тебе заблагорассудится!

Почему? Ведь сценарий все еще принадлежит мне. Ты же мне ничего за него не предложил — ни договора, ни аванса, ничего.

Хорошо еще, что я его не купил.

Хорошо еще, что я его не продала.

Хорошо еще, что я могу уехать!

Горы: дождь, солнце, туман, ветер, сырость, солнце, тепло, холод, жара, зной. ВЕЛОСИПЕД.

107 километров.

Что ждет меня дома? Мейл от режиссера. Мейл от режиссера. Мейл от режиссера.

Да, он уже понял, что не надо было настаивать на изменениях, да, нельзя было забывать, какая я чувствительная. Я на-

несла ему удар в самое сердце: он не может спать, не может водить машину (вместо передней передачи включает заднюю). Почему я ему не отвечаю? Почему не хочу с ним встретиться и сказать все в глаза?

Я что, нарочно его мучаю?

Я ходила по горам и лугам и искала, куда закопала Патрика. Призналась Мареку, что я его убила.

Проснулась вся в поту. И изо всех сил вглядывалась в темноту. Это и вправду был только сон? Я включила лампочку и зажмурилась от света. Выпила успокоительное. Целую таблетку.

Когда я в последний раз была с мальчишками у психиатра, то лекарство там прописали мне. Патрик уже совсем отказался слушаться, и Лукаш взял с него пример. Когда врач увидела, как меня трясет, то выписала успокоительное не ребятам, а мне, и этим актом торжественно завершилось лечение их мозговых дисфункций, гиперактивности и нарушений поведения.

Я долго пыталась не уснуть. Чтобы не продолжился сон с убийством. Но лекарство подействовало, и я уснула, сама не знаю как. Разбудил меня телефонный звонок. С некоторых пор, годика так два-три, от звонка стационарного телефона в рабочий день с утра мне становится нехорошо. Это всегда означает, что что-то случилось. Я ждала плохих новостей о Патрике.

Звонила незнакомая куратор из города. Сообщила, что на Патрика заведено уголовное дело, потому что он с еще двумя парнями обворовал какой-то клуб — в день своего восемнадцатилетия. (Это значит, прямо от нас он отправился воровать! Как же так, после всего того, что мы ему говорили?) Преступление он совершил, еще будучи несовершеннолетним, и вот теперь ей придется им заниматься. Нанесенный ущерб равняется восьмидесяти пяти тысячам. А с учетом разбитых окна и двери — почти ста. Сто тысяч крон.

Криминалисты быстро поймали взломщиков, и Патрик, к его чести, во всем признался и сообщил следователю, где лежат украденные вещи, так что многие из них нашлись. Организовал все взрослый человек, пообещавший мальчишкам деньги и марихуану. Куратор хочет помочь Патрику, она же видит его желание исправиться. Она ему верит. (Ну-ну!)

Патрику везет в том смысле, что всегда отыскивается немало людей, которых ему удается обмануть. На первый взгляд он производит очень приличное впечатление. К тому

же он умный... Знает, что надо сказать, только вот слова у него расходятся с делом. Ни намека нет в его поступках на то, что он говорит. Зачем стараться? Вот-вот проявится его главный дефект — абсолютное отсутствие интереса к другим людям, даже самым близким, к любым связям, любым взаимоотношениям между ними.

Сколько лет я промучилась, сомневаясь, коря себя, впадая в отчаяние, злясь, плача, сомневаясь, — и опять все по новой, пока не осознала наконец, что нельзя привить чувства человеку с этим дефектом. Просто нет в нем такого местечка, такой морщинки или ложбинки, где чувство могло бы прижиться и пустить корни, вот нет — и все! И столько же лет мне потребовалось, чтобы разобраться в том, в чем никак не могут разобраться ученые: ничего тут не изменишь.

Во вторник первый допрос. Меня приглашают как официального представителя. Не знаю, пойду ли. Знаю, что мне не хочется — после всего, что было. Не хочется мне. Не хочется.

Я села в машину и поехала в город узнать, во сколько обойдутся решетки на окна... Все, у кого в семье были такие истории, предупреждали, что нас обворуют первыми. Мы можем радоваться, что выбор Патрика пал не на нас. Нужно позаботиться, чтобы обошлось и в следующий раз, но решетки дорогие, денег на них у нас нет.

Да и зачем решетки, если у ребят есть ключи?

Когда мы с Мареком занимаемся любовью...

Добрый день, это говорит... Представился мне по телефону бывший Патриков одноклассник, который живет в деревне: а Лукаш дома? Да, он был дома. Я позвала Лукаша к телефону, он рявкнул, что ничего никуда не понесет, и повесил трубку.

Патрик хотел, чтобы Лукаш взял его загранпаспорт и отнес на деревенскую почту, а он бы получил там свой общегражданский паспорт, который ему прислали заказным письмом.

Ах так, значит, он в деревне и просит, чтобы за него позвонил друг и чтобы Лукаш принес его паспорт, а со мной, которая — помимо всего прочего — ему этот загранпаспорт сделала (за шесть сотен, потому что, когда время было, ему не хотелось возиться, зато захотелось поехать с нами в прошлом году к морю), со мной он разговаривать не желает?!

Я сказала Лукашу, что он поступил правильно, все равно бы я ему паспорт Патрика не отдала. Такая манера общения меня не устраивает, и если Патрику от нас что-нибудь надо, то придется ему напрячься и поговорить со мной или с па-

пой. Я описала Лукашу проблему Патрика, потому что младшему Патрикова свобода очень по душе.

Тут попахивает тюрьмой, и ты это учти, если вздумаешь опять сбегать, несмотря на наши запреты!

Лукаш ответил, что не такой он дурак, чтобы воровать, нет, воровать он не станет. У меня на языке вертелось множество возражений: когда воруешь дома, это тоже кража, карманничество, преступление! Но я сдержалась. Для разнообразия остановимся сегодня на позитивных мотивах. Я похвалила его: ты правильно поступил, Лукаш.

Весь день я ждала, что Патрик зайдет за паспортом, уж при допросе-то ему паспорт точно понадобится, но он не зашел.

Не удивляюсь, но и не понимаю.

"Молитва для Марты"

Не слишком ли это серьезно для названия фильма, не уводит ли в сторону? И не ясно ли это и без того, коли поет Марта Кубишова? И почему Цирил до сих пор не ответил? Куда он делся?

(Может, умер?)

Мы сидели в беседке, в один из немногих теплых вечеров этого странного лета, и отмечали конец каникул. Собрались все друзья: Мирек с Яркой, Даниэль с Павлой и Мартин с Ленкой. Мы сидели и пили, подвыпивший Мартин уговаривал нас купить на здешнем кладбище общую могилу, где мы будем лежать вместе и среди всей этой подземной тоски...

Развлекаться.

Попробовала смотреть современный чешский фильм, телевидение выделяет воскресный вечер. Ничего не получилось — а ведь шел он час сорок пять! Кажется, это была черная комедия, и, если я правильно помню, наша критика ее хвалила.

Не досмотрела. Все персонажи что-то (преимущественно сидя) говорят, потом что-то происходит, якобы таинственное, якобы тут вообще все таинственное и якобы все постепенно раскрывается и переплетается, но сплетается в результате полная фигня! Как почти во всех чешских фильмах последних надцати лет.

И почему только продюсеры не дерутся за мой сценарий? Или я о себе слишком много возомнила? Но если люди ходят на такое дерьмо, то разве придет кто-нибудь на мой фильм? Нет, наверное.

На меня напала тоска.

Мне нужен стимул. Какой-нибудь, хоть маленький успех, что-нибудь конкретное. Я так долго живу без успехов.

Так долго.

А вот и конкретное: давно ссорюсь с Лукашем из-за его вечно немытых подмышек и ног. (Когда он был маленький, я заталкивала его в ванну и как следует отмывала. А теперь что делать?) Такие вот у меня каждый день развлечения.

Ты что, сам не чувствуешь? Если носить в жару синтетическую рубашку, то пот не впитывается, а течет по телу. А если ноги весь день в закрытых ботинках, да еще в такую жару (наконец-то настала жара!), а потом ты разуваешься... Почему ты не моешься? Ты что, хоть раз в жизни не можешь помыться сам? Почему ты все время ждешь, пока я напомню? Разве тебе самому это не мешает? У тебя что, носа нет? Да с таким вонючкой ни одна девушка не пойдет!

Или тебе не нужна девушка?

Начался учебный год. Все разъехались.

Марек — на велосипеде на работу, Лукаш — на поезде в училище, на второй курс. К счастью, он пару дней назад сдал квалификационный экзамен на каменщика, не сданный на первом курсе. (Прогуливал. Пропуск — семьдесят процентов учебного времени. И это притом, что я иногда звонила мастеру и спрашивала про Лукаша. Притом, что я ходила на родительские собрания.) Матей уехал на автобусе — в восьмой класс. Сегодня — первый день занятий. Где Патрик — неизвестно. (Паспорт ему на почте добрая заведующая все же выдала.)

Я, вся издерганная, осталась одна.

И тоже сбежала. Поехала в город договориться о деньгах на билет в Германию, куда еду в четверг. После долгого перерыва у меня будут там чтения, наконец-то хоть что-нибудь заработаю. Повидаю Райнера. Надеюсь, это не окажется последней в нашей дружбе встречей?

В прошлом году, на Рождество, когда я особенно активно боролась с собой и своими депрессиями и когда мы с Мареком, как обычно перед Рождеством, поругались, позвонил Райнер и со смехом спросил: угадай, что у меня нового?

Не знаю. Что? Любовь?

Кое-что получше!

Что?

У меня рак.

"...Ya vse eshe zhiv i bor'ba ne zakonchena. Ya dazhe perezhil operaciyu na pochki (ostalas' odna). Spust'a nedelu menya uzhe

vykinuli iz bol'nica. Vrode kak dal'neishee prebyvanie nerentabel'no. Oboshlos'. Nikakoy katastrofy, za isklyucheniem togo, chto vse ravno u menya rak.

Sud'ba est' sud'ba, pomnite? Znachit, ja byl prav, da? A voobshe starayus' vyglyadet' kak mozhno normal'nee. Segodnya vecherom idu na koncert Kokera. Vpervye v zhizni, potomu chto znaju teper' nemnogo bol'she o tom, chto zhizn' mozhet byt' koroche, chem my sebe zhelaem. Esli vyzhivu, mozhet perezhivu i sobstvennuyu smert'. Chto skazhete?

Rugaites' ne dozhidayas' rozhdestvo, uzhe seichas. Nikogda ne znaesh', skol'ko ostalos'. Hotja by zhit' segodnja. Stol'ko mudrost', eto li ne chudo? Skoro u menja nachinaetsa to, chto ponemecki nazyvaetsa Immun-Chemo-Terapie. Budu proshat'sa s vse volosy. Pust' kogda-nibud' oni vernutsa. Potom ja budu eshe mudree". (Привет, Райнер.)

В городе я встречалась с редактором газеты, куда раз в месяц пишу колонку. Больше года мы сотрудничаем с ним по мейлу — такого хорошего редактора у меня еще не было. Мы договорились перейти на ты и выпить за это. Сидели на солнышке во дворе одного литературного кафе и говорили про все подряд. Конечно, и про мой сценарий, про продюсеров, режиссеров, актеров.

Ты не должна продавать свою шкуру задешево! Редактор перешел со мной на ты.

Он прав. Но для начала кто-нибудь должен захотеть купить мою шкуру, разве не так? У него в газете мне платят за колонку тысячу триста пятьдесят крон. Ровно столько — и ни гроша больше — составляет мой месячный доход.

Такая уж я писательница!

* * *

Писательница, которая не может писать.

Тоска совершенно кошмарная. Никому не говорю об этом. Все равно не поможет. Я в тоске, нужно с этим что-то делать. Никому не говорю, но при этом все сильнее хочу обнять кого-нибудь (и чтобы меня тоже обняли), погладить (и чтобы меня погладили), заняться любовью (и быть любимой), прижаться к кому-нибудь...

Девять часов...

Патрика должны впервые допрашивать в полиции (перенесли со вторника на среду, не знаю почему). Раз он не соблаговолил даже позвонить нам, я прийти вежливо отказалась.

Меня это не интересует.

Но все-таки, как оно там происходит?

Патрик уже давно не нервничает и не впадает из-за полиции в стресс — после всех его побегов, после облав в ночных клубах, где он проводит большую часть времени, после того, как его держали в отделении, пока за ним не приехали...У него все хорошо.

Тоска.

"Wenn die Lauferei auf der Entbindungsstation einen Sinn hatte..."[1] Лежа на солнце, я училась читать "Индейский бег"[2] по-немецки. Сосредоточиться не удавалось. Думала, не знаю почему, о том, что остается после человека. (Ничего не покупать, все выбрасывать!)

"Wenn die Lauferei..."

Родители Марека прожили в одной квартире больше пятидесяти лет. И не оставили после себя никаких следов. Только массу ненужных вещей. И пять тонн золы в подвале.

Что может остаться после человека.

Ничего не покупать, все выбрасывать, повторяла я, вспоминая мамину подругу, а в свое время и мою советчицу в делах писательских. Ей было что сказать, потому что она — племянница Франца Кафки.

Несколько лет назад она оставила семейную виллу детям, а сама перебралась в квартиру. Там у нее почти ничего нет. Кровать, стол, стул, несколько тарелок, ножей и вилок. Она не хочет ничем обзаводиться. (Ужасно хочу ее видеть. Ужасно хочу с ней поговорить. Но она не принимает гостей. И я ее понимаю.)

Чуть ли не все в ее семье, в том числе и мама, погибли в концлагере. Потом у нее умер сын, еще ребенком. Муж, чтобы отвлечь, повез ее к морю — и утонул. Домой она вернулась с его гробом.

Теперь она пережила второго своего сына, талантливого композитора. Столько мертвых за одну человеческую жизнь. И никаких жалоб! Она почти слепая. Великой радостью для нее было чтение. Не представляю, откуда у нее берутся силы для очередного дня жизни, тогда как я... Почти без причины. Мне должно быть стыдно. У меня в голове частенько звучат слова, которые она мне когда-то написала:

"Бедный писатель! То он сходит с ума от того, что пишет, то сходит с ума оттого, что не пишет".

1. Когда беготня по родильному отделению еще имела смысл... (*нем.*)
2. "Индейский бег" — книга Питера Набокова, исследующая бег как феномен культуры аборигенов в Новом Свете.

Ночью я послала сообщение режиссеру. Чтобы не ждал встречи со мной — если он все еще ее ждет. Я возвращаюсь к первому продюсеру. (Он позвонил, что по-прежнему интересуется моим сценарием.) Эти двое не хотят работать вместе, они друг друга не выносят.

Утром я стала прилаживать сумку к велосипеду, машина была в ремонте, а мне нужно было съездить в город за билетом в Германию. А еще узнать, можно ли от нас выписать Патрика и как это сделать. С сумкой ничего не получалось, куда-то подевались резинки, а когда я вернулась в дом, то обнаружила в оставленном на столе мобильнике неотвеченный звонок и эсэмэску от режиссера:

ТЫ СТРУСИЛА!

Я позвонила ему.

Ты струсила, ты подлая и скандальная, ты...

Тогда почему ты хочешь работать со мной, раз я такая?

Ты струсила...

Я прервала разговор. И отключила мобильник. Тогда пришел мейл.

"...меня удивляет, что ты не понимаешь, как мерзко поступила. Ты меня трусливо подставила. Не смогла даже прийти и сказать мне в глаза, что не хочешь больше иметь со мной дело. Я от этого заболел. Как вспомню твоего продюсера и его планы относительно твоего диссидентства, так сразу желаю тебе гореть в аду, который тебя ждет. Ты не понимаешь, во что ввязываешься, но так тебе и надо. Выпутывайся теперь сама. Следи за ним, как полицейский. Сама снимай кино. Писать-то ты умеешь отлично, но, может, тебе следует избавиться от комплексов, чтобы перестать использовать людей как вещи". (*Тот, кому ты не отвечаешь по телефону.*)

Слушай, спросил Лукаш, вот у меня в паспорте есть номер, и последняя цифра там — двойка, так это правда значит, что таких, как я, двое? Мне Бара сказала, у нее там девятка, так таких, как она, целых девять...

Слушай, а я в Карлсруэ выступаю.

"Wenn die Lauferei auf der Entbindungsstation einen Sinn hatte..."

Слушай, а у меня получилось.

Сумею ли я выйти из поезда на дрезденском вокзале так, чтобы было незаметно, как я волнуюсь? Как боюсь увидеть Райнера?

Выглядел он хорошо, как всегда. И юмор его при нем, и сарказм, отлично! Взял у меня сумку (одна моя книжка на не-

мецком, одна ночная рубашка, капли в нос...), и мы пошли к нему, немножко выпили, а потом отправились в испанский ресторан в живописном проходном дворике.

Было тепло, по двору ходили туда-сюда люди, они катили детские коляски и велосипеды. Вокруг царила приятная суета, а мы ели и пили пиво, нам было что сказать друг другу. Обратно домой (я ночую у него) мы брели окольным путем. Смеркалось. Мы шли по берегу Эльбы, перед нами высились башни церквей, самую большую из них как раз достраивают, да, только сейчас, после бомбардировки во Вторую мировую. Захватывающая монументальная панорама, я вновь и вновь убеждаюсь в том, насколько прекрасен этот город, какой он уютный, теплый и мягкий, и панорама его захватывает совсем по-другому, потому что она — человечная.

На набережной было шумно, много молодежи на велосипедах, роликах, тут веселились целыми семьями, иногда мимо проносился на роликах спортивного вида старик в яркой кепке.

Я тоже так стану кататься, когда мне будет семьдесят, сказал Райнер.

Мы просидели там до темноты, башни собора осветили прожекторы, на нашем берегу зажглись китайские факелы. Мы выпили пива в пивной под открытым небом; подул ветер, похолодало.

Дома мы просматривали собрание дисков. У Райнера нашлось CD с записью треска огня. Я бы до такого не додумалась: записать, продавать — и покупать звук горящего огня. Безумие. Хотя вроде бы, когда запускаешь, действует, по всему телу растекается тепло.

Райнер показал мне свои работы за последние годы. Он придумал проект: человек заказывает у него диск с историей своей жизни. Он с этим человеком пару раз встречается и записывает его рассказ (задавая наводящие вопросы). Потом в студии все монтирует, обрабатывает, добавляет музыку того времени или по выбору рассказчика — и делает нужное количество копий. Если есть желание, переписывает текст и даже издает его уникальной книжкой в единственном экземпляре. И человек передает это своей семье — как дар, как послание, которое сам он не сумел бы донести до них: послание о своей жизни.

Обычно эту (дорогостоящую) услугу заказывают старые люди. Но некоторое время назад он записывал молодую маму двухлетних двойняшек. Она умирала от рака и хотела оставить детям память о себе.

Райнер, циничный опытный журналист, плакал над ее рассказом. Они оба плакали. Работа была срочной. Когда он передавал женщине готовый компакт-диск, то они обнялись как друзья. Крепко. Потом она умерла. Он тогда еще не знал, что скоро тоже будет лечиться.

Послезавтра начинается очередной, третий, курс. Так надежнее. За день до моего приезда он узнал, что метастазов у него нет! После двух курсов химиотерапии в нем нет никакой опухоли.

Рано еще прощаться!

Мы не попрощались. Прямо на вокзале, куда меня проводил Райнер, мы с ним обнаружили, что вчера неправильно списали расписание и что мой поезд уже пару минут как уехал. Но мы все равно побежали на платформу: а вдруг?

Поезд был там. Он опаздывал. По громкоговорителю как раз объявляли его отправление — вот прямо сейчас! Автоматические двери дернулись, я быстро запрыгнула в вагон и успела лишь крикнуть Райнеру: покаааа!

Пока, — крикнул мне он.

Двери закрылись. Поезд тронулся.

(Мы не обнялись.)

Матею сегодня исполняется четырнадцать!

Родился он 11.9.1991 точно в 9.15. Сплошные нечетные. Возникнув каким-то чудом в моем дважды бесплодном теле (бесплодие второй степени), он, конечно, улегся головкой вверх. Доктор не хотел рисковать, боясь осложнений при родах, и, чтобы ребенок не задохнулся, из меня в роддоме сделали, — как сказал четырехлетний Патрик, — кесаря.

Матей...

С ним все обстоит ровно так, как бывает в семьях, где остальные дети больные. На здорового не хватает времени и энергии, здорового родители почти не замечают, сил у них нет.

В его день рождения по телевизору с утра до вечера показывают атаку на нью-йоркские башни-близнецы. Одиннадцатое сентября называют худшим днем в нашей современной истории. Еще в позапрошлом году он из-за этого плакал: Ну почему я должен был родиться именно одиннадцатого? Почему это самый плохой день?

Радуйся, что ты родился.

Для меня это навсегда будет самый лучший день.

Допрос Патрика перенесли на сегодня. Почему? Куратор сказала мне по телефону, что в прошлый раз он не явился.

В девять мне надо было быть в городе. (Это значит — встать в полседьмого, чтобы был запас времени.) Вон туда, а потом туда, на ту улицу, прямиком к тому дому, куда я двадцать лет назад носила письма, когда работала почтальоном — одна из лучших работ, которой мне разрешала заниматься госбезопасность.

В отделении полиции я была первой. У меня сосало под ложечкой, я села на скамейку и принялась читать газету, словно я спокойна, делала вид, что углубилась в чтение.

Никого. В четверть десятого пришла куратор, на четверть вызвали всех, видно, она ошиблась, когда сказала мне про девять, мы познакомились с ней у окошка дежурного, где я как раз уточняла, туда ли пришла. Вскоре появились два адвоката, один — Патрика, молодой, симпатичный, второй — другого несовершеннолетнего парня. Последней пришла следователь. Мы были тут все, кроме Патрика.

Прождали сорок пять минут. Я нервничала, потому что совсем не знала, как это будет происходить и что еще выяснится. Мне было стыдно, что сын у меня — вор. Я за это перед всеми извинилась.

Время шло, сидели мы тут зря, и я начала злиться. Потому что я Патрика за свою жизнь уже наждалась!

Когда ездила за ним в деревню к автобусу, чтобы ему зимой не идти в темноте домой пешком. Мы договаривались с ним на определенное время, один автобус приезжал и уезжал, второй автобус приезжал и уезжал, а Патрика все не было. Я боялась, что с ним что-то случилось, сидела замерзшая в непрогретой машине, два часа на морозе. Патрик появлялся, когда вдоволь наболтается в городе, появлялся, когда ему вздумается. После того, как это повторилось несколько раз, я перестала за ним ездить. Так вот постепенно и иссякало всякое терпение.

Но то, что он не явился даже теперь, когда дела его настолько плохи, стало сюрпризом и для меня. Человек с нормальными реакциями, привыкший рассуждать здраво, понять такое не в силах. Оба адвоката тоже удивились: как это его нет? Ведь это в его же интересах.

Следователь разозлилась. Куратор недоумевала, вчера она разговаривала с Патриком, и он сказал, что будет.

Почему он не пришел? — спрашивали меня все.

Почему он не пришел? — спрашиваю я.

(Может, еще кто хочет спросить?)

Первой отказалась от ожидания следователь, потом оба адвоката. С куратором мы ушли вместе.

Вам, наверное, следует знать, обратилась она ко мне, что Патрик разыскивал свою биологическую мать.

Еще один сюрприз.

О его биологической матери мы с ним пару раз говорили. Я рассказала Патрику все, что знала. (Мы от него ничего не скрывали.) Если он захочет услышать свои настоящие имя и фамилию, а значит, и фамилию своей мамы, то я их ему назову.

Был период, когда он расспрашивал о маме, потому что думал, будто она не стала бы заставлять его ходить в школу, делать уроки и время от времени помогать по дому. Он был удивлен, если не сказать — потрясен, когда узнал от одноклассников, что и родные родители заставляют их ходить в школу, делать уроки и время от времени помогать по дому.

Еще я услышала, что Патрик не хочет с нами жить, потому что мы отправили его в диагностико-образовательное учреждение.

Там он, между прочим, утверждал, что страшно хочет учиться, — и это спустя две недели после того, как сам сделал все, чтобы его выгнали из школы, — а когда директор поверил ему и договорился о дальнейшей учебе, а мы подтвердили это своими подписями, попросту сбежал. (Директор не мог опомниться от удивления.)

Послав Патрика в диагностико-образовательное учреждение, вы потеряли его доверие. Он считает это предательством.

Знала бы куратор, что всему этому предшествовало! Сколько напрасных усилий, чтобы его не выгнали, чтобы он не болтался с сомнительными личностями, связанными с проституцией и продажей наркотиков.

Мы послали его в это заведение только тогда, когда все наши попытки заставить его жить иначе — то есть в рамках нормы — провалились. Мы отправили его туда, когда он совсем перестал с нами считаться.

Сколько энергии мы потратили, чтобы помешать его падению, которое он считал и продолжает считать полетом!

Мы вместе шли по улице. Перед нами возник Патрик. Грязный и, как оказалось вблизи, чудовищно вонючий. (Ноги Лукаша в сравнении с этим — рай земной!) Шел он с двумя — с первого взгляда ясно — бездомными, наверное, для охраны. И сам был похож на бездомного. Весь серый, покрытый ка-

кой-то серой слизью. Очередной шок. Мне захотелось плакать.

Патрик с детства был помешан на чистоте. Он не только мылся, но и одежду менял ежедневно, мне даже приходилось останавливать его, так как устала от постоянных стирок. Он никогда не пил из одного и того же стакана — только из чистого (да еще долго его перед этим рассматривал на свет). Он был брезглив и не притрагивался ни к чему грязному. Одно время он даже ходил на вокзал дразнить бездомных, его раздражало то, как они выглядят, как слоняются без дела. Я с трудом тогда растолковала ему, что и среди них есть люди, заслуживающие уважения.

(Когда-то мои представления о бездомных были возвышенными. Они не виноваты, что живут на улице, судьба была к ним жестока, несправедлива. Когда-то я еще не думала так, как думаю сейчас: они сами выбрали себе такую жизнь.)

Патрику пришлось пойти к следователю и извиниться. Вернулся он со вновь назначенной датой допроса. (Мы обе записали ее в ежедневники.) Куратор договорилась с ним о встрече и поспешила уйти. Двое спутников Патрика, молодые, но физически и, видимо, умственно изношенные, тихо ждали в сторонке.

Я попросила Патрика зайти со мной в сберкассу, закрыть сберкнижку. На сберкнижке я накопила ему пару тысяч. (Как же трудно нам было откладывать.) Со дня его совершеннолетия книжка принадлежит только ему и никто другой ею пользоваться не может. Я планировала дать ему сегодня тысячу крон, а остальное — потом, когда устроится на работу. Со свитой мы расстались. Попрощались они мило и вежливо.

Мы шли по моему бывшему почтальонскому маршруту. Он же — и мой дворницкий маршрут, мы как раз миновали дома, где я несколько лет убирала, дома напротив железнодорожного вокзала. Перед ним валялись бездомные. Я не знала, о чем говорить с Патриком, злость во мне мешалась с рыданиями.

Я спросила раздраженно: Где ты живешь? Здесь?

И показала на таких же грязных, как он, типов. Явно сказались годы, проведенные на улице: опухшие лица, алые беззубые рты. Они уже были пьяны.

Мы сразу начали ругаться. Патрик уверял, что он не грязный. Он был на работе и не успел помыться. (Не мылся он уже недели две, не меньше!) Он работает — какая разница, легально или нет. Главное, что бабки получает налом. Едет в Англию. Его берет с собой один приятель, программист. Я рассмеялась, хотя мне было не до смеха: тебя такого даже к

окошку регистрации не подпустят. Ну ладно, вот твой паспорт. Он, правда, закончился, но ты можешь попробовать его продлить. Вручила я ему и его свидетельство о рождении. Кто знает, когда мы снова увидимся. Он сунул его в карман: спасибо.

Мы шагали молча. Прошли дома у входа в метро. Отремонтированные, они сияли свежей краской. Пиццерии соседствовали с ресторанами и дорогими магазинами. Здесь, это было где-то здесь!

Ты ищешь свою родную маму?

Ага.

Думаю, она жила как раз в этом доме.

Дом сто восемнадцать. Я узнал в управе.

Значит, ты в курсе, как тебя вначале звали. Имя тебе дали медсестры в роддоме, когда твоя мама оттуда сбежала. (Мы-то потом выбрали другое.) Фамилия осталась ее — она была не замужем, вольная птица. Впрочем, не совсем вольная. Рожать ее привезли из тюрьмы. Она сбежала, чтобы не возвращаться туда. Сама была детдомовская.

Это ты мне уже говорила.

Ты ее нашел?

Нет.

Я тоже когда-то ее искала, когда мы тебя только-только взяли. Зашла в дом, осмотрела почтовые ящики, двери, прошлась по коридору, но ее фамилии нигде не было. Правда, я никому не позвонила, не навела справки, я и без того разнервничалась. Думаю, твоя мама никогда тут не жила.

Ну, наверно.

А еще тебе надо знать, что у тебя есть родной брат. То есть — наполовину родной, его отец цыган. Твой — нет.

Мам, ты мне это уже говорила.

Про брата не говорила! Когда мне несколько лет назад позвонили из дома ребенка, не возьму ли я и его тоже, я отказалась. Вас было уже трое, четвертого парня я бы не потянула. Но я все равно боролась с собой, угрызалась, что не взяла ребенка, которого никто не хочет. (Через две недели я позвонила им, что, мол, попробую, но его уже забрали в семью.)

Мне все равно.

Мы опять шли молча. Почта была уже совсем рядом.

Зачем ты ищешь маму?

Он пожал плечами.

Хочешь знать, откуда ты? Хочешь жить у мамы? Думаешь, это то, что тебе нужно?

Я ее все равно не нашел.

Сберкасса располагалась в крохотной комнатке, размером едва ли не с телефонную будку. На улице было еще ничего, но здесь! Мы принесли с собой такую вонь!

Книжку мы закрыли. Патрик поставил подпись грязной рукой с грязными длинными ногтями. А ведь он красивый парень. Я опять готова была расплакаться. И опять злилась.

Чтобы закрыть книжку, нужна неделя, пока же нам ничего не выплатили. Деньги придут на мой счет, потому что у Патрика счета нет. И быстрее отсюда, пока меня (нас) не вырвало от этой вони.

Что мне теперь делать? Мысленно спрашивала себя я, переминаясь с ноги на ногу у двери сберкассы. За углом живет мама (она все еще на даче). Мы оба это знаем. Ключ от квартиры у меня есть. Это мы тоже знаем. Может, предложить Патрику помыться? Правда, даже если он помоется, то опять натянет на себя эти грязные тряпки. Тут уж ничего не поделаешь.

Вслух я сказала: если бы ты не был таким грязным и вонючим, я бы пригласила тебя на обед. Но сейчас это невозможно, сам понимаешь.

Может, дать ему денег на еду? А почему я должна давать ему деньги, не дам, нельзя идти на поводу у жалости, чем скорее он опустится на дно, тем скорее от него оттолкнется.

Если ты, Патрик, захочешь жить по-другому, дверь дома для тебя открыта. У тебя все еще есть твоя комната и твои вещи.

Это хорошо.

Вообще-то мы собирались тебя выписать.

Ладно.

Стоим, молчим. (В ожидании помилования?)

Пока. Прервал молчание Патрик.

Привет.

Каждый пошел в свою сторону.

Я крикнула ему вдогонку: надеюсь, на следующий допрос ты придешь вовремя — и чистый. Все хотят помочь тебе. Если ты их обманешь, на тебя махнут рукой!

Ладно, ответил он и побрел в сторону торгового центра. Там и днем, и ночью полно таких же запаршивленных и немытых.

Я зашла к маме и наполнила ванну. Словно хотела смыть с себя Патрикову грязь.

Самое время выплакаться.

(Для слез времени всегда хватит.)

Чешский фильм "Счастье", не успев даже попасть в прокат, уже был встречен овациями. Его продюсер, с которым я тщетно пыталась договориться о совместной работе, им просто бредил.

О чем фильм? — спросила я.

О любви.

Вот как? И как же она выглядит?

Продюсер — человек очень способный и рациональный. Интересно, как же выглядит любовь глазами продюсера фильма?

И вот мой ответ после просмотра: как китч.

Сценарист утопил режиссера. (Или, может, позволил продюсеру слишком сильно вмешиваться в сценарий?) Ведь режиссер отлично работал с актерами, ведь и снял хорошо. Вдобавок сам он — человек прекрасный: обоих мальчиков, которые сыграли в фильме брошенных детей и которые были действительно замечательными и действительно брошенными, он усыновил. Здорово. Если режиссеру удается дожать свою собственную историю, то сценарист понимает, в чем фальшива его киноистория.

(Сценарист и режиссер — единое целое.)

* * *

Мне под руку попался "Личный листок по учету кадров", книжка Петра Плацака, и я прочитала там стихи андеграундных поэтов, у которых он берет интервью. Думала, может, меня что вдохновит, упорно искала лучшее название для своего сценария. Очень мне, к примеру, понравилось двустишие Крховского:

ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ,
как перденье на любовном ложе.

Или у Кремлички:

Небо, месяц, звезды, грусть,
где свербит — там и чешусь.

А еще меня воодушевило у Крховского:

АХ, КАК ХОЧУ ПОСЛАТЬ Я В ЖОПУ
прекрасной юности весну.

Отличные стихи.
Вот только...

Так он умер! Да как же это? Жалко-то до чего! Он же мне точно родной был, точно одна семья! Я же к ним как домой ходила, прямо по-родственному, когда еще хозяйка жива была, ох-ох-ох... жалко-то как, да как же это? Вот ведь ужас-то...

Он ведь мне был как родной. И куда же мне теперь ходить? Я ведь туда каждый день заглядывала. Жалко, ох, как жалко!.. Да бог с ней с этой белой тарелочкой, она мне не нужна. А вот та, что с черной куколкой и белым человечком!.. Она из моего сервиза. Я такую больше нигде не достану. Только, когда вы ее найдете, ни в коем случае моему сыну не отдавайте, а то мы с ним не разговариваем. Уж как вы меня расстроили, что он умер. Я сейчас на дачу еду, а как вернусь, заходите кофе попить... Ну да, я знаю, что вы квартиру владельцу передаете, какая разница, просто когда в городе будете... Значит, тарелочка от сервиза с черной куколкой и белым человечком! Понимаете, такой сервиз уже не купишь. А белая тарелка мне ни к чему. Можете ее себе оставить.... Главное, сыну не отдавайте, ох-ох-ох, до чего же я расстроена, что ваш тесть умер! Да как же я теперь? А еще мне бы гладильную доску, вы не знаете, где она? И маленькую стремянку, ладно? Пусть мне их ваш муж за дверью оставит, хорошо? (*Телефонная трубка, а в ней Вера с седьмого этажа.*)

Контрольный вопрос: Марек, ты тарелку от сервиза кому-нибудь давал?

Контрольный ответ: сыну.

"Дети тишины"[1] — прекрасный фильм. А телевидение показывает его в девять утра.

Сегодня у меня была долгожданная встреча с новым режиссером, к которому я обратилась. Встреча прошла хорошо. За одним исключением.

Режиссер хочет ставить свои произведения.

О фильмах вообще не следовало бы рассказывать!

Прежде всего потому, что по самой своей природе фильм не поддается описанию словами, — это все равно что пытаться рассказать картину или передать словесно партитуру... В психологии моих отношений с кино есть этакий заговорщический оттенок: они складываются из подозрительности и взаимного неуважения. Фильм я делаю как бы мимоходом, он для меня — болезнь, которой нужно переболеть. Я смотрю на него с нетерпением, сердито, как на какое-то несчастье, от которого надо поскорее избавиться... Что

1. Фильм американского режиссера Ранды Хэйнс.

такое фильм в самом начале? Какое-то предощущение, гипотеза рассказа, тени идей, неясные чувства[1].

Я хотела бы сама быть режиссером своего сценария.
Я хотела бы сама делать фильм.

На месте я опять была первой. Сразу после меня в отделение полиции пришел адвокат Патрика. Только сегодня я смогла наконец объяснить ему ситуацию, чтобы он был в курсе, отчего мы, родители, никак не можем повлиять на Патрика. Подошла куратор, появился защитник соучастника, к вахте за нами спустилась следователь.

Кто единственный не явился на допрос Патрика?

Мы опять ждали. Следователь сдалась через полчаса. Она перенесла допрос на вторую половину октября, до этого у нее отпуск. В октябре она в любом случае закончит его дело. Ей уже поднадоела игра, когда Патрик не является по повестке, а через час приходит извиниться (и кто только присоветовал ему этот финт?).

Если молодой человек не явится сам, я потребую доставить его приводом! Произнесла безапелляционно, адресуясь ко мне, и ушла, хлопнув дверью. Адвокат соучастника тоже ушел. Патриков остался ждать. И куратор ждала. Вчера она говорила с ним, он обещал сегодня быть здесь. (Она ему еще верит. Я ей не завидую.) Я спросила, что новенького.

Патрик до сих пор не зарегистрировался на бирже труда, не сделал ничего для подтверждения своего официального статуса. И это плохо, потому что на следствии и позже на суде это пойдет ему в минус. Свою биологическую мать он хочет найти, чтобы выставить ей счет.

Что-что?

Он хочет получить от нее финансовое возмещение за то, что она его бросила.

Держите меня! Если кто и должен был бы что-нибудь получить, так это мы, плативщие за Патрика 17 лет его жизни! Если бы только это можно было перевести в деньги. Мы не получили на него от государства ни пособия по родам, ни пособия по уходу за ребенком, потому что я была ему не мать и его не рожала. А покупать нам приходилось буквально все. Кроватку, одежду, пеленки, детское питание. Мы оплачивали ему оздоровительные поездки к морю — у него была тяжелая аллергия, — дорогие вакцины, досуг. Всю его жизнь мы до

1. Федерико Феллини. Делать фильм / Перевод Ф. М. Двин. — М.: Искусство, 1984.

последнего времени оплачивали, и никогда нам и в голову не приходила мысль о финансовом возмещении!

Не успела я опомниться, как куратор попрощалась и поспешила за следователем. Они обязаны заниматься и другими нарушителями. (Несовершеннолетних-то у них полно, вот только такой непредсказуемый — один.)

Ушла я вместе с адвокатом. Он тоже ничего не понимал. У него в конторе Патрик был позавчера, и они обо всем договорились.

Если парень сейчас влипнет, ему больше не выкарабкаться. Тогда это уже на всю жизнь. Я, бывает, к клиентам и в тюрьмы хожу. Там ужасно. Никого там не перевоспитывают, наоборот.

Во двор, из которого мы как раз вместе выходили, вошел Патрик. На первый взгляд уже не такой грязный, но такой вонючий.

Бросил: привет, здрассте.

Я взорвалась: тебе не надоело вечно делать одно и то же?! Ты знаешь, сколько людей тебя тут опять ждало? Знаешь, сколько они на тебя тратят времени?

Я не успел.

Если ты и в следующий раз не придешь, тебя возьмут под стражу! Шутки кончились!

Я не виноват, что не успел. И добавил: sorry.

Пойдите, извинитесь, сказал ему адвокат.

Он пошел извиняться.

Ну, и кто все это может понять?

Двадцать второго сентября я вызвалась поучаствовать в Дне без автомобиля. И как раз вчера договорилась в городе о новом способе подключения к Интернету — через мобильник. Интернета не было. Мне пришлось с ноутбуком и проводами для подсоединения дойти пешком до автобуса, доехать до города, добраться на метро до центра и найти там фирменный магазин с мобильниками и технической поддержкой — чтобы выяснить, что все работает.

Я чувствовала себя дурой, особенно если учесть, что Марек работает с вычислительной техникой, и с мобильной тоже, а дома все перекладывает на меня.

Опять на автобус и домой, исключительно рысью, все правильно подсоединить — и никакого результата. Не работает!

Снова взяла (сильно уже потяжелевший) ноутбук и, как полная идиотка, снова побежала на автобус, снова доехала до города, в тот же самый магазин, снова выстояла там очередь,

и тот же самый парень снова все проверил — и снова все работало.

Как такое может быть? Я же делаю все так же, как и вы!

А дополнительную антеннку вы подключаете?

Почему вы мне раньше про нее не сказали?

Ну вот теперь говорю.

Километры домой, с тяжеленным многотонным ноутбуком на плече. Пока бегала, успела, по крайней мере, поразмышлять о том, смогу ли я сама стать режиссером своего сценария.

Да нет.

Смелости не хватает.

И все-таки я бы попробовала.

Нет.

Да.

Нет.

Нет?..

Вечером в кровать я взяла книжку А. Я. Л. "Фильмы под пристальным наблюдением". Я ее уже когда-то читала и помню, что больше всего мне понравились ответы Эвальда Шорма. Я открыла интервью с ним Лима, потому что при мысли о режиссуре, так меня притягивающей, вся сжимаюсь от страха. Шорм говорит:

"Чтобы выстоять, человек должен выдержать в том числе и сомнения".

Иногда из-за идеи снимать фильм у меня от страха отнимаются ноги.

Но потом расхаживаюсь.

На США надвигается ураган. У нас все спокойно. Политики по обыкновению ругаются, министр культуры ничего пока для культуры не сделал, но, по крайней мере, похудел на пару килограммов и больше не похож на оладью. Год назад я перестала выписывать газеты, и новости теперь узнаю только по радио и телевизору. Все спокойно, за исключением урагана.

Я снова открыла книжку Федерико Феллини "Делать фильм". Это бальзам на мою душу. Только вот весь опыт, о котором пишет Феллини, рассказывая о начале своего режиссерского пути, я могла бы помножить на десятки лет, когда я даже понюхать ничего, связанного с созданием фильма, не могла.

Сопровождая Росселлини во время съемок фильма 'Пайза', я вдруг ясно понял — какое приятное открытие! — что фильм можно делать так же свободно, с такой же легкостью, с какой ты рисуешь

или пишешь, делать его день за днем, час за часом, наслаждаясь, мучаясь и не слишком заботясь о конечном результате; что здесь завязываются такие же тайные, мучительные и волнующие отношения, какие складываются у человека с его собственными неврозами; и что сложности, сомнения, колебания, драматические ситуации и напряжение сил в кино примерно такие же, какие приходится преодолевать художнику, который добивается на полотне определенного тона, или писателю, который зачеркивает и переписывает, исправляет и начинает все сызнова в поисках единственного верного образа, ускользающего и неосязаемого, прячущегося среди тысячи возможных вариантов. Так вот, у Росселлини я, пожалуй, научился умению сохранять равновесие и идти вперед в самых сложных и неблагоприятных условиях; и еще я перенял его естественную способность оборачивать даже эти сложности и противоречия себе на пользу, перерабатывая их в чувства, в эмоциональные ценности... он жил жизнью своего фильма, относясь к ней как к удивительному приключению, которое нужно в одно и то же время и переживать и отображать. Его свободное, непринужденное обращение с действительностью, всегда внимательное, ясное, пристрастное отношение к ней, его умение легко и просто находить неосязаемую и точную грань, отделяющую безразличие отчужденности от неуместного участия, позволяло ему охватывать и рассматривать реальную действительность во всех ее измерениях, видеть вещи одновременно и изнутри и снаружи, снимать на пленку сам воздух, окружающий их, раскрывать все самое неуловимое, сокровенное, волшебное, что есть в жизни.

Моя карьера до 89 года развивалась от уборщицы через почтальона к дворнику. А потом я сразу стала матерью троих сыновей. Не до того мне было. Никакого опыта, кроме кухни, детской, инфекций, эмоций.

Как я могу делать фильм?

Мы с Мареком отправились кататься на велосипедах, по традиции — к реке. В ресторане "Над рекой" выпили пива. Обратно заехали проверить, играет ли Лукаш в футбол. У него матч. Мы ему пообещали много карманных денег — если он придет на стадион.

Лукаш просто создан для спорта! Рослый, гибкий, быстрый. И на атлетику его хотели заполучить, и в футбольный клуб. Только он использует любую возможность, чтобы отлынивать. От атлетики мы уже отказались, он там целых два года не появляется, несмотря на все наши старания, но вот за футбол мы держимся. Пытаемся, поощряя, заставить его заниматься спортом. Если будет ходить на тренировки и мат-

чи, получит больше денег на карманные расходы — и наоборот.

Перед уходом я писала наверху мейл. Внизу на столе приготовила для Лукаша деньги. Чтобы он знал: награда его ждет. Надо только выполнить условие — сыграть в футбол!

Поскольку сотни у меня не было, на столе я сразу оставила ему и деньги на дорогу — неделю ездить на поезде в училище. На этот раз попробую дать ему на недельный билет и посмотрю, как он поступит. Когда я хранила у себя в шкафу пятидесятикроновые, чтобы каждый день выдавать ему деньги на проезд и еду (если давала сразу на два дня, он тратил все и приходилось давать снова), он их украл. Утащил у меня половину банкнот.

Воровской совет для тех, кто крадет постоянно: никогда не тащить все сразу!

Исчезновение денег обкрадываемый заметит не сразу, он только все чаще будет удивляться, что деньги так быстро заканчиваются, что вещи все дорожают и дорожают, что денег у него, дурака, в кармане, в кошельке, в сумке, в рюкзаке, в шкафу все меньше и меньше.

Лукаш украл у меня половину денег, потому что они были не заперты. (Сил у меня уже не было все постоянно запирать.) Украл, хотя я его и предупреждала: комнату я не заперла, но деньги пересчитала!

Совет для дураков: и пересчитанные деньги надо запирать!

Деньги для Лукаша я подготовила заранее. Домашние финансы — моя забота, я всех постоянно куда-нибудь собираю, и все организационные дела — на мне. Было воскресенье, я знала, что вечером поеду в город на репетицию еврейского хора, а может, и в кино, так что все должно быть готово. Если Лукаш увидит награду, ожидающую его после футбола, если увидит, что ему стоит соблюсти договор и сходить на игру...

Нормальным для нас было прощаться перед уходом. Только у нас давно уже все ненормально. Мы вообще не знали, что Лукаш ушел. Я удивлялась, почему он еще не собрался, а потом обнаружила, что он давно уже потихоньку сбежал.

Пять сотен со стола исчезли.

На футболе он не был.

* * *

Из города я вернулась поздно. Узнала от Марека, что от пяти сотен у Лукаша вчера не осталось ни кроны. А если вы, дорогие родители, хотите, чтобы я завтра ехал в училище, то дай-

те мне еще денег. И дорогим родителям придется дать ему денег, они дадут ему денег, потому что хотят, чтобы сынок чему-нибудь научился, чтобы из него что-нибудь вышло. Почему мне не помогает, когда я дышу, как во время пения? Почему я то и дело выхожу из себя? Как я могу думать о фильме, когда у меня такое творится дома?

На ночь я приняла успокоительное.

(Я каждый раз принимаю на ночь успокоительное.)

"В начале фильма бывает ощущение", — пишет Феллини.

Вначале я заметила Цирила на перекрестке двух улиц, оба ожидали назначенной встречи. Меня охватила большая радость, оттого что вновь его вижу, этого пузатого мужика с одним закрытым глазом и глухого на одно ухо.

Он направился в пивную — его манили распахнутые двери. Было тепло, бабье лето, скорее всего, последний чудесный, почти летний день. Я закричала ему, замахала обеими руками, и мы вместе зашли в кабак неподалеку, где собирались через некоторое время встретиться. Поговорили. Цирил сообщил, что его вторая книжка выдвинута на Государственную премию.

Жалко, что вторая, честно ответила я. Она мне не понравилась.

Ты для нее слишком молода.

Не молода. Она тебе не удалась. По-моему, ты, когда писал ее, старался произвести впечатление. А вот первую книжку (я ее два раза читала) написал, потому что не мог не написать.

Вторую я уж тем более не мог не написать. Я старый пес, и жизнь моя кончена.

Твоя жизнь не кончена. Ты не старый.

Я купил себе могилу.

Не хочу об этом слышать.

Потому что хочу быть похороненным как положено, целиком, в землю.

А какая тебе разница, что с тобой будет потом? Разве тебе не все равно? Ты-то уже злиться не будешь.

А вот и нет. Еще как буду, — сказал он. Я уже злюсь.

Цирил приобрел могилу и заказал на ней (скромную) надпись: "Семья Ц." Выбрал изящные, в волос толщиной, золотые буквы. А когда пришел заплатить за работу, то буквы оказались ужасно толстыми.

Ну и? Меня ты не растрогаешь, от капризов не умирают!

Тогда я подал рекламацию.

Рекламацию на собственную могилу?

И получил скидку.

Может, ты и на похороны рекламацию подашь?

Сначала мне пришлось ходить поливать свою могилу, а теперь я кошу там траву. Очень уж заросло...

Раз он на меня — со своей смертью, то я на него — с режиссурой. Я закидала его своими идеями, они меня хоть и пугают, но уже пустили корни и притягивают чем дальше, тем больше. Цирил быстро меня переубедил, слов ему понадобилось совсем немного.

Собственная режиссура бессмысленна! Ты все испортишь. У тебя нет никакого опыта, нет глаза киношника, режиссура — это ведь не только актеры, это кадр, монтаж, композиция.

Я не возражала. Он высказал вслух мои сомнения, одолеть которые мне недостает сил (или решимости?). Мы договорились обратиться ко всем тем режиссерам, которые смогли бы сделать из этого фильм.

Ко всем — к кому?

Из всех — к одному.

Нашла возле стационарного телефона записку от Матея: вчера меня искала куратор Патрика. Не знаю, что происходит, и не могу дозвониться.

Он уже в тюрьме? Или он болен?

Ничего не происходит! Все дело в моем характере.

Я связалась наконец с куратором. Возле дома, где у нее офис, идет стройка. Огромный подъемный кран стоит прямо на распределителе кабелей. Когда кран находится в определенном положении, да вдобавок нагружен, к ним никто не может дозвониться.

Патрик переложил на нее одну из своих проблем; впрочем, он всегда так делает. Этот его метод перекладывания проблем на окружающих явно продолжает работать: если ему что-то надо, пускай другие побегают. Так и получилось. Куратор звонила мне, Матей писал записку, я звонила куратору, причем никак не меньше сорока раз.

Патрик (вроде бы) потерял паспорт. Поэтому он (вроде бы) до сих пор не может зарегистрироваться на бирже труда. Ущерб за кражу уменьшился, потому что он сказал полиции, где похищенные вещи, и они нашлись, но все равно счет идет на тысячи крон. Если Патрик не будет работать, искать работу (или хотя бы делать вид, что ее ищет) и суд не убедится в том, что парень пытается заработать и возместить

ущерб, то тогда вместо условного срока ему может грозить реальный. Необходимо срочно получить паспорт.

И что я могу тут поделать?

Ходить по Праге и неизвестно где искать Патрика? Взять его за руку, отвести в полицию, заявить об утере паспорта, опять взять за руку, дотащить до биржи труда, заставить встать там на учет? А потом держать его возле себя на привязи, чтобы он опять не исчез, чтобы каждую неделю ходил на биржу отмечаться?

Я давно уже знаю: Патрик что хочет, то и делает. А что не хочет, то его сделать никто и ничто не заставит. Его паспорт стал хитом нашего лета.

Он же станет и хитом осени?

Мы собирались встретиться с Цирилом по поводу сценария, но встречу он отменил. Я так ее ждала. Теперь ждать нечего. С самого утра я села писать и, не советуясь с ним, сделала пару свеженьких изменений. Сценарий получился на 148 страниц (очень длинный!), я просидела над ним без перерыва четырнадцать часов. Счастливый день!

Это хорошо. Но я знаю, что опять начнутся сомнения.

Я проголодалась. Даже бутерброда себе за весь день не успела сделать. Только выпила несколько чашек чаю. Когда вечером я закончила работать, то поняла, что дома я — все еще, и по-прежнему, и очень долго — одна.

Лукаш теперь днем вообще не появляется, сейчас он должен быть на тренировке, но никаких вещей с собой не взял, интересно, как будет оправдываться. Матей у Фанды, пошел к нему прямо из школы. Марек либо разбирает вещи в родительской квартире, либо на работе, а потом обязательно проезжает свою норму километров. Эта его страсть выглядит невинно, но, как и любая страсть, поглощает поглощенного и бесит непоглощенных.

Я была дома одна. Я все время одна. И хотя мой сегодняшний день выдался счастливым, вечером у меня опять было твердое ощущение, что развалилось абсолютно все. От Марека пришла эсэмэска, что он сейчас берет из ремонта машину (это от нас в двадцати минутах езды) и мчится ко мне.

Я с собакой выскочила его встречать. И все шла и шла. Дошла почти до самой деревни, это километра три. Ждала там. Стемнело. Вернулась домой.

Оставьте меня все в покое!

Да! Все!

Потому что и сегодня, в субботу, на повестке дня опять стояла разборка родительских вещей, на этот раз у нас дома. Марек арендовал грузовичок и перевез все к нам (включая несколько мешков сажи), вместо того чтобы выбросить все на месте. Я думала, мы пойдем гулять или покатаемся на велосипеде. На вечер я договорилась с А. Я. Л. сходить вместе в театр. Он на пару дней приехал из-за границы.

Я перебирала вещи, раздражавшие меня, потому что здесь я их видеть не хотела. Среди них оказалась пластинка 1969 года "Карел Готт поет 'Безумную любовь' и другие хиты".

Всю мою жизнь Готт — самый лучший. С тех пор как я стала воспринимать окружающее. Сорок лет! Всегда на пике популярности, при любых обстоятельствах. Во времена Пражской весны, нормализации, Антихартии, бархатной революции — и сейчас. Сорок лет.

Марек договорился с другом о долгой велосипедной прогулке. Со мной он ни о чем не договаривался, это не для меня (мне не потянуть ни их темп, ни расстояние). На прошлой неделе он провел на велосипеде четыре полных дня. Наездил больше 400 км — и сегодня, значит, опять сматывается? Я тут всякий хлам с ним буду разбирать, обед сварю, а потом появится дружок — и адью?

Прежде я не писала о том, как это унизительно: вот уже несколько лет соперничать с велосипедом за расположение мужа — потому что это меня оскорбляет. И я не хочу себе в этом признаваться. Но это правда. Марек весь во власти велосипеда. Словно культурист, который все время должен тренироваться, повышая нагрузку, и не может остановиться.

Все говорят, что так он борется со своими переживаниями из-за мальчишек, а теперь и из-за родителей. Но началось-то это гораздо раньше, когда все было не так плохо. В позапрошлом году он наездил две с половиной, а в прошлом — уже три с половиной тысячи километров. Провел на велосипеде месяц чистого времени. В этом году он проехал уже больше четырех тысяч. Может, хватит?

Все мне говорят, что это лучше, чем если бы у него была любовница. Но любовница может обмануть мужчину. Она может со временем ему опостылеть. Или то и другое вместе. А велосипед? Он послушен. Своего мнения у него нет. Настроения тоже. (Точнее, так: он всегда в отличном настроении.) Он всегда готов, ему все нравится, он со всем согласен, да к тому же несет своего хозяина и еще нежно под ним покачивается.

Почему я не велосипед?

Я готова жить в гонке. Но только чтобы она имела смысл. А не так, как сейчас: покупать еду, стоять у плиты, пылесосить, стирать и вешать белье, ругаться из-за вонючих ног, из-за велосипеда.

Когда вчера я видела полупустой театр, ту чушь, что там играли... Полупустым театр был заслуженно! (Хотя я много раз видела и не по заслугам переполненный театр!) Как играется актерам, когда занято лишь несколько мест? Где они берут мотивацию? Или мотивация для них — сам факт их игры?

Плохо мне.

Ночью я поругалась с Мареком. Как-то не получается у меня успешно бороться с велосипедом за его расположение.

Велосипеда у него два.

Третий тайком приходит к нему по почте в запчастях.

А я хожу их получать!

Зазвонил стационарный телефон. Тревога.

Это была санэпидемстанция. Им сообщили из больницы, что у нашего сына Патрика чесотка. Как ближайшие родственники мы должны срочно явиться к врачу, чтобы начать лечиться и не распространять это неприятное инфекционное заболевание.

Чесотка?

Лучше, чем желтуха, подумала я. В прошлом году мы привили Патрика и Лукаша (на Матея денег не хватило) от желтухи всех типов, обошлось это в шесть тысяч! Склонность мальчиков к странному образу жизни была уже тогда заметна, и я подумала, что риск велик и что такая прививка может оказаться в их жизни нашим самым лучшим и самым важным подарком.

Даме из СЭС я объяснила, что Патрик тут уже несколько месяцев не живет и заразить нас не мог. Дала ей номер куратора, чтобы она ее предупредила. Куратор общается с ним гораздо чаще.

Совсем не удивительно, что у Патрика чесотка после того, как я два раза видела его таким грязным. Хорошо еще, что я не повела его мыться в мамину квартиру.

Через пару дней после нашего похода в сберкассу Патрик звонил мне и спрашивал, не пришли ли еще деньги с его аннулированной книжки, ему хотелось получить обещанное. Звонить и разговаривать с нами для него не проблема — если ему надо. Я не знала, пришли ли деньги, и до сих пор не знаю, выписку из сберкассы я получу после пятого. Думаю, после пятого октября он и позвонит. Тогда я смогу его спросить, вылечился ли он.

С Мареком мы обменялись парой пустых фраз. Как нам уснуть рядом? Нервно ворочаясь на своей половине кровати (пока еще не подействовало снотворное), я вдруг с ужасом подумала, что и с адвокатом Патрик мог здороваться за руку.

А что, если чешется вся юридическая контора?

Я перепечатала сценарий. Таким я отдам его на конкурс сценариев. Точка.

(Тоска. Желание. И опять тоска. И так все время.)

Около шести вечера я зашла к оператору, с которым хочу снимать свой фильм. Живет он с женой в деревне, в трех-четырех километрах от нас. Я была у них впервые. Жена немка, говорит по-чешски, как Райнер. И, как и у Райнера, у нее рак, только в другом месте.

На дне рождения ее мамы была свояченица, мать троих детей. Она была подавлена, потому что недавно начала лечиться от этой болезни. Жена оператора успокаивала ее. Чтобы поддержать, снабжала информацией и советами здешних врачей и от подруги, которая проходит такое же лечение. Выяснив все, что можно, решила сама провериться. И узнала, что тоже больна.

Она ходит на второй курс химиотерапии. На ней испытывают новое лекарство, дозировка пока точно неизвестна. Однажды с лекарством явно переборщили, ей было плохо, она не могла двигаться, мучилась от боли, у нее вылезли волосы и ногти. Но она из тех, кто не сдается, кто борется. Да еще и смеется! Она ничего не скрывает. (На голове у нее был платок. Под ним виднелась голая кожа. Никогда бы не подумала, говорит она со смехом, что голова у меня будет все время мерзнуть, и дома, и в постели. И как только с этим лысые мужики справляются?)

Дом у них, в отличие от нашего, хорошо обустроен. Все красиво, удобно и со вкусом. Газопровод дает тепло, в ванной (их у них две) течет чистая вода, два туалета отлично пахнут, и вода там спускается. У каждого уютный кабинет. Комнаты выкрашены в пастельные тона, вокруг дома сад, цветы. Вместо того чтобы всем этим наслаждаться...

Вечером я пришла к Мареку и прижалась к нему. Он меня сразу обнял. Май, май, май, наступает маааааааай... пел нам Карел Готт.

Мы танцевали медляк в гостиной, а Матей смеялся над нами.

Разбудило меня солнце. И еще тоска.

Я кажусь себе зверушкой, испуганной тем, что она осталась одна. В соседней комнате никто не шумит, в доме тишина — я ее так желала, когда мальчишки были маленькие и у нас стоял вечный крик.

Даже не знаю, чем я заняла день. Наверное, тем, что делаю всегда, когда не пишу. Собака, кошка, дом, сад. (Сгребла в кучу первые листья и отвезла их на тачке в лес.) Стремление быть полезной.

В ожидании мейла от режиссера — все равно какого.

Вечером к нам пришли друзья. Мы долго уговаривались о встрече, но встретиться никак не получалось. С этой супружеской парой я познакомилась несколько лет назад, когда они подошли ко мне в магазине и спросили, не я ли это пишу в газету колонку, которая так им нравится? С тех пор мы иногда видимся. У нас есть общая тема: мы делимся опытом обращения с приемными детьми. Особенно, когда дело дрянь. А сейчас дело дрянь и у нас, и у них.

У Михала и Люции, кроме своих двух дочерей (которые родились еще до того, как они взяли других детишек), есть несколько детей под опекой. Что касается результатов приемного родительства, то мы смело можем пожать друг другу руки. Они приехали, потому что измучились с Павлом. В нем словно перемешались Патрик (он умный) и Лукаш (ворует). Михал и Люция вынуждены постоянно следить за ним. Все время, без передышки, быть начеку.

Как мы.

И Павел у них все равно ворует.

Как Лукаш у нас.

И повсюду создает проблемы, в школе и дома.

Как и оба наших.

Они долго боролись за своих детей.

Как мы с Мареком.

Они больше так не могут.

И мы не можем.

Они не знают, что делать.

И мы не знали и не знаем.

Надо ли послать Павла на диагностику? Ему всего двенадцать, у него не начался еще переходный возраст. Это невыносимо. Они констатируют то же, что и мы: у вас может быть сто замечательных беспроблемных детей, но если один — проблемный, такой, который не хочет (или не может) измениться к лучшему, то вы проиграли.

Итог нашей грустной беседы: из похожих на наши безлюдных деревенских мест они перебрались в городок. Хотя жили, в отличие от нас, у которых кругом пустующие зимой

дачи, посреди обитаемой деревни, правда, маленькой. Михал — успешный предприниматель, он может позволить себе подобные инвестиции. А у нас выбора нет.

Ночью вновь со всей силой на меня наваливается тоска. (Антидепрессант.)

В два часа утра у Лукаша зазвонил будильник!

На этой неделе он придумал, что, если хочешь рано встать, надо регулярно просыпаться среди ночи.

Вчера он поставил будильник на полночь. И поднял с постели меня! Я как раз засыпала. Он лежал рядом с будильником, радио орало вовсю, а он даже глаз не открыл. Если я долго ворочаюсь без сна, а только засну и меня что-нибудь будит, сердце потом колотится как бешеное. В себя я пришла не скоро, а утром мне казалось, что я вовсе не спала, потому что второй раз Лукаш разбудил меня в пять — для разнообразия он завел обычный будильник на полчаса раньше положенного, а я этого не заметила. Звонок дребезжал в его комнате, а он опять дрых как убитый. Мне пришлось вытаскивать его из постели, чтобы он не проспал и не прогулял без уважительных причин занятия. Такие эксперименты я ему запретила — ничего, кроме нормального будильника в полшестого!

Только вот запрещать я могу сколько угодно.

Несмотря на все мои резкие заявления на эту тему, будильник сегодня зазвонил в два, когда я уже крепко спала. Его звук (в тот момент не поддающийся идентификации) буквально выдернул меня из постели. Я вскочила и бросилась вон из комнаты. Натренировалась за годы, пока задыхался сперва Патрик, а потом — много лет — Матей (это случалось всегда под утро). Любой звук: голос, кашель и даже всего лишь вздох — пробуждает меня от самого глубокого сна и мгновенно вытаскивает из постели. (Немедленно в больницу.) Никогда я уже не буду хорошо спать.

Так вот: я выбежала из комнаты в коридор и тут поняла, что ничего не случилось. Добежала до комнаты Лукаша и начала ругаться. Пришлось ему у меня на глазах завести будильник так, чтобы встать в положенное время.

Его мозговые процессы семилетнего ребенка (не уверена, что тут подходит выражение "мозговые процессы") никак не соотносятся с семнадцатилетним сформированным мужским телом!

Проснулась, оттого что сдавило грудь.

Проглотила половинку антидепрессанта. Не помогло. Попыталась что-нибудь написать. Не получилось. Белый экран ноутбука. Парочка фраз задерживается там на мгновенье, всего лишь на мгновенье.

Все равно пиши, говорил мне сегодня папа по телефону, а я на его обязательный риторической вопрос: как дела? — вместо ответа разревелась (вот до чего низко я пала).

Пиши! — сказал он. — Когда-нибудь фраза найдет свое место. И окажется первой.

Но я-то ждала, что он мне скажет: поживите в городе в нашей квартире (у него их, по крайней мере, две), ждала, что хотя бы раз в жизни он конкретно, материально поможет мне, он для этого достаточно богат.

А он лишь говорил: пиши, пиши.

Я вышла на залитую солнцем террасу. Легла на раскладушку, чтобы вобрать в себя солнечные лучи. До прошлого года я старалась избегать солнца, теперь — нет. Пока это единственная терапия, помогающая мне от депрессии.

Зазвонил мобильник. Мобильник — это не тревога... пока. Звонила Ленка: в деревне продается домик, о котором я некоторое время назад спрашивала. Место ничего особенного, но вокруг люди! Ленка продиктовала мне телефон риэлтерской конторы. Я хочу посмотреть домик. Если он не полная ерунда, то можно попробовать продать этот дом и купить тот.

Что-то изменить!

Я не дозвонилась. Еще одна половинка антидепрессанта. Еще более старательные размышления перед белым экраном — что и как писать. Поскольку у меня совсем не вытанцовывался (уже готовый) сценарий и мне было тошно, то я начала писать три рассказа по реальным событиям. Но и они не получились. Я уже когда писала, чувствовала, что не выходит. Никакой условности, никакого остранения, никакого литературного обобщения. Все стираю. Не хочу, чтобы оказался прав А. Я. Л., однажды уже написавший мне:

"Это как тарелка с едой, вы ставите ее перед читателем, а он либо отодвигает, либо лопает".

С утра как всегда: тоска.

Почему в последние дни на меня столько всего навалилось? При этом стоит чудесное бабье лето. У меня перехватывает дыхание.

Мне страшно.

Вчера я наконец отсюда сбежала, ходила по городу, говорила с людьми, смеялась, но чувство одиночества так и не рассеялось. Это во мне, от этого не убежишь.

Антидепрессант пока не помогает. Я никчемная. Я сама себе отвратительна. Я всегда терпеть не могла, когда кто-нибудь вовлекал меня в свои проблемы. (В моих-то я копаюсь тайком, но зато погружаюсь с головой!) Что такого ужасного со мной происходит? Ничего. Только не отпускает сильнейшее чувство, что моя жизнь абсолютно напрасна.

Иногда я желаю себе заболеть раком. Это я так кощунствую. Может, тогда внутри меня заработал бы мотор, который раньше помогал мне справляться с кризисом. У меня была бы причина для жалоб, и, возможно, появились бы силы бороться.

Я бы мобилизовалась.

Вот как? Это точно?

Я всегда была человеком действия.

Почему я ничего не делаю?

Что меня парализовало?

Почему не могу?

Нет, моего состояния никто не замечает. По крайней мере, в этом я супер. Еду в деревню за покупками. Захожу в магазин, здороваюсь, шучу. Весела и беззаботна. И в этот момент я и вправду такая, ненадолго гоню от себя все прочь. Потом выхожу из магазина, сажусь в машину, еду домой, и на меня опять наваливается тяжесть. Сердце сжимается так, словно на мне сидит паук. Я боюсь. Как остановить машину, как из нее выйти? Как открыть калитку и войти в сад? Я захожу в дом и закрываю дверь. Как мне пережить это? Сил хватит?

Сердце колотится.

На самом пределе отчаяния я села и дописала сценарий "Холм" (по роману Жана Жионо) в том виде, в каком, по словам Цирила, теперь пишут сценарии. Это прекрасная история, и перевод ее на язык кино у меня получился — я знаю! А еще я знаю, что никто не захочет за это взяться. Уже несколько продюсеров читали — и ничего. Сейчас, мол, такое никому не интересно. Это сильная история о жизни, любви и смерти. То есть ЗАНУДСТВО. К тому же у меня нет прав. Я такая идиотка, когда мне что-нибудь нравится, я сразу берусь за работу и не думаю о таких мелочах, как авторские права.

Надо просто с головой уйти в работу. Это стало бы для меня лекарством. Переезд в город не поможет.

Моя проблема — это я сама.

* * *

Вечером мы с Мареком поехали в городской клуб на концерт группы "Нерез". Мне не хотелось, но я поехала. И было хорошо. Лучшие песни Вржештял и Сазавский сочиняли вместе с Зузаной Наваровой. Она была такая талантливая! Почему она умерла? Ведь ей не хотелось. А почему хочу я?

Уходя, я, столкнувшись в дверях со Зденеком Вржештялом, поздоровалась с ним. Знакомила нас Зузана. Он удивился, что мы встретились именно здесь. Говорит, его жена меня очень любит — как автора, конечно.

Которая? — спросила я, потому что он пел песню о разводе.

Вторая. У нас ребеночек будет. Меньше месяца осталось. Я так нервничаю, что я сейчас не дома, так жду!

Мне и без них хотелось заплакать, а тут стало до того тошно, что женщины не могут снова начать жизнь с середины (особенно такие бесплодные, как я). Еще одного ребеночка... Я совсем с ума сошла. Это так замечательно, когда женщину обнимает и целует мужчина, эта нежность, страсть.

Я подумала о том, что со мной случилось, я точно знаю когда, знаю почему, но не знаю, как мне быть. Что делать с химией, разливающейся в моей голове, в моем теле? Когда я поделилась с мамой, что хоть и люблю Марека, но все-таки влюбилась в другого, что так вот случилось, что почему такое со мной случилось?.. И что мне делать? Она сказала: не отвергай, никогда не отвергай любовь.

Мне, к счастью, отвергать нечего. Если уж такое должно было случиться (а случиться это, наверное, должно было, раз случилось), влюбилась я, к счастью, уже будучи отвергнутой. Ничего мне реально не угрожает, я сама себе угрожаю — своим характером. Но все равно хотела бы я знать, не может ли что-то из моих ощущений... Я даже уверена, что он влюбился в меня раньше, чем я в него. Это каждая женщина чувствует. Как быть? У меня кризис среднего возраста? Сдвинутый за средний возраст? (У меня вечно все было с большим опозданием, если вообще было.) Во мне мешаются два желания — любовь к Мареку и стремление вновь пережить влюбленность.

Желание.

* * *

Прекрасно, когда женщину обнимает и целует ее собственный муж.

Да, такое вот пробуждение. Марек поехал в деревню, я тоже было собралась, но пока собиралась, решила посмотреть

объявления о заочной учебе. (Иметь профессию! Заниматься чем-нибудь стоящим.) На дневное я не могу. Не могу я Матея оставить одного.

Ничего приемлемого я не нашла. Лазила по Интернету, лазила и долазилась до киношколы. Отлично! Запишусь на сценарное, решила я. И тут же почувствовала неуверенность, потому что прочла в задании, что на первый тур экзаменов надо представить сюжет фильма и три рассказа. Их у меня нет. Да и не умею я. Правда, у меня есть один реализованный сценарий (номинирован на премию) и еще один, где кинодраматургом как раз тамошний профессор... Куда он, кстати, делся? Объявится? Во время одной из наших рабочих встреч Цирил сказал, что преподает уже пятнадцать лет, но свою лучшую ученицу встретил только сейчас, за стенами школы...

Я скачала заявление, почти с удовольствием представляя себе, как это будет, когда я подам его вместе с выпиской из аттестата зрелости. Смогу ли я высчитать среднюю оценку за каждый класс гимназии? И устроит ли их мой аттестат, если с его получения будущей весной исполнится тридцать лет? Я приложу к заявлению пожелтевший школьный аттестат прошлого века. Бабушка будет изучать кинодело.

Интернет я отключила (окончательно).

Вечером мы собрались у Мартина с Ленкой, мы все, кто до сих пор продолжает дружить. Никакой тоски. До тех пор, пока Мартин ночью не завел разговор про то, как ужасно у нас в лесу. Когда они с Ленкой попадают туда, то говорят себе: бедные, как они тут только живут?

Остаток вечера мы решали, что делать. Мартин советовал купить предложенный домик и постепенно приводить его в порядок. Но мы уже однажды пережили ремонт и повторения не хотим. Нынешний дом мы приводили в порядок долгие годы, и он до сих пор не готов. Большую часть мы делали сами. Мы слишком устали, чтобы опять класть кирпичи, копать и импровизировать.

Павла предлагала снять квартиру в доме их родителей, две маленькие комнатки, зато в городе.

Мы не можем жить в маленькой квартире! Моя депрессия не уйдет, если мы станем то и дело натыкаться друг на друга на нескольких квадратных метрах! Павла возражала, что они с Даниэлем жили в этой квартире с двумя детьми, пока перестраивали свою вторую квартиру, и все у них было отлично. Да, потому что жить в маленькой квартире с двумя (маленькими) детьми, сложенными из ваших же половинок, — это совсем другое дело.

Даже самые близкие люди, наслышанные о перипетиях нашего приемного родительства, все равно не понимают, каково оно, это повседневное сосуществование. Повседневное сосуществование теперь, когда мальчишки больше не хотят приспосабливаться к нашему стилю жизни, когда вовсю проявились их естественные наклонности и неестественные, как им казалось, депривации. Могу я это как-нибудь объяснить? Объяснить, что значит провести почти полжизни двадцать четыре часа в сутки с кем-то, кто — чем дальше, тем больше — во всем от тебя отличается?

Почему они так отличаются?

Ничего, кроме тоски. Не буду больше об этом писать. Напишу, когда проснусь без нее. Вдобавок все были дома, потому что опять воскресенье. Тоска, тоска.

Марек с Матеем поехали на велосипедах. Лукаш пошел на футбольный матч. Мы решили, что будем верить, будто теперь он ходит и на тренировки, и на матчи. Не можем мы его в этом возрасте постоянно контролировать, нам самим это противно. Хватит с меня того, что я заставляю его мыться, что проверяю по вечерам будильник, что запираю комнату, что уношу по ночам вещи с первого этажа, чтобы не давать ему повода обкрадывать нас, когда он первый встает утром, что прислушиваюсь, проснулся ли он и успеет ли на поезд в школу.

Мы стараемся показать ему, что доверие — это хорошо (и выгодно), мы его спрашиваем — он подтверждает, что ходил, и получает за это хорошие карманные деньги. Давая их, мы надеемся, что он не врет, он нас уверяет, что не врет. Мы хвалим. Мы стараемся верить.

Я ездила в город на встречу с А. Я. Л. Он опоздал (но ему я это прощаю). Я ждала его возле кафе, погода стояла хорошая, вокруг медленно текли толпы народу, машин почти не было. А. Я. Л. тут же спросил меня о последнем из режиссеров, к которому я обращалась, прочел ли он сценарий. Пришлось сказать, что я все еще жду, когда же он откликнется, жду с нетерпением.

А потом я вывалила на него свою тоску, которая уже снова превратилась в депрессию, глубокую, как в прошлом году. А. Я. Л. знает, как было со мной в прошлом году. (Почему я именно ему про это рассказываю, а больше никому?)

Скажите, почему опять?

Откуда снова тоска?

Почему я пишу то, что никого не интересует? Почему никто не хочет ничего моего? (Зола! Мешки золы!) Почему я не

вписываюсь в мейнстрим? Почему я все время делаю лишь то, что нужно одной мне? А ведь потом меня начинает угнетать отсутствие интереса к своей персоне! Мне так нужны успех, похвалы. Почему я не могу просто так, левой задней, написать какую-нибудь вещицу и куда-нибудь ее отдать (продать)? Осточертело писать в стол!

А знаете, сколько всего было в столе у Кафки? — ответил А. Я. Л.

А Винсент Ван Гог за всю жизнь не продал ни одной картины! — добавила я.

Вот видите, у вас все намного лучше.

Только я все равно скоро отрежу себе ухо.

Тогда вы останетесь без уха. Не надо этого делать. Пишите свои записки.

Я пишу. Но мне от них дурно. Кому будут интересны мои депрессии?

А вы думаете, написать нечто стоящее — это все равно как пирог испечь?

Точно! Именно так я и думаю.

Нечто стоящее рождается, когда есть потребность освободиться от своей тоски, от мыслей, которые иначе тебя погубят. Пишите! Этим вы очиститесь. И однажды увидите, что у вас получится. Пишите, как Рудольф Слобода[1].

Год назад я начала читать его "Разум", но он показался мне таким тяжелым и безнадежным, что пришлось его отложить.

Ну возьмите что-нибудь другое. Скоро должна выйти "Любовь", это не лучшая его книга, но все-таки. Читайте Слободу!

А. Я. Л. проводил меня до старого города, где у нас репетиция в клубе "Мишпаха". Всякий раз, прощаясь с ним, я спрашиваю себя, увижу ли его еще.

Так увижу? У меня всякий раз начинает болеть сердце. Увижу ли я его?

А еще он дал совет, как можно попробовать написать пьесу.

Если у вас не получается написать что-нибудь свое, надо попробовать что-нибудь адаптировать.

Что?

Читайте. Читайте побольше, и оно придет само.

Я не могу читать.

(Слобода покончил с собой.)

Я в ужасе от мысли, что так мне придется жить до смерти.

1. Рудольф Слобода (1938—1995) — словацкий поэт, прозаик, сценарист.

Во время телевизионных новостей позвонил (на стационарный) Патрик. Он хочет обещанные деньги со своей книжки. Он знает, что обещания мы выполняем, потому и звонит. Я сказала ему, что отдам деньги, когда он зарегистрируется на бирже труда. Он ответил, что это невозможно, что он потерял паспорт. И так далее, и так далее. Все как всегда.

Я не могла это слушать и передала трубку Мареку. Он повторил: с февраля, с тех пор как тебя выгнали из школы, мы хотим, чтобы ты зарегистрировался на бирже труда, раз иначе искать работу не собираешься. Сейчас октябрь, а ты по-прежнему кормишь нас отговорками.

Видно, отговорки последовали и теперь, потому что Марек рассердился, что-то ему крикнул и вернул мне трубку.

Патрик, как дела с твоей чесоткой?

Нормально.

Ты лечился? Тебе надо было три дня мазать все тело мазью, а одежду, полотенца и постельное белье прокипятить. (Откуда у него возьмутся полотенца и постельное белье?)

Нет у меня больше чесотки.

Тебе скоро на допрос. Надеюсь, в этот раз ты придешь?

А с чего бы мне не прийти?

Позвонить тебе можно?

Ага, в телефонную будку.

Проснулась я заплаканная. М-да, пора в психушку. Для меня это целая проблема — встать с постели, спуститься на первый этаж, приготовить себе что-нибудь на завтрак, просто существовать. Лучше бы мне уснуть и все проспать. Всю мою жизнь.

Только вот спать я не могу.

О романе "Год петуха" и о его авторе

Тереза Боучкова — человек решительный и мужественный. В далеком 1977 году она, тогда двадцатилетняя, приняла твердое решение подписать Хартию-77, программный документ чехословацких диссидентов, а затем и участвовать в работе одноименной нелегальной общественной организации, ставившей своей задачей распространять правдивую информацию о происходящем в социалистической Чехословакии. Если учесть, что первых подписантов было всего 240 (а к середине 80-х годов их число выросло до

1800), то смелость девушки трудно переоценить. Этот поступок лишил ее многого: возможности получить высшее образование, сценической карьеры, интересной работы, заграничных поездок... Все, подписавшие Хартию, насильственно вытеснялись правящим режимом в маргинальную зону общественной жизни. Особенно несладко пришлось людям творческих профессий: им дозволялось заниматься лишь тяжелым физическим трудом (будущий президент страны писатель Вацлав Гавел катал бочки на пивном заводе, будущий посол Чешской Республики в РФ, редактор Чехословацкого радио Лубош Добровский, мыл окна, а драматург и режиссер Йозеф Топол перекладывал булыжную мостовую на Карловом мосту). О том, чтобы публиковаться, сниматься в кино, ставить пьесы, и речи быть не могло — что уж говорить о юной девушке, которая только собиралась прокладывать себе путь в жизни. Ей не дали поступить ни в знаменитую Театрально-музыкальную академию, где она намеревалась выучиться на актрису, ни вообще в какое бы то ни было высшее учебное заведение, а разрешили лишь поработать уборщицей, почтальоном, упаковщицей грампластинок... и так продолжалось до самого 1989 года, до "бархатной революции"... Но если бы Тереза покорно следовала в фарватере, уготованном ей спецслужбами, она изменила бы себе, своему предназначению, своей семье наконец.

Девичья фамилия Терезы Боучковой — Когоутова: она дочь знаменитого чешского писателя и не менее знаменитого общественного деятеля Павла Когоута. Подписать столь многое изменивший в ее судьбе документ она решила после того, как с телеэкрана сказали очередную гнусность об ее отце, который был одним из авторов Хартии, и о других диссидентах. "Когда я это услышала, то попросту встала и пошла к папе", — рассказывала Боучкова в одном из интервью. И в тот момент для нее было неважно, что отец давно уже не жил с ними и что отношения с ним складывались непросто.

То обстоятельство, что детство Терезы прошло без отца, не могло не наложить отпечатка на всю ее жизнь. Творчество писательницы большей частью посвящено теме детей, с трудом входящих в мир взрослых, и взрослых, безуспешно пытающихся пробиться в мир ребенка. Ее первая книга, сборник повестей "Индийский бег", появилась потому, что, как объясняла сама писательница, ей хотелось непременно ответить отцу, написавшему роман о своей жизни под названием "Где собака зарыта". В "Индийском беге", давшем название всей книге, рассказана история ее семьи, но так, как виделась она подростку Терезе, со всеми несправедливостями, всеми обидами, нанесенными — непроизвольно или сознательно — отцом, со всеми надеждами и, само собой, разочарованиями. Разумеется, это не документальное произведение — так же как не документален и снятый по "Индийскому бегу" фильм "Всюду словно рай земной!". Название его — строка из чешского гимна — исполнено иронии: жизнь диссидентов в Чехословацкой Социалистической Республике никак нельзя было назвать райской. Чешские критики приняли фильм не слишком горячо, а вот в Рос-

сии его не только заметили, но и отметили: исполнительница главной роли (матери) Вилма Цибулкова на Московском кинофестивале 2010 года получила приз за лучшую женскую роль, а режиссер — именитая Ирена Павласкова — приз жюри ФИПРЕССИ.

Несмотря на все заверения сценаристки в том, что сходство ее персонажей с конкретными людьми лишь случайность, зрители упорно ищут в экранных образах реальные черты политиков и общественных деятелей, до сих пор здравствующих и активно влияющих на события в стране. Происходит это в немалой степени потому, что первый фильм, снятый по сценарию Терезы Боучковой в 2002 году, который назывался "Паршивцы", основывался на действительных перипетиях ее жизни, описанных в "Женщине из-под Тира", повести из сборника "Индийский бег". Продолжением этой повести и является роман "Год петуха" с заключенным в заглавии прозрачным намеком на девичью фамилию писательницы, к тому же и родившейся по восточному календарю в год Петуха (петух по-чешски — *когоут*). Так что книга действительно почти автобиографична. Супруги, за несколько лет до того усыновившие двоих цыганских ребятишек, по-прежнему воспитывают их вместе со своим родным сыном. Мальчики растут — и жизнь в деревне, куда приходится переехать из Праги, потому что детям нужен чистый воздух (у двоих из них бывают астматические приступы), становится все сложнее. Причем дело не в переходном возрасте, а — судя по откровениям героини-рассказчицы (роман написан в "ich-форме") — в происхождении усыновленных детей. Человека, не устает повторять автор, лишь на десять процентов формирует воспитание, девяносто же процентов — это генетика. Старший, Патрик, уже ушел из семьи и живет с бродягами, ворует, пьет... Средний, Лукаш, уверенно идет по его стопам. И с этим ничего нельзя поделать, хотя родители и предпринимают все новые и новые попытки к спасению ребят: ведь признать, что у выращенных ими детей, живших в благополучной семье, детей любимых и даже балуемых, "нет никаких человеческих привязанностей", очень сложно. Откуда же взялась эта палитра пороков, задается вопросом рассказчица? И отвечает: нежеланные, брошенные матерями дети "не способны вести нормальную, относительно приличную жизнь", ибо их предали еще в младенчестве и они научились "ни к кому не привыкать".

Откровенность, с какой автор говорит о страшных и неразрешимых проблемах своей семьи, поражает. Боль, сомнения, злость на детей и на мужа и тут же на себя, всеохватное чувство беспомощности и тоска по несостоявшемуся счастью соседствуют со страстным желанием писать, работать, самореализовываться. И ужас оттого, что тебя всюду настигают неудачи, что черная полоса в жизни грозит стать бесконечной, выглядит особенно пугающе на фоне постоянной самоиронии автора, умеющей оценивать себя объективно и безжалостно. Сценарий, который пишет героиня, попытки отыскать "своего", то есть способного понять и воплотить ее замысел, режиссера (забегая вперед и переходя из книги в реальность: режиссер-таки нашелся, и фильм, получивший название "Всюду словно

рай земной!", уже вышел и имел успех, о чем была речь выше) — все это интересно не меньше, чем дела чисто семейные. Боучкова — хороший рассказчик, ее книга лишена назидательности, хотя читателя непременно посетит мысль об опасности разочарований, поджидающих потенциальных усыновителей. Собственно, именно из-за этого на Боучкову — как на писательницу, а не как на приемную мать, обрушился град упреков: ее обвиняли в безответственности, в попытках оправдать собственную беспомощность... Но можно ли смешивать жизнь с литературой? Ответ на этот извечный вопрос и предстоит в очередной раз отыскивать читателям предложенного отрывка из романа "Год петуха".

Полностью роман будет опубликован в петербургском издательстве "Глобус" в 2011 году.

Маргарет Этвуд

О *сиротах*

Миниатюра

Перевод с английского Т. Казавчинской

А) Как быстро сироты пускаются в путь! Не успевает отгреметь сигнальный выстрел, а они уже летят вперед. Их яхты легки, изгибы корпусов четче, чем у наших грузных посудин. У них нет тяжелых якорей, нет балласта; багаж закинут на борт, а если вьется флаг на мачте, то лишь белый. Неудивительно, что они всех оставляют позади. Неудивительно, что в два счета скрываются за мысом. Но как пойдет все дальше? Станут ли они держаться курса, будут ли соблюдать испытанные правила: ведь за призом они не гонятся. Они спешат в открытое море. За солнцем. И пропадают из виду.

Б) У сирот нездоровый опыт: хлев, подвал, машина, дровяной сарай, заброшенное поле, пустой класс. Оттого-то сироты так притягательны. Оттого так искалечены. Оттого так тщедушны — кожа да кости. Оттого так хрупки. Так доступны всем и каждому. И оттого так сексуальны. И оттого никто не верит ни единому их слову.

© Margaret Atwood, 2007
© Т. Казавчинская. Перевод, 2011

В) Самые разные сироты стоят в очереди за кашей. Осиротевшие после автокатастрофы, и после кораблекрушения, и после разрыва сердца. Подкидыши, оставленные на крыльце незамужними матерями, и дети войны. Ничего, каши хватит на всех — у нас доброе сердце. Правда, каждому выдадут лишь тарелку-другую, но так уж заведено в приютах. Терпеливая очередь, все в серых формах — это жалкое платье им тоже досталось от нас. До чего мы добры, до чего благородны! Вдруг доносится стук: оловянные ложки стучат по таким же убогим тарелкам. Но ведь мы их предупреждали — пусть скажут спасибо за то, что имеют. И вообще, некрасиво быть жадным. Громкий стук — они требуют, чтобы им отмеряли побольше. Им все мало — побольше, побольше. Они, что же, хотят быть как мы? Что за наглость! Да они нас третируют — нам же больно смотреть на голодных!

Г) А какие у них имена? Как у всех, но порой похитрей, чем у прочих. Повзрослев, они сами берут себе имена. Говорят нам: зовите меня Измаил[1]. Говорят нам: зовите меня Измаил, но зовите почаще. Говорят: нет, не так... не зовите меня Измаил... а зовите меня Неизвестный... а зовите меня Безымянный...а зовите меня Безнадежный. Они любят успех и флиртуют со всеми, но потом выдирают страницы из адресных книжек. Наугад, беспощадно.

Д) *Я знаю, это не мои родители.* Кому не приходила в детстве эта мысль? *Я не ваш сын. Я не ваша дочь.* Но лишь сироты, сказав это, не ошибаются. Какая свобода! Им дано отречься и не ошибиться. Перед сиротами все дороги открыты. По какой дороге ни пойдут, любая хороша, а лучше всех — неизбранная. Сиротам все дороги сгодятся. Можно ли их выгнать из дому? Но его у них и не было. Вот они и голосуют на дороге — едут, куда повезут, раз за разом. Голосуй на дороге — их жизненный принцип.

Е) А все-таки грустно передвигаться по дороге, как улитка: тащить на себе свой домик. Очень быстрая улитка, но — улитка, да и домик пустой. А если и заполненный, то ею же самой. Тяжелая легкость. Пустота, способная раздавить.

Ж) Но как легко высекают они любовь из сердец, эти сироты! Малютки в корзинах, голодные-холодные, подброшенные на

1. Так начинается роман "Моби Дик" Германа Мелвилла (*Прим. перев.*)

крыльцо чужого дома, никому не нужные. Сиротки, оставленные в капусте аистами, украденные гномами, принесенные амурчиками. Люди за ними просто в очередь становятся — горят желанием помочь, расчувствовались: в кулаках мокрые от слез носовые платки, в карманах денежки, в рюкзаках детские одеяльца. Раскрыв объятия, спешат они заключить в них сиротку. *Откуда ты дитя?* Из тьмы. Из моря страха.

З) Мы все предубеждены против сирот. Они хитры, они пронырливы. О них ничего неизвестно. Мы не знаем, кто были их родители. Заприте-ка покрепче дверь и спрячьте в буфет столовое серебро. Вы обнаружили младенца в камышах? Пусть там и остается. Чтоб духу его не было в вашем доме! Иначе дайте только срок, и он вам перережет горло, сбежит с вашей дочерью, совратит сына, разорит дом. Дом — это сердце человека, а сироты — люди бессердечные.

И) Да нет, вы все напутали. Совсем наоборот. Не сироты крадут, а их крадут; сироты не убийцы, а убитые. Всегда легко узнать их по следам: это они сыплют хлебные крошки в лесу; роняют на землю капли крови и слезы, из которых вырастают мелкие бледные грибочки; это их хрупкие косточки белеют между корнями или подо мхом.

Проверьте статистику — у сирот мало шансов. Мачехи требуют, чтобы им отрезали язык и подали на блюде, отцы удирают тайком из города, дядья подсылают убийц с подушками, чтоб сирот задушили во сне. И только в романах — немногих и редких — великодушный благодетель появляется в самую нужную минуту, чтобы спасти сироту от обрушившихся на него сил зла. Какого такого зла? Загляните в волшебное зеркало, дорогой читатель. В глубокий, тихий колодец желаний. Спросите самого себя.

К) И все же сиротство — отличное оправдание. Им все на свете можно объяснить — любую ошибку, любой проступок. Как сказал Шерлок Холмс: *У нее не было матери, которая предостерегла бы ее.* Ах, как бы нам хотелось тоже не иметь советчиков! Чтобы позволить себе безрассудство, страсть, сомнительные приключения. Конечно, мы благодарим судьбу за подобающее воспитание, за толпы просвещающих нас родственников, за пухлую перину преимуществ, доставшихся нам от рождения, за то, что страшные сюжеты миновали нас. И все-таки в душе гнездится зависть. Ну почему же с нами, неженками, никогда не происходит ничего интересного!? Почему все увлекательное достается сиротам?

Л) Теперь ко мне будут приходить письма. От сирот. *Как вы можете так легко относиться к сиротству! Вы просто не знаете, что это такое. Вы из тех, кто смеется над безногими. У вас нет морали, нет сердца. Вы жестокая.* Да, да, дорогие сироты. Я понимаю вас. Но называть вещи своими именами — не значит презирать. Все жизненные наблюдения жестоки, потому что жестока сама жизнь. О чем скорблю, но ничего не могу с этим поделать.

(Да и сами подумайте. К таким же потерям движется каждый — к пустоте, в которой все прорастает. Ведь это вы, а не мы, всегда были детьми Божьими.)

Тадеуш Ружевич

Наш старший брат

Фрагменты книги

Перевод с польского и вступление К. Старосельской

Воспоминания, образы, чувства...

Тадеуш Ружевич

В городе Вроцлаве на западе Польши, в небольшом двухэтажном доме, перед которым за сетчатой оградой растут четыре стройные елочки, живет с женой и сыном Тадеуш Ружевич, поэт, драматург, прозаик, гордость польской литературы. Он родился в октябре 1921 года; как ни банально это звучит, иначе не скажешь: на пороге своего девяностолетия Ружевич живет полной... полноценной... полнокровной жизнью, будто груз девяти десятков лет не только не тяжек, но требует постоянного пополнения. Что-то еще не написано (и поэт пишет новые стихи), что-то забыто (и он извлекает из архива свои и чужие письма, старые, затерявшиеся среди бумаг публикации, воспоминания), кто-то (либо он сам) получил награду или у кого-то юбилей — и в связи с этим нужно публично выступить, кто-то ушел навсегда — и об этом тоже надо сказать, добрым словом помянуть ушедшего. В долгой жизни Тадеуша Ружевича было много потерь, и начались они рано,

© by Tadeusz Różewicz
© К. Старосельская. Вступление, перевод, 2011
Редакция благодарит Тадеуша Ружевича за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации фрагментов книги.

раньше, чем предполагает естественный ход событий. Была семья: мать, отец, три сына; была комната, где каждый занимался своим делом, но все были рядом; однажды пришла война ("приходит Марс / его меч / наполняет огнем/ комнату") и унесла старшего брата... Осталась память.

Феликс Пшилубский

Вспоминая Януша Ружевича...

Януш после окончания школы

Ружевичей было трое. До войны они учились в гимназии имени Феликса Фабиани в Радомско. Я тоже ходил в эту гимназию, но не учиться – преподавал там польский язык и литературу. И встречались мы на уроках.

Я мог бы сказать, что учил братьев Ружевичей польскому языку, но не скажу, потому что знание языка они принесли с собой в школу вместе со стопкой перетянутых ремешком книг. Конечно же, я объяснял им, в чем состоит малозаметная разница между качественным и относительным прилагательными. Конечно же, они записывали в тетрадках в линейку, как понимал великий поэт эпохи Возрождения Ян Кохановский долг перед отечеством. Но это вовсе не означает, что Ружевичи обязаны своим знанием языка школьным урокам.

Старший из братьев, Януш, родился в Осякове 25 мая 1918 года.

Второй сын Стефании и Владислава Ружевичей Тадеуш появился на свет в Радомско 9 октября 1921 года; его биографию можно найти в энциклопедии. В 1938-м на выпускных экзаменах Януш подошел ко мне и сказал: "Вы знаете, есть еще один Ружевич".

Третий Ружевич, Станислав, сдал вступительный экзамен, сел на последнюю парту в 1 А классе, где я был классным руководителем, и начал крупными круглыми буквами, так хорошо мне знакомыми по тетрадям старших братьев, писать про то, как провел каникулы, что́ видел по дороге в школу, про битву при Марафоне. Говорили, он собирал фотогра-

фии киноактеров и вырезал из журналов снимки сцен из фильмов с их участием.

Из троих Ружевичей двое — Тадеуш и Станислав — занесены в книгу польской культуры. Януш только начинал писать. Он хотел писать — так же, как хотел жить. В 1938 году получил награду за напечатанное в журнале "Вооруженная Польша" стихотворение, в 1939-м сражался в рядах польской армии в звании подхорунжего. Потом воевал с немцами в подпольной армии. 9 июня 1944 года, через шесть лет после окончания гимназии, он был арестован гестапо в Лодзи и 7 ноября расстрелян. 19 января 1945 года Лодзь была освобождена.

В награжденном в 1938 году стихотворении Януш клялся "стеречь ласточкины гнезда... аиста клекот... и рубежи Польши". За верность присяге он заплатил жизнью. Это обыкновенная биография, почти стандартная для молодежи и детей того поколения. Одно только выделяет ее из десятков тысяч подобных: погиб поэт, творец прекрасного. <...>

З. С.

Солдату-скитальцу[1]

Тебе которого изрешетили немецкие пули
которого в клочья изорвали гранаты
тебе опаленному жаркой струей огнемета
сбивающему обезумев от боли пламя
умирающему в летней траве несмятой

тебе которого знают пустыни и скалы
и все моря
и все континенты на свете

тебе царапающему ногтями землю
в чьих глазах уже померкло солнце
исказились черты лица
тебе ни наяву ни во сне не угадавшему
такого конца

1. В бумагах, оставшихся от моего брата Януша, я нашел стихотворение, в котором кое-что изменил. Получилось наше общее произведение, а поскольку оригинал потерялся, сейчас я уже не могу определить, где Его, а где мои строки. Подписал стихи я инициалами наших подпольных псевдонимов: Збышек и Сатир. (*Прим. Т. Ружевича.*)

эти строки — глоток воды
согревшейся в долгом походе
ладонь матери дарящая утешенье
твое село занесенное снегом
стреха весною под птичье пенье

чтобы скорее пришел конец
твоим мученьям

Тадеуш Ружевич

Только это...

Пытаюсь написать о сентябре 1939 года в Радомско... бомбардировки, пожары, бежим сквозь огонь и дым. Огонь несильный и холодный. Немецкие самолеты проносятся как тени; пронзительный свист падающих бомб беззвучен; тишина. Все похоже на мутную картинку, старую фотографию, затерявшуюся среди бумаг. Даже большой страх — мал. Пепел тишины, в котором я ковыряюсь черной палочкой-авторучкой. Фигурки живых и мертвых уменьшаются, пропадают за горизонтом. Мы бежим по стерне, по картофельному полю к лесу. Я уже не могу отличить себя от миллиона других фигурок, мечущихся под сентябрьским небом. Пожары. Безмолвные звезды. Неужели у меня с этим еще есть что-то общее... нить памяти сверкнет на солнце и погаснет. Немецкие самолеты пролетают над обнаженной землей расплываются исчезают как вся эта наша трагическая польская война. Выцветшие краски остывшие чувства. Все превратилось в надгробную плиту... полями лесами проселочными дорогами пробираются польские солдаты из разгромленной 7-й дивизии генерала Гонсёровского идут небольшими группами идут поодиночке без командиров без оружия без мундиров вокруг немцы они повсюду на западе и на востоке везде

я еще живу дышу говорю
иду в Твою сторону

Сегодня 53-я годовщина начала Второй мировой войны. По этому случаю представители власти возложат венки на могилу Неизвестного солдата... в Варшаве. Я теперь живу во Вроцлаве, мне 71 год. Да, дорогой Януш, я стар. Последний раз мы

Мать в парадном костюме. Так позировали тогда для фото

виделись в 1943-м. На Пасху. Последний праздник, когда наша семья еще была полной: Мать, Отец, Ты, Станислав и я. Ты вихрем влетел в дом. Одарил нас со Сташеком кратким, без подробностей, рассказом о том, что был в цирке... в Берлине... что заглянул в кинотеатр... в Вене. Только я один знал, что кроется за этим цирком... Я, закончив подпольное училище подхорунжих, пока еще занимался бумажной работой в Бюро информации и пропаганды. С нетерпением ждал создания первого партизанского отряда на территории нашего округа АК[1]... ждать предстояло до августа: тогда я получил направление в отряд "Збигнева" (Варшица). Вечером перед отъездом Януш сказал мне, что не знает, когда снова сможет приехать домой. Мы говорили о поэзии, я тогда пописывал патриотические стихи о Вильно и Львове, мне было не до лирики... Янушу писать стихи уже было некогда. Подпольная работа занимала все больше времени, становилась все сложнее и опаснее. Я чувствовал в Януше не свойственное ему напряжение... Когда я принялся излагать свои левые взгляды — еще в гимназии я симпатизировал "левым пилсудчикам", — он внимательно посмотрел на меня и коротко сказал: "Смотри! Рядом с коричневой — красная диктатура... они друг друга стоят... помни об этом... Те и другие хотят нас уничтожить..."

Отец в парадном костюме

1. Армия Крайова (АК) — военная организация, действовавшая в 1942–1945 гг. в оккупированной Польше. Подчинялась польскому эмигрантскому правительству в Лондоне. (*Здесь и далее, если специально не оговорено, – прим. перев.*)

На вокзал Тебя проводил Отец. У него были надежные (все настоящие) документы, целая пачка, включая ночной пропуск. Мы над ним подшучивали, мол, слишком много бумажек... как бы не показалось подозрительным. Немецкие жандармы иногда придирались к любым документам — и фальшивым, и настоящим. Отец, вернувшись с вокзала, рассказал, что там полно жандармов, баншуцев, зельбстшуцев[1], солдат вермахта и т. д. По дороге зашли в Ясну Гуру[2]. Папа сказал, что Януш молился долго и горячо... я с 1940 года перестал ходить к исповеди, перестал молиться... Тогда, в ту нашу последнюю встречу, мы с Янушем поклялись: если наши судьбы сложатся так, что мы до конца войны не увидимся, то... то увидимся после войны... в Париже.

Париж. Почему-то в Радомско этот Париж не давал нам покоя... Возможно потому, что был так же неведом и недоступен, как Атлантида. А в Париже мы собирались встретиться возле памятника Мицкевичу... Пообещали друг другу, что встретимся в такой-то день такого-то месяца в полдень... что по окончании войны в течение трех лет будем туда приходить, будем, чего бы это ни стоило, стараться, чтобы назначенная встреча состоялась... а если через три года после конца войны не встретимся, значит... уже не встретимся. Господи, а ведь тогда в Париже сидели немцы. Помню, что для нашего поколения падение далекого Парижа было личной трагедией. Гитлер принимал там парады своих войск.

Януша арестовали 9 июня 1944 года. Я был в партизанском отряде. Тогда я вел "дневник" — карандашом в толстой тетради. От этого дневника сохранилось лишь несколько страничек, остальные пропали, унесенные ветром... последняя запись датирована 3 сентября 1944 года. Перечитываю исчезающие строчки:

Наш поход на Варшаву закончился. Отряды возвращаются на базу. Варшава агонизирует в огне и дыму. Две недели мучительных ночных и дневных маршей, бессонные ночи, надежда, отчаяние и сомнения — вот чем были наполнены эти дни. Сегодня воскресенье 3 сентября. Пять лет прошло с начала войны, я ни слова не посвятил этой годовщине, день прошел, как любой другой, — а война продолжает катить кровавые волны. Меня перевели в 3-ю роту "Кентавров" (ну вот, опять надо заканчивать, хотя так хорошо писалось — отвлекают дела).

1. От *нем.* Bahnschutz — железнодорожная охрана; Selbschutz — самооборона.
2. Ясна Гура (санктуарий Пресвятой Девы Марии Ясногорской) — католический монастырь в Ченстохове.

Тадеуш Ружевич, 1942

А вот страничка, написанная в июне 1944-го — я еще не знал, что Януш в гестаповской тюрьме:

Сегодня сжег "Короля-Духа"[1], он лежал под котелком, в котором жарилось свиное сало; это только Ты, Януш, поймешь. Сидящий рядом со мной парень давит гнид. Посмотрим, что будет дальше, не хочется писать, вши заели.

Неудачная засада на вермахтцев. Наконец-то винтовка, патроны и граната. Ночной марш и дождь под утро. Располагаемся в деревне...

А Тебя уже "допрашивали", пытали, Ты был в тюрьме... а я маршировал... на Варшаву. На Варшаву, которой никогда не видел!

4 августа 1944 года:

...у нас ничего не происходит. Дождь не унимается, барабанит по палатке... Лежим на подстилке, давим вшей. Слушаем радио — [русские] в 100 км от Кракова — Варшава сражается. Интересно, что будет дальше. Ждем, что со дня на день вступим в бой. У меня в записной книжке 5 немецких марок — никому они уже не нужны — кажется, идут по 30 грошей — вот доказательство полного краха немцев. Катастрофических настроений как не бывало. Очень любопытно, как дальше сложится жизнь... Марк Аврелий был гражданином мира, наверняка настанет время, когда все мы будем гражданами мира. Всегда можно найти место на земле — свое место. Надо жить полной жизнью, ведь кроме жизни ничего нет (поэтому именно так надо жить, и жизнь должна быть прекрасна)...

Почему-то я уверен, что Бог ради одного человека может изменить облик мира и ход событий...

Сейчас, когда я читаю эти записи почти полувековой давности, мне, будто сквозь туман, вспоминаются некоторые события, картины...

Я был в городе — получил в отряде увольнительную... про аресты в Лодзи уже знал. И что Януш арестован... но в тот раз

1. *Историософская поэма Юлиуша Словацкого (1809–1849) "Король-Дух".*

я узнал о покушении на Гитлера 20 июля... первые сообщения о том, что Гитлер погиб... я был еще в городе, но на следующий день должен был возвращаться в отряд, который все время менял место постоя... я шел один по пустой раскаленной июльской улочке и думал: "Это конец войны". Конец войны — и, разумеется, немцы выпустят всех заключенных. Януш спасен. Прямо на улице я начал молиться... конец войны... заключенные свободны. Януш свободен — и тогда, молясь, благодаря Бога, я, глупец, подумал, что покушение 20 июля и смерть Гитлера — это вмешательство Бога в мирские дела и в жизнь Януша... мне казалось, что Бог изменил облик мира и ход событий, чтобы спасти миллионы и моего Старшего Брата...

Я ночевал в лесничестве, где у нас была явка... отряд в очередной раз куда-то спешно перебрался, надо было его отыскать... на следующий день я узнал от лесничего, что покушение не удалось, Гитлер уцелел... я, обезумев от страха, зверею... Гитлер сказал, что его спасло Провидение — вмешательство Господа... моя благодарственная молитва была такой ребяческой...

Ты, парящий в далеких мирах,
Задержи перелет свой по тверди
И согрей на груди этот прах,
Что обманут Твоим милосердьем[1].

В уже другом дневнике я нашел короткую запись (10 октября 1955 года):

Сообщение "Бонифация" об аресте Януша я выслушал с нечеловеческим спокойствием. Но позже целые месяцы и годы плакал. Не могу и не хочу писать о том, как арестовали, как "допрашивали" в гестапо... как расстреляли моего Брата. Прошло столько лет; не могу коснуться этого пером...

...а вот запись 25 марта 1957 года:

Я в Париже. Со среды 20 марта я в Париже... живу в маленькой гостинице на улице Сены... за окном Париж. Во время оккупации кажется на Пасху 1943 года... мы с Янушем договорились по окончании войны встретиться в Париже... Януш лежит на кладбище в Лодзи. Его расстреляли в 1944-м.... Я в Париже. Сижу в гостиничном но-

1. Болеслав Лесьмян. Сестре / Перевод Б. Пастернака // Зарубежная поэзия в переводах Б. Л. Пастернака. — М.: Радуга, 1990.

мере... Я не пошел к памятнику Мицкевичу не знаю где он этот памятник не хочу его искать

Осматриваю город как будто... как будто попал сюда после смерти... В моем безразличии есть что-то неестественное а может... просто я мертв

Тогда в Париже я встретил поэта Чеслава М.[1], мы виделись три раза. Он вмиг понял, что я мертв, сказал в какой-то момент: "Смотрю я на вас и тревожусь за судьбу польской поэзии... вас ведь ничего не интересует... Вы не видите Парижа..." — он говорил тепло, с искренним сочувствием... говорил со мной как Старший Брат. М. никогда не узнает, что был для меня Старшим Братом... это была братская любовь, единственная в своем роде, такая любовь складывается из восхищения зависти надежды соперничества гордости... теперь мы оба старики и, наверно, уже никогда не увидимся.

сентябрь 1992 года читаю Ваши "Дальние окрестности"

может, когда-нибудь я еще вернусь в весенний Париж 1957 года и расскажу Вам, почему не пришел на назначенную встречу... ведь минуло всего тридцать пять лет... Вы долго ждали, а я где-то затерялся... не в Париже, в себе...

В июле 1955 года я был в Варшаве. Тогда я узнал от Ежи Анджеевского, что мать Камиля Кшиштофа Бачинского[2] умерла два года назад... а я собрался отдать ей деньги... которые получил в 1948 году от Казимежа Выки. Это была награда — стипендия им. Бачинского. В жюри, кроме Матери Поэта, входили Казимеж Выка, Ежи Завейский и, кажется, Ежи Турович. Это была первая награда, первые "лавры", полученные в Польше... спустя годы я узнал, что пани Стефания Бачинская нуждается, и решил при первом удобном случае с благодарностью вернуть ей долг-награду... но у меня не было денег... только в 1955-м я получил гонорар за сборник "Улыбки"... да, слишком долго я собирался. Она умерла. В молодости думаешь, что жизнь вечна... мне вспомнились ее слова, с которыми она ко мне обратилась, прошептала... возможно, не мне, а всему свету: "Ведь я не живу, я умираю"... таким был наш первый разговор у нее дома... "я выкопала его, — говорила она о своем сыне, — и узнала только по образку"...

1. Чеслав Милош (1911—2004) — поэт, переводчик, эссеист. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1980).
2. Камиль Кшиштоф Бачинский (1921—1944) — крупнейший поэт своего поколения; боец Армии Крайовой; погиб во время Варшавского восстания 1944 г.

Я сидел в небольшой светлой комнате Матери Поэта, был 1948 год, а может, 47-й... даты не имеют значения...

"ослепшая я рылась в этой гнили и откопала образок который ему дала... я отдала Его на попечение Богоматери... вместе с этим образком..." за окном был молодой веселый летний день... птицы... какие птицы? Может быть синицы а может воробьи... Пани Бачинская любила птиц, умела про них рассказывать... "у меня в руках остался комочек гнили" голубые вдруг потемневшие глаза застывший взгляд

я не мог... отвел глаза стал смотреть в окно на облака... не мог Ее слушать в это время эксгумировали Януша... по брюкам... нет не знаю он был там с Отцом я не поехал не смог не хватило духу отваги... его узнали по волосам... убитые они стали похожи были связаны колючей проволокой... я не мог слушать... молчал... Мать Кшиштофа Мать Януша Мать Сына Человеческого Наша Мать... в это время я слышал свою Мать... "зачем я живу почему не умерла я бы уже хотела умереть"...

я не положил ладонь на маленькую дрожащую руку не обнял за плечи эту худенькую женщину не прижал к сердцу ее бедную голову...

годы идут

на окне стояла веселая пеларгония проплывали облака

я ушел не сказал ни слова в утешение потом ехал домой в Гливице...

годы идут

я сохранил в себе образ улыбающегося жизнерадостного молодого Януша

все переменилось

теперь я стар я старше Тебя

почти на пятьдесят лет

Ты меня не узнаешь когда мы встретимся

возле памятника Мицкевичу в Париже Ты увидишь

старого человека который опасливо поглядывает вокруг

и переходит улицу в неположенном месте

я приближаюсь к Тебе а Ты наблюдаешь за мной с юношеской

приветливой улыбкой но не знаешь что этот старый человек

Твой младший брат...

Я хотел рассказать Тебе почему опоздал на столько лет... хотел рассказать что происходило с нашей семьей — с того дня когда в Лодзи на улице в июне 1944 года Тебя задержало гестапо — я хотел у Тебя спросить кто вас предал — кто назвал

явку час место куда Ты в тот день пошел — неужели все навечно кануло во тьму? Я хотел Тебе рассказать как ушла наша Мама как ушел Отец что мы со Стасем делали все эти годы... вплоть до сегодняшнего дня: 1 сентября 1992 года... но не уверен узнаешь ли Ты в этом старом человеке своего младшего брата Тадека... так что я улыбаюсь и не спеша сворачиваю к Елисейским полям. Оглядываюсь вижу темную на фоне неба фигуру Адама Мицкевича идущего на Родину... вижу Тебя... Твою протянутую в мою сторону руку...

1 сентября 1992

Януш Ружевич

Постскриптум к Норвиду

Нет, ничего от тебя мне не надо,
милая панна...

Ц. К. Норвид

запах духов Твоих на улицах
я искать не буду
не буду писем ждать письма писать
не будет такого чуда

улыбки нет это раньше она цвела на устах
с утра до ночи
лежу гляжу в потолок и твержу:
надо измениться, дружочек

мне все безразлично даже Ты —
подумать только —
и я совсем не сержусь не злюсь
нисколько

и плевать, что кто-то звонит и колотит
в двери
по ночам мне снятся хорошие сны
я в них верю
подумать только — все кончилось так легко
и странно
так, как у Норвида: *ничего от тебя мне не надо,*
милая панна

Как хорошо сидя в кресле
сомкнуть утомленные светом очи
и ждать, пока золотой месяц
озарит фиолетовый сумрак ночи...

Комната тонет во мраке...
будто раковина полнится тихим шумом...
поскрипывают дверцы шкафа
вторя неспешным думам...

...темно и тепло и нет места страхам...
улетаю мыслями за окно
думаю, что я был монахом...

что, забыв про услады тела,
провел жизнь в келье
холодной и белой...

...так я думаю хотя... было иначе

Станислав Ружевич

Они были похожи на серый барельеф...

В середине 1920-го (Янушу было два года) родители переехали в Радомско. Городок каких много: тысяч двадцать жителей, ратуша, костел и барочный монастырь, заводы металлических изделий и фабрика гнутой мебели. Три частные гимназии, парк Святого Иоанна, предместье Ковалёвец с сотнями безработных, много польской и еврейской бедноты, базарная площадь, на которой иногда раскидывал шатер цирк Станевских. Главным развлечением были парады на празднике Конституции Третьего мая: под звуки оркестра маршировали школьники, члены военно-спортивных обществ и добровольной пожарной охраны. Вокруг было много интересных людей: соседи, учителя, один из последних живых участников восстания 1863 года Мицкевич, органист Фотыго-Фолянский, портной Ринальдо, владелец магазинчи-

ка "Тигр"... Время от времени сходил с ума бедный столяр Хершлик, по улице с топором в руке носился безумный Чечура. В городке был один-единственный кинотеатр "Кинема"; Януш часто туда ходил, а потом дома пересказывал фильмы — "Новые времена", "Война миров", "Самая опасная игра"... Бывали в Радомско и заезжие гости: то театр "Редута", то хор "Дана", то балет Парнелла, приезжали с лекциями Бой-Желенский, Зегадлович[1]. Такие события Януш старался не пропускать: он хотел знать все.

Отец рассказывал о своей молодости, о службе в царской армии в Ташкенте, об узбеках и верблюдах. Он сменил много профессий, в Радомско начал работать в суде, потом был секретарем суда в Ченстохове, куда четырнадцать лет ездил поездом. Мать каждое утро будила нас: "Мальчики... семь часов... пора собираться в школу..." Она стирала, готовила, штопала, ходила на родительские собрания, следила, чтобы вовремя было заплачено за учебу. Много читала: романы Сенкевича, Ожешко, Крашевского, Пруса; рассказывала нам, что в юности читала при свете луны.

Мы, трое подростков, обладающих зверским аппетитом, молниеносно снашивающих одежду и обувь, вечно куда-то спешили — дома нам не сиделось. Старший, Януш, самый живой и непоседливый, постоянно где-то бегал; домой возвращался с громогласным: "Есть хочется..." Особенно сильно аппетит у него разыгрывался, когда он был влюблен, а влюблялся Януш часто... Но голод терзал его не только в прямом смысле, это чувство распространялось на любовь, на жизнь, на людей.

Нас воспитывали семья и школа, которая в то время не ограничивалась вколачиванием в головы теоретических знаний. Мы жили в мире устойчивых ценностей. О любви к родине не говорили — это было столь же естественно, как и сама жизнь.

Обрывки воспоминаний. Мы сидим в зале "Кинемы" перед спектаклем "Молодой лес", в котором играет Януш. Я вижу, как он, в черном гимназическом мундирчике, перепоясанным широким ремнем, проходит через зрительный зал, и с гордостью говорю товарищам: это мой брат... Другая картинка. Перед уходом из дома Януш прячет в куртку шпаргалки по польскому, я недоумеваю: как же так, его не допустили

1. Тадеуш Бой-Желенский (1874—1941) — театральный критик, переводчик французской литературы, литературовед и писатель. Эмиль Зегадлович (1874—1941) — поэт, прозаик, драматург.

к экзаменам, а он носит шпаргалки одноклассникам? И через год: вручение аттестатов, растроганные родители возвращаются с выпускного вечера — Януш говорил от имени всех выпускников. Он всегда выступал на школьных собраниях, был заводилой на вечерах.

На именины и "анджейки"[1] Януш приглашал домой мальчиков и девочек (которые мне очень нравились). Танцевали под патефон; кому-то все время приходилось его заводить. На стене висела репродукция рисунка Черманского: Пилсудский стоит, опираясь на саблю. Когда Пилсудский умер, Януш вернулся из школы в слезах, осыпая бранью кого-то из одноклассников, который, узнав о смерти маршала, запрыгал от радости. Были и такие...

Каникулы мы проводили в родной деревне отца, красиво раскинувшейся среди лесов. В запущенном саду, окруженный старыми плодовыми деревьями, стоял дедов дом, откуда отец ушел, чтобы начать новую жизнь. <...> Лес, полный грибов и ягод, нагретые солнцем сосны, кусты ежевики вдоль придорожной канавы. В реке водилось много рыбы. На берегу стояла мельница, мы купались там около запруды. У нас было любимое место — "долина": заросший орешником овраг неподалеку от берега, среди кустов цветы, высокие травы, над чертополохом летали бабочки.

В 1936 году Януш выписал на летние месяцы "Польскую газету" и "Спортивное обозрение" — за газетами ходили на почту в соседний Осяков. Мы с жадностью набрасывались на новости с берлинской олимпиады, проходившей в тени гитлеровской свастики. От знакомых, живущих в Осякове, Януш приносил подшивки "Иллюстрированного еженедельника" за 1924—1926 годы: описание похорон Реймонта, фотографии периода майского переворота[2]... Вечер под звездным августовским небом, мы с родителями возвращаемся из клуба, где выступал бродячий иллюзионист, глотавший огонь и выпутывающийся из кандалов. Идем по лесной дороге, светит луна, с неба падают звезды, издалека доносятся звуки деревенского оркестра: в Радошевице гулянье... Потом мы засыпаем на сеновале — не зная, что счастливы.

Старшие, Януш и Тадеуш, были более близки, их связывали общие интересы, общие дела, занятия, в которых я еще не принимал участия. Марки, которые они оба собирали, кни-

1. Популярный среди польской молодежи народный обряд с гаданием в канун Дня святого Андрея.
2. Государственный переворот (май 1926), когда к власти пришли сторонники Пилсудского.

ги, которые они брали в ОРУ[1], совместные "инвестиции" (покупка коньков – я плакал от обиды: почему у меня нет? – хотя все равно потом коньки перешли ко мне)... Это они, мои братья, основали культурно-развлекательное общество "Каро", это у них были – настоящие! – боксерские перчатки, они вдвоем на Троицу ходили на ярмарку...

В гимназии Януш начал читать "Кузницу молодых"[2] и "Литературные известия". Иногда журнал служил ширмой, за которой можно было целоваться. Януш открыл для себя мир поэзии, Тувима и Вежинского, и сам начал писать. За стихотворение, отправленное на конкурс в журнал "Вооруженная Польша", получил награду; на эти деньги сшил себе первый костюм. Мы очень гордились братом.

Януша отличало спокойствие духа, безмятежность, он умел радоваться жизни. "Ведь, собственно, все это мое", – написал однажды в письме. Но бывал и нетерпелив, вспыльчив, иногда резок. Самые обычные дела умудрялся превращать в необычайно интересные, а то и невообразимо прекрасные.

Военную службу Януш проходил в училище подхорунжих при 27-м пехотном полку в Ченстохове. Он с юмором рассказывал про командиров и товарищей, про летний лагерь, где организовывал "самодеятельность". Для него военная служба не была "страданиями интеллигента".

Но вот чистое небо над Польшей заволокли темные тучи. Ранним утром нас разбудили взрывы, отец вскочил с дивана с криком: "Война!" Мы с Тадеушем посмеялись, но отец был прав: рвались бомбы, которые немцы сбросили на завод. Для Януша, подхорунжего запаса, война началась в окопах на берегу Варты, где заняла позиции 7-я пехотная дивизия. Семьи с маленькими детьми убегали из осыпаемого бомбами города; бежали и мы. Горели деревни. Горело небо. В чемодане у нас, среди прочих вещей, лежал мундир Януша (все подхорунжие обязаны были сшить за собственный счет парадный габардиновый мундир). Вернувшись в Радомско, мы увидели разбомбленную рыночную площадь, сгоревшие дома, развалины на улицах. В воздухе висел запах гари.

Началась жизнь в оккупации со всеми повседневными заботами военного времени: надо было доставать уголь, хлеб, соль, мыло. Гимназию закрыли. Нас тревожило отсутствие вестей от Януша. В ноябре он неожиданно пришел домой.

1. Общество рабочего университета (1923–1948) – социалистическая культурно-просветительская организация, в которую, в частности, входили молодежные организации.
2. Журнал школьной молодежи (1931–1936).

Исхудавший, в одежде с чужого плеча. Помню, как Януш сидит в кухне, мама моет ему в тазу ноги, а он рассказывает про разгром дивизии, про свои скитания, Львов, про профессора Ганшинеца, в чьей одежде вернулся в Радомско.

Первая военная зима была морозной и полуголодной. Януш работал где придется. Короткое время был продавцом в магазине. Дольше задержался в международной транспортно-экспедиторской фирме "К. Хартвиг", часто ездил в разные города. Эта служба была прикрытием настоящей работы, а фирма – явочным пунктом. Очень скоро в доме стала появляться местная подпольная газета, куда писали Януш с Тадеушем. Постоянно приходили товарищи Януша; застенчивого и храброго Зютека Михалека убьют в Освенциме, Купчинский уйдет в партизаны и погибнет в бою на Чертовой горе. В 1940 году Януш пытался через Венгрию пробраться на Запад; не получилось – опоздал на один день в условленное место; он очень из-за этого переживал.

Пока еще у нас был дом. Полный забот и тревог. Бедный, но полный радости. Мы пока еще были вместе. Отец вернулся на службу. Тадеуш пробовал разные профессии. Януш похвалил меня за то, что я пошел работать в слесарную мастерскую, но советовал не бросать учебу, заниматься по гимназической программе. Задавал мне сочинения: о Рее[1], о "Перчатке" Шиллера. Зная, что я интересуюсь кино, где-то добывал для меня годовые подшивки журнала "Кино". Пиджак от своего светлого костюма отдал Тадеушу, мне досталась перекрашенная в черный цвет блуза подхорунжего.

Станислав и Тадеуш

В Радомско было все больше арестов, в гетто убивали евреев; потом их всех вывезли и уничтожили. По Deutsche Strasse (бывшая улица Костюшко) расхаживал высокий гестаповец Паули, иногда с розовым или сиреневым гиацинтом в руке.

В середине 1941 года мы перебрались в Ченстохову, поселились в пригороде, с обсаженной каштанами дороги виден

1. Миколай Рей (1505–1569) – писатель и музыкант, политик и общественный деятель эпохи Возрождения.

был Ясногорский монастырь. Януш все реже бывал дома. Из Варшавы (кроме подпольной прессы) обычно привозил какую-нибудь новую книгу; помню, как он радовался, что достал "Надежду" Мальро[1]. Он много читал, играл с друзьями в покер, как всегда был влюблен, мурлыкал под нос популярные песенки; учил немецкий и французский.

Потом Януш уехал в Свольшевице, где жил в лесничестве (официально он там работал) у Юзефа Солтысяка, заместителя командира местного формирования АК; иногда приезжал домой в зеленом мундире лесника. В 1943-м перебрался в Пётрков, где возглавил 2-й отдел Пётрковского округа АК. Тогда по документам он был Збигневом Варнецким (подпольные псевдонимы "Збышек" и "Густав").

Когда нужно было "на всякий случай" исчезнуть из дому, я ехал к Янушу, а он направлял меня в какое-нибудь "спокойное" место. В Пётркове я жил у Казимеры Юстыновой, "Тещи", с 1939 года работавшей в подполье. Знал ли Януш, что в этом же самом доме, на чердаке, Теща прятала двух девушек, убежавших из гетто? Не знаю.

Тадеуш тогда ушел в лес, к партизанам.

Все чаще открытки и письма от Януша стали приходить из разных точек Рейха. Дома у нас иногда появлялись девушки связные с пачками антигитлеровских журналов "Der Soldat" и "Klabautermann". Януш не забывал о моем пристрастии к кино — привез мне из Берлина "Dramaturgie des Theaters und des Films" Готфрида Мюллера. В книге была закладка — программа берлинского "Wintergarten", Януш рассказывал мне о спектаклях. Книга с подчеркнутыми местами и программа до сих пор у меня.

Януш и Тадеуш в начале оккупации, 1940

Наше последнее Рождество в 1943-м. Дома собрались все, кроме Тадеуша: он был в лесу. В тот раз Януш показал мне свои фальшивые документы служащего немецкой полиции.

Не помню, когда мы виделись в последний раз. На Пасху 1944-го? Я проводил его на вокзал? Не помню. В июне перестали приходить письма. Наконец кто-то сообщил, что немцы

1. Роман Андре Мальро (1901—1976) о гражданской войне в Испании (1937).

схватили Януша в Лодзи. Януш в тюрьме, арестована целая группа аковцев, кто-то их предал. Время от времени до нас доходили слухи: он жив, организация подкупит охрану, арестованных обменяют на немцев. Шли недели, месяцы. Тадеуш вернулся из леса. Матери мы ничего не сказали. Она все дольше стояла у окна и смотрела на дорогу. Януш не появлялся.

В январе советские войска вытеснили немцев. Вскоре к нам приехал из Лодзи Збигнев Глиницкий, поручик авиации. Он сообщил, что Януша нет в живых: расстрелян вместе с товарищами 7 ноября. Глиницкий был задержан как свидетель по другому делу; он единственный из всей группы уцелел – бежал из эшелона. В Лодзи тогда произошел грандиозный провал: немцы схватили много сотрудников разведки. Устроили пародию судебного разбирательства: 20 октября обритых наголо арестованных в наручниках ввели в зал, и судебная "тройка" предъявила им обвинение в вооруженном выступлении против Рейха. Зачитали приговор. Все были приговорены к расстрелу.

Матери о смерти Януша мы не сказали. Чему-то в нас и вокруг нас пришел конец.

В разное время из разных источников мы узнали некоторые подробности. Януш был арестован 9 июня 1944 года. Последний комендант АК Лодзи подполковник Юзеф Столярский в 1975 году писал: "...Главную роль во всем этом сыграл осведомитель Борковский. Во 2-м отделе было свое центральное управление – бюро, куда приходили и откуда исходили приказы и документы. Возглавлял бюро Миколай Осташевский, псевдоним 'Миколай'. В феврале 1944 года на улице Килинского, 23, где помещалось бюро, гестапо устраивает засаду. Миколай пытается бежать, его убивают. При нем были документы. Борковский, который указал немцам этот адрес, по "счастливому" стечению обстоятельств уцелел... Это был переломный момент для округа, в том числе и для 'Двойки'. Вскоре по всему округу проходят аресты. Руководителя 2-го отдела Яблонского сменяет Януш Ружевич ('Густав')..."

Одна женщина, работавшая в "Двойке" рассказывала: "Мы были на совещании на Пётрковской. После совещания Густав должен был пойти в дом лодзинского фабриканта Хау и получить от его воспитанницы Ядвиги Сим конверт с какими-то документами. В том же доме была радиостанция. Едва Густав вышел на улицу, к нему подъехал черный лимузин, откуда выскочили трое гестаповцев. Густава схватили и втолкнули в лимузин, он ничего не успел сделать. Позже арестовали Халину Хау и Ядвигу Сим. О том, что произошло, нам сообщил Бонифаций, который провожал Густава – шел в нескольких шагах за ним..."

В октябре 46-го я прочитал в лодзинской газете о том, что на кладбище "Долы" будет проведена эксгумация. На этом кладбище немцы расстреливали бойцов АК и харцеров. Теперь было решено эксгумировать несколько десятков убитых. В сообщении перечислялись фамилии расстрелянных 7 ноября 1944 года. Среди них была фамилия Януша. Мы с его невестой Зулей пошли на кладбище. Народу собралось немного — мало кто надеялся отыскать и узнать своих близких. День был холодный и ветреный, моросил дождь. Вблизи каменной ограды уровень земли заметно ниже. Несколько мужчин начинают копать. Копали долго, наверно, часа полтора. Наконец на дне глубокого рва мы увидели темные очертания вросших в землю тел. Убитые, все со связанными руками, лежали друг на друге. Они были похожи на серый барельеф...

На следующий день мы пришли в кладбищенскую часовню. Трупы лежали в деревянных ящиках, темно-бурые, сплющенные... Похожие одна на другую маски. Остатки одежды. Януша мы узнали по форме головы, по зубам, рукам, ногтям. По черным бриджам. Я отрезал кусочек черной ткани. Помню, Януш был в этих бриджах, когда приезжал домой в последний раз.

18 ноября состоялись похороны. Были представители разных организаций, партий, делегации с венками, военные. Тридцать пять гробов. В двадцати — безымянные, неопознанные трупы. На похороны приехал Отец, он хотел в последний раз увидеть Януша. Мы приоткрыли крышку гроба. Отец наклонился и отпрянул, сдерживая слезы. Кто-то произносил речь, играл оркестр.

В 1980 году раздался телефонный звонок. Незнакомый мне лично Болеслав Яблонский попросил прийти к нему домой. "Надо кое-что рассказать..." Мы сидели в комнате; рассказывал он долго. Болеслав Яблонский, псевдоним "Билл", "тихо-темный"[1], дрался под Нарвиком, в Польшу заброшен в 1942-м. Возглавлял 2-й (разведывательный) отдел Лодзинского округа АК. В результате провала вынужден был покинуть Лодзь. Кто-то порекомендовал ему молодого Густава (Януша). Они встретились в середине апреля 1944 года в Варшаве. Билл назначил Густава своим заместителем, сказал, что в Лодзи он может поселиться у немки Ядвиги Кемпы, работавшей телефонисткой в полиции. Затем Яблонский уехал в Катовице, а Януш занял его место. До самого ареста жил по немецким документам. Много ездил — в Берлин, в

1. "Тихо-темными" называли бойцов польских вооруженных сил, подчинявшихся лондонскому эмигрантскому правительству, которых забрасывали в оккупированную Польшу с самолетов для участия в движении сопротивления.

Вену; были у него контакты в Познани, Калише, Торуне. Зашифрованные сообщения отправлялись в Англию. В немецком Красном Кресте были свои люди. В Лодзи большое содействие оказывали фольксдойчи[1], которые уже начали бояться за свою судьбу. Януш также участвовал в акции "Н"[2]. Был очень смелый и активный. После ареста сидел в тюрьме на улице Анстада. Его пытали. Была сделана попытка подкупить двух охранников. Неудачная. Посмертно Густаву присвоили звание капитана и наградили орденом Wirtuti Militari[3]... Я показываю Яблонскому фотографию Януша. Он? Да, это Густав.

Сам Билл через несколько дней после вступления русских был арестован, получил десять лет сибирских лагерей, вернулся на родину в октябре 1956-го.

Остались кое-какие стихи Януша, письма, фотографии, подлинные документы и поддельные кенкарты[4], пепельница — латунный кленовый лист. Мельница над рекой разрушилась, светлые облака и темные тучи плывут над "долиной" и над тюрьмой на улице Анстада. А ко мне постоянно возвращается, преследует меня та минута, когда на улице затормозил автомобиль, из которого выскочили гестаповцы: я слышу этот звук. Картина возникает в моем воображении иногда неожиданно, а иногда я воскрешаю ее намеренно. Это все было недавно, вчера. Януш с нами всегда, он здесь.

Из семейной переписки

Януш Ружевич — домой из училища подхорунжих

Ченстохова, 4.10.1938

Дорогие мои,

начинаю писать — не знаю, смогу ли сегодня закончить — мы уже 5-й день в училище — но еще ни разу не удалось выкроить время для письма. У нас столько занятий, что о письмах пока (потом, кажется, будет иначе) трудно думать.

(Впрочем, как говорит "мой" капрал: "Солдат создан не для того, чтобы думать, а чтобы слушать, что говорит капрал".) Эх,

1. Этнические немцы, живущие за пределами Германии. В период существования Третьего рейха (1933–1945) имели особый правовой статус как в самом Рейхе, так и в оккупированных и союзных странах.
2. Пропагандистская акция АК, направленная на немецких солдат.
3. Орден Воинской доблести.
4. В период оккупации документы, удостоверяющие личность.

что вы можете знать. Надо здесь побывать, чтобы понять, что такое армия. В воскресенье мы пошли — разумеется, колонной по четверо! — на матч — вы не представляете, сколько радости нам принесло иллюзорное ощущение свободы. Мы почти полностью отрезаны от мира, о происходящих событиях узнаем с опозданием на 2—3 дня. Да и зачем нам обо всем этом знать. Не это сейчас важно. Такие понятия, как талант, характер, способности, не имеют значения — значение имеет выносливость, подхалимаж, по всем правилам заправленная койка. Единственно и исключительно. А как сильно армия меняет человека... наверно, это письмо само за себя говорит. Писать я ведь всегда более-менее умел — а что теперь? Пишу первое, что приходит на ум, ни к селу ни к городу. Боюсь, вот-вот прогремит голос взводного: "Второй взвод, в две шеренги становись!" Вам наверняка интересно, как я провожу день. О! — в трудах. В 6 подъем — затем стелим постель, умываемся, одеваемся — завтрак — в 7.30 рапорт. С 7.30 до 11.30 полевые занятия (муштра, обучение стрельбе и т. д.) — в 12.02 обед — чистка оружия (в это время можно нас посещать) — с 2.05 лекции или практические занятия — в 6.00 приказ — затем ужин — после ужина до 9.00 время для самообразования, пишем, чиним обмундирование и т. д. — в 9.00 вечерняя зоря — вот вам целый день — так плотно забитый, что дальше некуда.

5.10.1938

Пользуюсь свободной минутой и наконец заканчиваю письмо. Кроме огромного объема работы — которую выполняет каждый из нас — на меня взвалили обязанность писать "Хронику" ДКПЗ[1] и "Голос из-под одеяла" — еще, вероятно, введут в редколлегию "Подхорунжего". В подробностях обо всем я, конечно, Вам потом расскажу, описать это слишком трудно!

А теперь кое-что для Тадека — представь, в училище я встретился с ченстоховским "поэтом", чье стихотворение когда-то "расчехвостил" в "Школьном мире".

Пшиглов, 20.08.1939

Дорогая Мамочка,

летние "каникулы" закончились. Работы немного прибавилось, настроение отличное. Домой, думаю, попаду нескоро, разве что... как-нибудь изловчусь. Больше всего нас сейчас

1. Дивизионные курсы подхорунжих запаса. (*Прим. Т. Ружевича.*)

интересует, когда мы вернемся "на гражданку". Напиши, Мамочка, как будет в этом году с Тадеком.

Как всегда, в письме длинная литания просьб. Я — "бедный" и жду посылку, в которой, кроме копченой колбасы, мне хотелось бы обнаружить немного кускового сахара, лезвия, почтовую бумагу и конверты, жестяную коробочку с зубным порошком, немного фруктов и немного денег. Посылку хорошо бы получить как можно быстрее — я очень "остро" ощущаю отсутствие всего упомянутого. Я здоров как бык — и аппетит у меня зверский — думаю обо всех Вас чаще, чем Вам кажется. Но сейчас надо идти в Сулейов судить конные состязания, поэтому заканчиваю.

Маму и Папу крепко целую — и в щечку, и ручку.

Ваш Януш.

Дорогой Тадек[1],

Ты должен гордиться, что я постоянно о Тебе думаю и часто Тебе пишу.

Итак, знай же, старик, что брат Твой (вроде бы я!) сейчас в унтер-офицерском училище (это секрет!) вроде бы как один из самых способных подхорунжих. Кое-что меня, правда, бесит — чертовски не люблю школьные порядки. Командир — самый злой пес в полку; ну об этом я, возможно, когда-нибудь Тебе расскажу. А Ты напиши мне, как у Тебя обстоят дела с учебой. Только обязательно. Ты ведь понимаешь — это вещи серьезные.

Пришли мне какую-нибудь книжку (можно что-нибудь из беллетристики, детектив, стихи, что-нибудь по теории литературы и т. д.), ну и какую-нибудь литературную газету, хотя бы "Наше слово", может, у тебя есть "Ведомости" или что-то в этом роде, здесь иногда целую неделю не видишь газеты, нетрудно и взбелениться.

Ну вот, нужно идти на мессу. Целую, жму лапу.

Януш.

Пиши!

Пускай "С. Рох"[2] тоже что-нибудь напишет! Привет Твоей "даме из Заверче".

1. Написано на обороте письма к матери от 20.08.1939. (*Прим. Т. Ружевича.*)
2. Станислав Рох Ружевич, младший брат. (*Прим. Т. Ружевича.*)

Весна 1943

Дорогой Януш!

Давно уже собирался Тебе написать и написал, но письмо по разным причинам не дошло. Твое пребывание в Р[адомско] отозвалось громким эхом. Наряд Твой произвел фурор, хотя, смею предположить, вряд ли Ты к этому стремился. Признаюсь, меня мучают угрызения совести. Я ничем не доказал, что помнил про Твои именины, но, поверь, лишь потому, что не знал, как это событие отметить. Я не шучу. Полагаю, Тебе приятно будет узнать, как тепло я о Тебе думал. Надеюсь, в июне увидимся. Ты приедешь домой на Троицу? В Ч[енстохове] все по-старому. День как день и ночь как ночь. Отец ходит в пиджаке Сташека, Сташек — в Твоем, а я, наконец, в своем. Мать целый день с удовольствием возится в саду. Загорела и хорошо выглядит.

<...> Что касается меня, то работой (?) я доволен, имею дело с людьми порядочными, часто очень добрыми и, соответственно, ограниченными. Чувствую себя хорошо, хотя "метафизика" по-прежнему не выпускает меня из своих когтей. Работаю ли я над собой, что "поделываю"? Об этом умолчу. Noli me tangere[1]. Пишу мало. Можно сказать, совсем не пишу. Читать читаю, но немного. Думать думаю, правда сам не знаю о чем. Ум мой напоминает швейцарский сыр. Башня из слоновой кости, в которой я просидел взаперти столько лет, меняет форму и все больше смахивает на ящик для мыла.

Мне нестерпимо хочется, чтобы кто-нибудь разнес меня в пух и прах на каком-нибудь увлекательном диспуте — вот бы посмотреть на человека, который веселится, потому что оказался мне не по зубам. Подумать только, старик, ведь мы были — и остаемся — обречены на симпатичное, но интеллектуально бесплодное окружение! Интересно, как у Тебя обстоят с этим дела, хотя, зная Твой образ жизни, могу себе представить. До сих пор никак не возьмусь за Твоего "страшного" "Короля-Духа", да и сил на него у меня нет. Напиши, когда выберешься к нам, когда у Тебя будет отпуск и как собираешься его провести. Я тут недавно кое-что написал, интересно, понравится ли Тебе, мне правда о таких вещах не с кем погово-

1. Не тронь меня (*лат.*).

рить. Сам знаешь: все сведется к точкам и запятым, а уж метафоры... упаси бог, никто и не поймет. Извини, что пишу на таком клочке, но почтовой бумаги у меня нет.

Все мы Тебя целуем, будь здоров.

Тадеуш.

P. S.

Привет Теще и девочкам.

N. N.

связная АК

Воспоминания о "Густаве"

С Янушем Ружевичем (Густавом) мы познакомились в Лодзи во время оккупации. Я сразу была очарована его умом, остроумием, живостью, широтой интересов. <...> Думаю, именно всесторонний ум был источником его огромного обаяния. К тому же он был очень хорош собой: цыганская шевелюра, прекрасной формы голова с красивым профилем, подтянутый, ловкий. <...> Януш сокрушался, что из-за своей разносторонности во всем был дилетантом. "Мне бы хотелось достичь совершенства в чем-то одном, — говорил он, — хотя бы стать циркачом и виртуозно ходить по канату; а я занимаюсь всем и во всем дилетант". <...>

Вспоминается наш разговор перед самым его арестом в июне 1944 года. Это даже трудно назвать разговором: я была всего лишь слушателем, которому он поверял свои мысли.

"Больше всего мне жаль мать!" — вдруг ни с того ни с сего сказал он, будто предчувствуя, что произойдет.

А потом стал рассказывать о своем брате Тадеуше, о том, как он его любит и как восхищается этим поэтом, который в партизанском рюкзаке носит толстый том стихов, о том, что у него нет никого ближе. Видно было, как он гордится Тадеушем и какая тесная дружба связывает братьев-поэтов. Потому что Януш Ружевич, безусловно, был поэтом — благодаря своей впечатлительной и тонкой натуре, взглядам на мир и умению радоваться жизни.

Он создавал вокруг себя атмосферу беззаботности, удивлявшую тех, кто знал, какие трудные задачи ставит перед ним конспиративная работа. Помню забавные комментарии Густава, когда он просматривал мою домашнюю библиотеку.

Книги притягивали его как магнит, он листал чуть ли не каждую, уверяя меня, что так ведет себя в любом доме, где есть книжки. Его всегда интересные суждения о литературе и искусстве свидетельствовали о знании предмета; оценки были глубокими и критическими, неизменно пронизанными юмором, что, вкупе с прекрасным литературным языком и великолепной дикцией, дарило собеседнику истинное духовное наслаждение.

Только во время нашего последнего разговора Ружевич был совсем другим — серьезным, погруженным в тревожные мысли о матери и брате. В тот вечер он вел себя так, будто уже почувствовал прикосновение крыльев ангела смерти.

Я слышала, что Густав погиб как герой, как святой, выказавший — несмотря на фашистские методы допроса, в какой-то момент чуть его не сломившие, — нечеловеческую силу духа, которую он сохранил до конца.

Халина Кломб-Шварцова

Воспоминания о Густаве

С Густавом мы познакомились, кажется, весной 1943 года. Это был худощавый молодой человек, живой, непоседливый, умный, темноглазый, с правильными чертами лица, в общении очень непосредственный, дружелюбный. Он тогда (поскольку хорошо знал немецкий) готовился к работе на территории Рейха. В Лодзи мы виделись всего пару раз, говорили, насколько помню, о текущих делах и уж наверняка меньше всего рассказывали о себе. Он упоминал мать и братьев, но, разумеется, я не знала ни его фамилии, ни откуда он родом; не знала даже, что он пишет стихи... Ведь на дворе был 1943 год, усиление фашистского террора, жили мы как на вулкане, велика была вероятность того, что за нами следят, что в чужом мире немецкого языка нас на каждом шагу подстерегает опасность.

В назначенное время Густав приехал в Берлин, где я уже несколько месяцев "проживала". Кажется, это было ранней осенью. Мы встретились в каком-то кафе на Фридрихштрассе. Густав был в коротком пальто, а точнее кожаной куртке и высоких сапогах. Очень оживленный, не выказывающий ни малейшего страха или неуверенности в чужой обстановке. Помню такую деталь: когда кельнер положил на столик счет, Густав хотел дать ему на чай одну или две марки, я же попро-

сила, чтобы он дал 50 или 20 пфеннигов, не больше, — такая расточительность в немецкой столице в 1943 году могла показаться подозрительной, привлечь к нам внимание какого-нибудь тайного агента, которых тогда вертелось вокруг без счету... Моей задачей было облегчить Густаву нелегкую "адаптацию" к новой жизни. <...>

Вспоминаю один наш с ним разговор. Густав говорил что-то о Мата Хари и других, подобных нам, разведчиках. В частности, он сказал, что не ждет впереди ничего хорошего: если мы не погибнем от рук немцев и переживем войну, то в Свободной Польше нам придется скрывать свою прошлую деятельность. Густав считал, что опасно знать слишком много: успешного разведчика могут убрать и свои, бойцов невидимого фронта часто ждала такая участь... Его слова глубоко запали мне в память. Возможно, поэтому я не рассчитывала на легкую жизнь после войны и мне проще было "приспособиться" к новым условиям.

Последний раз я видела Густава в необычных обстоятельствах. Осень 1944-го. Гестапо в Лодзи. Я сидела в следственной тюрьме для женщин и знала, что в мужской тюрьме сидят Густав, Глина и Марек. В конце сентября или начале октября утром меня в "воронке" отвезли в здание гестапо на улице Анстада. <...>

Меня ввели в помещение, находившееся этажом выше, чем комната 26, где проводили допросы. Там было что-то вроде фотоателье. В этих неожиданных "декорациях" я увидела Глину, Марека и Густава. Все они были довольно бодры и, как мне показалось, спокойны, и гестаповцы вели себя спокойнее, чем обычно. Это показалось мне подозрительным. Неужели ребята согласились "сотрудничать"? Вскоре все выяснилось. Густав шепнул мне, что нас фотографируют, так как ведутся переговоры: возможно, нас обменяют на схваченных в Англии немецких шпионов. Эта невероятная версия начала казаться правдоподобной, когда гестаповский фотограф стал уговаривать меня улыбнуться и вообще старался, чтобы на снимках мы хорошо выглядели.

Перед тем, как попрощаться, Густав попросил меня подарить ему талисман, который я получила от сокамерниц: это был трубочист, вырезанный из черного фетра, красное сердечко и зеленый листок клевера. Когда он брал у меня этот талисман, мне показалось, что в нем теплится искорка надежды...

Уже после освобождения я узнала от Глины, что Густав был расстрелян за несколько недель до освобождения Лодзи советской армией и нашим войском.

Януш Ружевич

Молитва

Боже — Солдатский Боже!
Губ моих, рук и глаз,
и сердца моего
услышь молитву.
Выслушай меня,
отягченного буйством зелени,
опоенного духом польских пашен, садов и лесов.
Ты повелел мне стеречь
полет стрижей и ласточкины гнезда,
Ты повелел мне спасать
яблоневый цвет,
подсолнуха сны золотые,
запутавшееся в паутине солнце,
прохладу в тени источника
...чтоб истомленному жаждой никто не помешал
родниковой воды напиться...
Я позаботиться должен,
чтобы над хатами в полдень дымки расцветали,
я должен защитить своей грудью
траву на покосе, стог сена, аиста клекот
и звон колокола, над костелом плывущий,
созывающий на утреннюю молитву.
И звезды польские,
что ночью, будто ветер в органе, играют в сирени,
и польские снега, и дожди,
и плетни, канавы, проселки,
голубое льняное поле
и рубежи Польши
Ты поручил мне, Всевышний,
на страже стоять неусыпно,
дай же
сердцу силу, легким — дыханье, ногам — крепость.
Чтобы я, слуга Твой, сохранил дары земные,
чтобы выдержал,
не сломался.
О Боже...
Помоги мне, Пресвятая Дева Мария,
и Ты, святой Георгий. Аминь.

Роса Монтеро

Истории страсти

Главы из книги

Перевод с испанского и вступление Марины Киеня

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему", — писал Лев Николаевич Толстой. А знаменитые семьи — счастливы ли они? Не стоят ли талант, призвание, историческая миссия на пути к простому человеческому счастью?

А кстати, что делает семьей мужчину и женщину, делящих ложе? Штамп в документах, запись, выведенная равнодушной рукой муниципального служащего? Нет, слишком мало, слишком просто. Семья — это когда вместе в болезни и в здравии, в богатстве и в нищете, в радости и в горе (но чаще почему-то в горе). Семья — это общая судьба, а вовсе не лиловый кружок печати.

Но поскольку слава в веках дорого стоит, за нее многие готовы поступиться такими бесценными сокровищами, как любовь и благополучие близких. И вот один открывает новые земли, обретает несметные сокровища, но теряет единственного верного человека. Другой, прислушиваясь к зову вечности, не слышит мольбы о помощи из уст любящей женщины. Третий, жадно протягивая руки к короне, отталкивает родную дочь.

© 1999, Rosa Montero
© Santillana Ediciones Generales S. L., 2000
© Марина Киеня. Перевод, вступление, 2011

Однако если положить на одну чашу весов королевские мантии, известность и власть, а на другую — мир в семье, улыбки и благодарные взгляды, какая из них перевесит? Не слишком ли велика цена, которую приходится платить за то, чтобы твое имя осталось на устах у потомков? На эти непростые вопросы и пытается ответить испанская писательница Роса Монтеро в своей книге "Истории страсти".

Хуана Безумная и Филипп Красивый

Не так уж безумна, не так уж красив

ГОВОРЯТ, что ревнивый нрав и одержимость в любви достались Хуане Безумной по наследству. Ее мать, великая Изабелла Католическая, обожала хитреца Фердинанда ("она без памяти любила короля и ревновала его сверх всякой меры", — пишут хронисты той эпохи) и устраивала бурные сцены со слезами и криками всякий раз, когда супруг изменял ей, а случалось это нередко. Да и матушка Католической королевы, Изабелла Португальская, вдова Хуана II, провела последние сорок два года своей жизни взаперти в замке Аревало, отчаянно призывая отнюдь не законного супруга, а некоего дона Альваро, предположительно дона Альваро де Луну, могущественного фаворита Хуана II, впавшего в немилость и обезглавленного королем. В детстве Хуана вместе с Изабеллой несколько раз навещала безумную бабушку, не зная еще, что злодейка-судьба готовит ей такую же участь.

Европа переживала в ту пору смутные времена, захватывающие и страшные одновременно: великие замыслы и коварные интриги, мечтатели и отравители, суеверия и жажда научных знаний, присущая Возрождению. То была эпоха Коперника, Леонардо да Винчи, Луиса Вивеса, Эразма Роттердамского, но также и эпоха Инквизиции, эпоха семейства Борджиа. Кстати, Фердинанд Католический, вероломный, хитрый, порочный и изворотливый, занимал не последнее место среди сиятельных злодеев. Считается, что он был одним из государственных деятелей, вдохновивших Никколо Макиавелли на написание трактата "Государь" (первым и основным вдохновителем стал Чезаре Борджиа).

Изабелла Католическая, гораздо более образованная, чем ее супруг, окружила себя просвещенным двором, который по праву стяжал громкую славу среди современников благодаря великолепной коллекции картин и богатейшей библиотеке, где хранились произведения Тита Ливия, Вергилия, святого Августина и Боккаччо. Она привечала известных итальян-

ских гуманистов и завела во дворце оркестр. В этой изысканной обстановке юная Хуана получила самое блестящее образование. Когда в шестнадцать лет ее выдали замуж за Филиппа, герцога Бургундского, эрцгерцога Австрии, девушка свободно говорила и писала на латыни, обладала изящным слогом, хорошо танцевала и превосходно играла на нескольких музыкальных инструментах, например, на клавикордах и на монокорде. Покладистая и благонравная инфанта была, по свидетельствам современников, самой красивой дочерью Изабеллы и Фердинанда. С портретов той поры туманным воловьим взором смотрит на нас круглолицая — в мать — девица с красивыми голубыми глазами, маленьким пухлым ротиком и длинноватым носом. Впрочем, на более поздних изображениях взгляд принцессы полон муки, а в лице читаются боль и решимость.

Разумеется, Хуана не знала своего жениха. Брак с Филиппом был всего лишь очередным звеном в амбициозной и изощренной матримониальной политике, которую проводила христианнейшая королевская чета. Старшую дочь, Изабеллу, выдали за наследника португальского престола; Каталина вышла замуж за английского принца Артура; Хуан, единственный сын Изабеллы и Фердинанда, женился на принцессе Маргарет, дочери императора Максимилиана Австрийского, и, наконец, Хуану просватали за брата Маргарет, эрцгерцога Филиппа, который в то время уже правил Бургундией и Фландрией. Таким образом, устроив брачное ложе всем своим детям, христианнейшие монархи имели основания надеяться, что их потомки станут править миром.

И вот в 1496 году Хуана отправилась во Фландрию на встречу с суженым; ее сопровождала свита из пятнадцати тысяч человек на ста двадцати кораблях: Изабелле и Фердинанду хотелось произвести впечатление. С будущим супругом принцесса впервые увиделась в монастыре недалеко от Антверпена. Восемнадцатилетний Филипп и его шестнадцатилетняя невеста с первого взгляда воспылали друг к другу страстью. Хотя свадьба должна была состояться через четыре дня, эрцгерцог вызвал капеллана и пожелал венчаться немедленно — ему не терпелось разделить ложе с белокурой испанской принцессой. Юная цветущая Хуана (железное здоровье впоследствии станет ее проклятием) выглядела крайне соблазнительно. С современной точки зрения, Филипп Красивый, губастый, как истинный Габсбург, с крупным носом и пухлыми щеками, едва ли мог бы считаться красавцем. Однако он был подвижным и жизнелюбивым, обожал турниры, танцы и игру в мяч. Хуана совершенно потеряла голову. Ве-

роятно, в первое время молодые люди подчинялись исключительно голосу плоти, поскольку ни один из них не говорил на языке другого.

Сразу после замужества принцесса угодила в сети сложных интриг и корыстных интересов, непонятных и чуждых бедняжке. Чтобы не пересказывать этой запутанной и долгой истории, скажу только, что за шахматной доской, с которой можно сравнить Европу тех лет, собрались искусные игроки: император Максимилиан, король Франции Людовик XII и испанские христианнейшие монархи. Каждый во что бы то ни стало стремился помешать господству соперников и утвердить могущество собственной державы. Ради этого они шли на любые уловки и с поразительной легкостью заключали альянсы со вчерашними врагами. На беду Хуане, всем им непременно хотелось заручиться поддержкой Фландрии.

Изабелла и Фердинанд настойчиво уговаривали дочь перетянуть Филиппа на сторону испанской короны, но тот склонялся к союзу с Францией, враждовавшей с Испанией за господство над Неаполем. Вы еще не запутались? Так вот, Хуана, послушная любящая супруга, оставалась в далеком Брюсселе и едва ли подходила сиятельным родителям на роль посредницы. Она во всем подчинялась мужу и наслаждалась безмятежной жизнью. В положенный срок инфанта произвела на свет девочку и теперь снова была в положении. Впрочем, беременность не мешала ей веселиться на балах и праздниках; во время одного из них у Хуаны начались схватки, роженицу уложили в туалетной комнате, и вскоре это непрезентабельное помещение огласил крик младенца, которому суждено было стать императором Карлом I. Пока дела складывались вполне благополучно.

Но вот счастье отвернулось от молодой женщины. Неожиданно скончался ее брат, наследный принц Хуан, а спустя несколько месяцев его жена разрешилась от бремени мертвым ребенком. Потом умерла родами инфанта Изабелла, а ее сын не дожил до трех лет. Четыре смерти, последовавшие одна за другой, свели на нет все успехи матримониальной политики Фердинанда и Изабеллы (муж Каталины, английский принц Артур, тоже отошел в мир иной), и королевский двор погрузился в глубокий траур. Трагический сбой в преемственности сделал Хуану единственной наследницей корон Арагона и Кастилии. Несчастная была обречена.

Видя небывалый взлет жены, Филипп стал мечтать об испанском троне, или точнее, о присоединении Испании к Австрийской империи. Но тяжело больная королева Изабелла стояла одной ногой в могиле, и эрцгерцог подозревал, что,

овдовев, Фердинанд не захочет уступить корону дочери. Вполне обоснованное подозрение, поскольку Фердинанд действительно не собирался упускать из рук Кастилию. Хуана попала под перекрестный огонь чужих амбиций.

Самое ужасное началось в 1501 году, когда Хуана и Филипп отправились в Испанию — их должны были провозгласить наследниками престола. Сначала все как будто шло гладко: король и королева, как подобает приветливым любящим родственникам, встретили зятя ласково. И немедленно попытались перетянуть его на свою сторону, восстановив против Франции. Почувствовав себя загнанным в угол, эрцгерцог удалил из своей свиты всех единомышленников Христианнейших монархов и заключил союз с епископом Безансонским, верным сторонником Людовика XII. Однако епископ неожиданно заболел и в одночасье скончался. Филипп видел его агонию и не сомневался, что несчастного отравили. Опасаясь за свою жизнь, эрцгерцог решил как можно скорее покинуть Испанию.

И тогда Изабелле пришла в голову мысль использовать Хуану в борьбе против зятя. Поскольку инфанта находилась на седьмом месяце беременности, мать, под предлогом заботы о здоровье дочери, стала уговаривать ее остаться и задержать в Испании Филиппа. Однако эрцгерцог был напуган и решил, что если жена не может сопровождать его, пусть поживет у родителей одна, пока не родит. Между супругами произошла бурная ссора, но Филиппу удалось уехать (или, скорее, бежать) лишь через два месяца, поскольку Фердинанд распорядился не давать ему лошадей.

От отчаяния у принцессы случился первый приступ депрессии, она на время потеряла дар речи и словно окаменела. Впрочем, рожала Хуана легко и в марте, произведя на свет очередного младенца, немного ожила: бедняжка искренне верила отговоркам матери и думала, что теперь, когда роды остались позади, родители прикажут снарядить флот и отправят ее во Фландрию к мужу — по суше добраться туда было невозможно из-за войны между Испанией и Францией.

Но дни проходили в пустом ожидании, а Хуане ничего не объясняли и обращались с ней, как со слабоумной. В тревогах миновало лето, самое подходящее время для морского путешествия, и наступила осень. Теперь инфанта и правда была не в себе — она решила, что родители удерживают ее нарочно, сговорившись с Филиппом, который в Брюсселе, должно быть, спит со всеми фрейлинами подряд. Эти навязчивые подозрения трудно назвать беспочвенными, поскольку Хуану действительно *удерживали нарочно*, только не по во-

ле мужа, а по решению отца с матерью, ни за что не желавших отпускать дочь во Фландрию.

Хуану, точно пленницу, заперли в замке Мота. Она не ела, не пила, перестала мыться. Патриция Хайсмит, знаток самых темных закоулков человеческой души, утверждает, что, оказавшись в невыносимых обстоятельствах, мужчина направляет агрессию на других, а женщина — на себя. Хуане выпала горькая доля: с ней дурно обращались, ею помыкали и манипулировали самым бессовестным образом; в ответ на столь жестокое давление несчастная отреагировала единственным доступным ей способом — самоистязанием. Крепкое здоровье спасло ее от гибели, но в то же время продлило страдания.

Находясь взаперти в замке Мота, инфанта получила письмо от Филиппа: эрцгерцог настойчиво просил ее вернуться во Фландрию. Так значит, супруг не участвовал в сговоре! Окрыленная, Хуана велела готовиться к путешествию. Однако епископ Фонсека, по приказу Изабеллы, силой вынудил принцессу остаться: отобрал лошадей, распорядился поднять разводной мост и запереть ворота, чтобы не дать узнице уйти пешком. У королевы Фландрии, наследницы престолов Арагона и Кастилии, не оказалось рядом ни одного верного помощника! Хуана плакала, кричала, царапалась, оскорбляла Фонсеку, отказывалась вернуться в свои покои — ее никто не слушал. Всю холодную ноябрьскую ночь принцесса простояла под открытым небом без теплой одежды. То была единственная доступная ей форма протеста. Но именно из-за этих вполне объяснимых поступков отчаявшуюся женщину сочли безумной.

И снова началась депрессия, сопровождавшаяся приступами оцепенения. Наконец, после нескольких месяцев невыносимых страданий, от Филиппа прибыл гонец с приказом немедленно доставить Хуану во Фландрию. Изабелле и Фердинанду все-таки пришлось отпустить от себя дочь, которая пробыла в разлуке с мужем полтора года.

Увы, бедняжка не смогла до конца оправиться от пережитых потрясений, а дальнейшие события и вовсе не способствовали ее выздоровлению. За полтора года Филипп переменился: влюбился во фрейлину, златовласую красавицу-фламандку. Навязчивый кошмар обернулся явью. Однажды Хуана застала красотку за чтением любовной записки и потребовала отдать ей послание. Но фрейлина полагала себя в праве не подчиниться госпоже и проглотила бумажку. Тогда разъяренная испанка набросилась на соперницу, остригла ей косы и расцарапала ножницами лицо. Узнав об этом, Филипп рассвирепел и побил жену. Жизнь Хуаны превратилась в ад.

С этих пор Филипп стал открыто изменять жене, всячески выказывая ей свое пренебрежение, а Хуана, как это часто случается, все сильнее и болезненнее привязывалась к мужу. Эрцгерцог надолго запирал инфанту в ее комнатах, и несчастная ночи напролет колотила в дверь, мешая Филиппу наслаждаться любовными утехами. Правда, изредка супруги все-таки делили ложе, и Хуана исправно рожала. Всего она произвела на свет шестерых здоровых детей и не похоронила ни одного — рекорд по тем временам. Стремясь оправдать свое разгульное поведение, эрцгерцог вызвал к себе испанского придворного, велел ему занести в особый дневник все выходки Хуаны, а потом послал записи христианнейшим монархам. Дневник этот не сохранился, но свидетельства, которые он содержал, видимо, были настолько красноречивыми, что после смерти Изабеллы Фердинанд использовал их, чтобы объявить дочь недееспособной и принять регентство. Мало того, и отец, и муж, интригуя друг против друга, пытались манипулировать инфантой, принуждая ее подписывать всевозможные грамоты и указы, что, разумеется, лишь усиливало душевное смятение больной. Впрочем, посреди этой смуты Хуана вела себя с удивительной для неуравновешенного человека стойкостью и до конца хранила верность Фердинанду, этому недостойному отцу, который столько раз ее предавал.

После смерти Изабеллы Филипп немедленно прибыл в Испанию, спеша предъявить свои права на корону. Разумеется, эрцгерцога сопровождала жена, хотя к тому времени ревность окончательно завладела ею: прежде чем взойти на корабль, принцесса потребовала, чтобы на борту не было ни одной женщины. В Испании Филипп и Фердинанд договорились признать Хуану недееспособной и уже приготовились начать войну за трон, как вдруг эрцгерцог, находясь в Бургосе, тяжело занемог. Хуана преданно ухаживала за мужем, ни на минуту не отходя от постели больного. Теперь Филипп боялся, что его отравит *жена* (настолько невыносимыми стали их отношения), и несчастная самоотверженно глотала все прописанные супругу лекарства, хотя сама находилась на пятом месяце беременности. Однако усилия врачей оказались напрасными: пролежав в жару шесть дней, Филипп скончался. Хуана не проронила ни слезинки — в минуты сильных душевных потрясений на нее обычно находил столбняк.

Мрачная легенда гласит, что от любви и скорби вдова окончательно лишилась рассудка; что будто бы она приказала извлечь из могилы тело супруга, похороненного в картезианском монастыре Мирафлорес, и каждую неделю открывала гроб, разворачивала саван и целовала покойному ноги, не об-

ращая внимания на зловоние: труп был набальзамирован не слишком умело. А потом, когда эпидемия чумы в Бургосе вынудила ее покинуть город, Хуана увезла с собой тело Филиппа и чуть ли не два года металась по Испании в сопровождении мрачного кортежа, отдыхая днем и пускаясь в путь ночью.

Впрочем, Правдин[1], автор вполне убедительной биографии Хуаны, дает более правдоподобное, хотя не менее удручающее описание тех событий. Во-первых, вдова ходила в монастырь только дважды и поднимала крышку гроба исключительно из страха, что тело мужа могли похитить. А во-вторых, она решила перевезти останки из Бургоса в Гранаду, надеясь на заступничество верных сторонников-дворян из Андалусии. Несчастная не сомневалась, что кардинал Сиснерос и Фердинанд хотят запереть ее как буйно помешанную, и пыталась избежать этой участи. Но в дороге у Хуаны начались роды, и враги настигли траурный кортеж. Теперь она категорически отказывалась останавливаться в замках или укрепленных городах, понимая, что это конец. Кроме того, наследница престола не захотела уступать корону отцу, желая самостоятельно править страной. Наконец Фердинанду все же удалось заточить дочь в замке Тордесильяс — одинокую и затравленную, окруженную доносчиками, неразлучную с останками мужа. Хуане было тогда двадцать девять лет.

На свободу она больше не вышла. Формально Хуана считалась королевой, пользовалась симпатиями у народа, а потому была опасна и подвергалась самому бесчеловечному обращению. Многие годы ее держали в темных внутренних покоях без окон, чтобы узница не могла позвать на помощь. Тюремщикам позволялось "применять веревку" (связывать, стегать или пытать?), а также "наставлять" (бить, наказывать) свою жертву. Умер Фердинанд, но Хуане ничего не сказали, опасаясь, что она предъявит законные права на трон. О кончине отца пленница замка Тордесильяс узнала лишь несколько лет спустя, когда некоронованной королеве пришли поклониться Падилья и его соратники, дворяне-комунерос, которые взбунтовались против фламандского засилья, наступившего при императоре Карле I. Сорокалетняя Хуана вела себя вполне разумно, благосклонно приняла мятежников, но отказалась подписывать их петицию, не желая идти против сына. Восстание захлебнулось, а вместе с ним канула в небы-

1. Михаил Правдин (родился в 1884 году на Украине, учился в Германии) — литературный критик, автор книги "Хуана Безумная" (Juana La Loca. — Barcelona: Ed. Juventud, 1953, 1985). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

тие мощная демократическая система кастильских общин, сметенная авторитарным режимом абсолютизма. Двери в мир свободных людей навсегда захлопнулись перед Хуаной.

Она снова оказалась взаперти, терзаемая отчаянием и одиночеством. Тело, наделенное крепким здоровьем, отказывалось умирать, а душа все больше погружалась во мрак, что, впрочем, в подобных обстоятельствах и не удивительно. Последняя королева Кастилии скончалась в 1555 году, разбитая параличом, мучимая невыносимыми болями в ногах, пораженных гангреной. Хуана прожила на свете семьдесят семь лет, сорок семь из них в замке Тордесильяс. А неподалеку, в монастыре святой Клары, дожидались погребения неумело набальзамированные останки ее мужа.

Дэшил Хэммет и Лилиан Хеллман

Сильнее плоти

ЧТО связывает влюбленных крепче, чем секс, сильнее, чем обморочное влечение плоти? Возможно, только горе, общая боль. И нежность, которая сквозь эту боль пробивается. Необычную пару – гениального создателя жанра "крутого детектива" Дэшила Хэммета и драматурга Лилиан Хеллман – объединяли страдания и глубокая нежность. Их отношения длились три десятилетия, хотя кров они делили редко и оба заводили интрижки на стороне. Лилиан пережила Дэшила на пятнадцать лет. Оглядываясь назад, она *сочинила* в своих мемуарах историю всепоглощающей светлой любви. На самом деле все обстояло иначе, но связь действительно была настолько прочной, что только смерть смогла разлучить эти сердца. Видимо то, что не давало им расстаться (тоска, недостижимые мечты о простом человеческом счастье, нужда, разочарование), обычно и называют любовью.

Лилиан была некрасивой – ужасно некрасивой, просто уродиной. Она появилась на свет в 1905 году в семье небогатого еврея-коммивояжера и всегда тяготилась и еврейством, и бедностью, и, в особенности, сознанием своей непривлекательности. С детства обладая своенравным, совершенно несносным характером, с годами Хеллман превратилась в отважную и порывистую юную особу. Молодость ее пришлась на бурные, вольные двадцатые годы, так что Лилиан, как и многие женщины того времени, хватала жизнь пригоршнями. Курила, сквернословила, пила; играла в покер, точно завзятый шулер, и крутила романы со всеми интересными мужчинами подряд. Побед у этой ум-

ной, дерзкой, обаятельной девушки было немало. Волосы она красила в красный цвет, одевалась по последней моде и слыла большой искусницей в постели. Короче говоря, настоящий гренадер в юбке, как назовет ее позже Дэшил Хэммет.

А он родился в 1894-м и был красивым — очень красивым, настоящим красавцем. Под два метра ростом, с двадцати пяти лет совершенно седой. Правда, к концу жизни болезни и пьянство превратили этого удальца в ходячий скелет, не утративший, впрочем, присущей ему элегантности. Семья Дэшила жила еще в меньшем достатке, чем семейство Лилиан, так что подростком мальчик бросил учебу и стал зарабатывать на хлеб насущный. Он продавал газеты, служил посыльным и мелким клерком. Почти десять лет проработал сыщиком в знаменитом детективном агентстве Пинкертона.

Во время Первой мировой войны Дэшил подхватил на фронте воспаление легких, а потом и туберкулез. С тех пор жесточайшие приступы чахотки не раз грозили свести его в могилу. Иногда несчастный бывал настолько слаб, что приходилось выставлять в ряд стулья от кровати к двери ванной, иначе он не мог пересечь комнату. Кочуя из больницы в больницу, Дэш познакомился с медсестрой по имени Жозефина. Девушка забеременела от другого мужчины, и будущий писатель принял решение жениться на ней (Мэри, дочь медсестры, всю жизнь считала Хэммета родным отцом). Да, Дэшил умел быть очаровательным, нежным, великодушным. Но бывал и настоящим чудовищем. Напившись, он становился сущим дьяволом, а случалось такое нередко. Нещадно колотил и Жозефину, и малютку Мэри (хотя ни разу пальцем не тронул Жо, свою кровную дочь). Доставалось потом и Лилиан Хеллман. Одна манекенщица даже подала на Хэмметта в суд, обвинив в изнасиловании и жестоком обращении.

И все же, несмотря ни на что, женщины его обожали. За неотразимую наружность, за талант, за то, что умел красиво погубить. И, разумеется, за нежное сердце, которое билось где-то там, глубоко, под грубой коркой ярости и боли, заглушавшей слабые проявления доброты. Ну конечно, ведь женщинам искони присуще неодолимое стремление спасать мужчин от их же пороков.

Лилиан и Дэшил познакомились в Лос-Анджелесе в ноябре 1930 года. К тому времени двадцатипятилетняя Лилиан успела выйти замуж за голливудского сценариста Артура Кобера; он обожал жену, которая беззастенчиво его обманывала. Хотя, впрочем, слово "обманывать" здесь не совсем подходит: в богемных кругах того времени, как и у *хиппи* шестидесятых, были приняты *свободные отношения*. А тридцатишестилетний Хэммет

был модным писателем — опубликовал четыре романа, имевших шумный успех. Он завел личного шофера и мажордома, зарабатывал бешеные деньги и швырял их направо и налево. Подарил, например, "паккард" Жозефине и дочерям, которые жили в другом городе, но потом закрутился и перестал выплачивать кредит, так что автомобиль у них вскоре отобрали. Иногда Дэшил забывал даже высылать семье ежемесячное содержание.

С Лили Дэш познакомился на пятый день затянувшейся попойки. Дело было в каком-то клубе. Женщина заметила писателя, когда тот направлялся в мужскую комнату. Пришла в полный восторг, дождалась красавца у дверей и ринулась в атаку: завела разговор, который длился всю ночь (дурнушка Лилиан всегда завоевывала мужчин словом). Ну, а потом была постель, потом вспыхнула страсть. По крайней мере, в сердце Лилиан — Дэш, как мы уже говорили, слыл крепким орешком, неспособным на серьезные отношения.

Но, что хуже, Хэммет вступил к тому времени в период безнадежного творческого кризиса, хотя Лилиан этого еще не знала. Считалось, что Дэшил работает над пятым романом, "Худой человек", но на самом деле горе-писатель не мог сочинить ни строчки. Для всех он оставался блестящей знаменитостью, хотя сам чувствовал себя неудачником, и, возможно, даже обманщиком, и потому пил беспробудно. В первый год отношения между Хэмметом и его возлюбленной складывались самым диким образом. Лилиан частенько появлялась на людях то с заплывшим глазом, то с синяками на теле, а однажды Дэш при всех так ударил ее, что бедняжка упала. Тем временем издатель Кнопф слал Хэмметту письмо за письмом, требуя рукопись "Худого человека". И вот однажды, в 1931 году, Дэшил заперся в гостиничном номере, предварительно объявив всем, что собирается свести счеты с жизнью. Вызвали Жозефину, и она примчалась спасать мужа, но тот не впустил супругу. Тогда настала очередь Лилиан: перед ней дверь открылась. "Что это ты затеял?" — спросила Лили. "Я жалкий шут", — в отчаянии ответил Хэммет. Несмотря на ум и талант, в душе он оставался ребенком, затерявшимся в огромном неприютном мире, и совершенно не умел жить. Увы, некоторые мужчины страдают этим недостатком.

Иногда Лилиан и Дэшил делили кров в течение нескольких месяцев, но затем снова разъезжались по разным отелям, по разным городам. Хэммет по-прежнему не пропускал ни одной юбки, отдавая особое предпочтение чернокожим и восточным проституткам. Триппер сделался его верным спутником. У Лилиан были свои интрижки, несколько раз она беременела и делала аборты. Оба беспробудно пили: Лили ни в чем не хотела отставать от любимого, который, кстати, содержал ее на широ-

кую ногу, буквально заваливая сказочными подарками. В разлуке Хэммет писал Лилиан нежные письма. Так уж складывались их отношения: любить Дэш мог только издалека.

Наконец, сделав над собой нечеловеческое усилие, Хэммет закончил "Худого человека". Роман получился куда слабее, чем его предыдущие произведения, и писатель не мог этого не понимать. Он говорил всем, что собирается оставить детективный жанр и перейти на "нормальные" книги, а по ночам пил с Фолкнером, чью славу считал незаслуженной. Вероятно, Дэш претендовал на большее, но из-за неумеренных творческих амбиций просто не осмеливался писать, опасаясь провала. Зато Хэммет уговорил Лилиан, которая до этого опубликовала лишь несколько рассказов, сочинить пьесу. Даже придумал основную интригу. И Лили, не ждавшая от себя слишком многого, принялась работать над пьесой "Детский час". Дэшил с ней не церемонился: унижал, говорил, что вещь никуда не годится, шесть раз заставлял все переделывать. Но в результате он оказался бесценным советчиком, проводником, наставником. Не жалел ни времени, ни таланта на правку и издание пьесы, иногда собственноручно перепечатывал текст на машинке. Когда Хэммет, наконец, решил, что пьеса выглядит вполне пристойно, текст в большей степени принадлежал его перу, чем перу Лилиан, которая, кстати, никогда этого не отрицала.

А потом началось самое страшное. Лилиан самостоятельно организовала постановку пьесы. Пока на Бродвее шли репетиции, Хэммет уехал в Голливуд — говорил, что собирается писать сценарий. Жизнь его неслась под откос: он пил беспробудно, забросил работу и буквально засыпал Лилиан письмами, умоляя оставить все и приехать. Испытывал ее чувство на прочность, точно эгоистичный ребенок, ведь Лили приехать просто *не могла*: репетиции подходили к концу, так что мольбы Дэша остались без ответа. В день премьеры Хэммет даже не позвонил ей, чтобы узнать, как дела. А премьера между тем имела большой успех.

Как только к Лилиан пришла слава, Дэшил перестал испытывать к ней влечение. Сам он сидел на мели, ни одного текста не мог дописать до конца, и киностудии отказались от его услуг. Теперь уже Лилиан оплачивала неумеренные расходы любовника: однажды дала ему 5000 долларов, а Дэш в ту же ночь подарил деньги какой-то проститутке. Отношения их становились хуже день ото дня. Как-то вечером, в 1934 году, когда оба выпили лишнего, Лили почувствовала себя особенно несчастной "из-за его пьянства, его женщин и всей этой жизни" и принялась упрекать Хэммета в несносном поведении. И вдруг с ужасом увидела, что Дэш тушит окурок о

собственную щеку. "Ты что вытворяешь?!" — испуганно воскликнула она. "С трудом удерживаюсь, чтобы не сделать того же самого с тобой", — последовал ответ.

Так они и жили: Лилиан упорно строила свое будущее, подобно птице, терпеливо вьющей гнездо, а Дэшил так же упорно разрушал свое. В 1935 году оба вступили в коммунистическую партию. Возможно, для Хэммета (Лилиан просто последовала примеру возлюбленного) это было еще одним шагом к самоуничтожению, попыткой раствориться в чужой идеологии. С тех пор они отказались от собственных убеждений и на пару сочиняли омерзительные манифесты, в которых, в частности, с одобрением высказывались о сталинских чистках.

Тем временем Лили написала еще одну пьесу, на этот раз совершенно самостоятельно. Спектакль провалился, и к Дэшилу тут же вернулся былой любовный пыл. Отношения улучшились — настолько, что, когда Лили в 1937 году снова забеременела, ребенка решено было оставить. Женщина буквально светилась от радости, но однажды, вернувшись домой, застала возлюбленного в постели с очередной проституткой. Видимо, Хэммет не мог спокойно переносить счастье, не пытаясь его разрушить. Для Хеллман это стало своеобразной точкой невозврата. Она прервала беременность и уехала в путешествие по Европе. А Хэммет бросил пить, раскаялся и снова принялся писать любимой трогательные послания. Все напрасно: Лилиан ничего не желала слышать. Дэшил продержался четырнадцать месяцев, но как-то раз ощутил острый приступ паники и в один присест наверстал упущенное. Друзья подобрали его в полумертвом состоянии, погрузили в самолет и отправили в Нью-Йорк к Лилиан. Она нашла в себе силы все забыть и вновь стала заботиться о Хэммете, поместила его в больницу. "Пациент страдает болезненным страхом перед безумием", — таков был вердикт врачей.

Теперь они снова жили вместе, Хэммет помогал Лилиан писать третью пьесу, "Лисички". Спектакль имел успех, и у Дэшила опять начались затруднения в постели. Однажды вечером любовники ехали на какой-то праздник, и Дэшил вдруг предложил вернуться домой и заняться любовью. Но Лилиан отказалась — первый раз в жизни. С тех пор Хэммет больше не желал к ней прикасаться. А если бы и пожелал, вряд ли бы смог: через пару лет он окончательно утратил мужскую силу.

В 1942-м Хэммет возвратил издательству задаток за еще не написанный роман. То было горькое признание несостоятельности иного рода — творческой. Он решил отправиться добровольцем на фронт. Сорок девять лет, больной, худой как скелет, безнадежный пьяница со вставными зубами — короче говоря,

развалина. Но его все же взяли рядовым и отправили в тыловую часть, на Аляску, откуда он слал Лилиан письма, полные несказанной нежности. Просил даже заказать кольцо с надписью на внутренней стороне, точно она была юной девой, ждущей суженого с войны. Говорил о счастье до гробовой доски.

Однако Лилиан чувствовала себя слишком измученной, слишком разбитой. Ведь ей не исполнилось еще и сорока, хотелось нормальной семьи, хотелось детей. Она полюбила дипломата по фамилии Мэлби, и когда в 1945 году Хэммет вернулся домой, то обнаружил, что его место занято. Дэшил поселился в гостинице и в течение трех лет методично доканывал себя выпивкой. Самоубийственный процесс завершился белой горячкой. И Лилиан снова пришла на помощь человеку, который стал бледной тенью прежнего Хэммета, и оплатила все больничные счета. С Мэлби она к тому времени уже порвала.

Именно тогда переменчивая судьба и подарила этой паре самые счастливые годы в их совместной жизни. По крайней мере, так писала Лилиан в книге "Незавершенная женщина": "То был период глубокой взаимной привязанности". Дэшил окончательно бросил пить и испытывал к Лилиан исключительно чистую, почти отцовскую нежность, спокойно глядя, как она увлекается то одним, то другим мужчиной. А Лили пыталась найти Хэммету работу и деликатно правила кошмарные сценарии, выходившие из-под его пера. Но теперь, несмотря на щедрые похвалы подруги, Дэш уже не мог написать ни строчки — разучился. Видимо, алкоголь окончательно иссушил его мозг.

Эту осеннюю идиллию нарушил сенатор Маккарти, затеявший свою гнусную охоту на ведьм. Дэшил отказался выдать имена людей, которые спонсировали коммунистическую партию, и в наказание получил шесть месяцев тюрьмы. Лилиан охватил панический страх — ведь подозрения падали и на нее. Она малодушно бросила Хэммета на произвол судьбы, не решившись даже внести за него залог. "То было непростительное предательство", — пишет Джоан Меллен в блестящей биографии знаменитой пары.

Из заключения Хэммет вышел калекой — от легких остались одни ошметки — и без гроша в кармане. Он поселился затворником на маленькой ферме, арендованной на деньги Лилиан. Они регулярно виделись, хотя понимали, что прошлого не вернуть: нищий, больной, одинокий, Дэш нуждался в поддержке подруги, злился на себя за это и в отместку изводил ее как мог. Так прошло шесть лет, и наконец стало ясно, что Хэммет слишком слаб и больше не может жить один. Лилиан не хотела забирать его к себе, обратилась к дочерям Дэшила, но те

наотрез отказались помочь. Так что Хеллман пришлось смириться и в который раз взять на себя заботы о сломленном жизнью мужчине. С 1958 года Дэш медленно угасал в ее нью-йоркском доме, где и умер от рака легких в январе 1961 года. Никогда прежде они не проводили столько времени вместе.

Этот последний период был особенно тяжелым. В феврале 1960 года Дэш велел отсоединить себя от всех медицинских аппаратов и встал с постели, чтобы присутствовать на премьере новой пьесы Хеллман "Игрушки на чердаке". Сценические неудачи остались позади, вещь имела грандиозный успех. На радостях устроили банкет, во время которого бледный как смерть Хэммет вдруг набросился на подругу: "Я для тебя столько сделал, столько сил в тебя вложил, а ты пишешь всякую дрянь!" В зале воцарилась мертвая тишина, а Дэш продолжал изрыгать проклятья. Лилиан невозмутимо выслушала его, потом отвернулась и, как ни в чем не бывало, возобновила прерванный разговор с соседом по столу.

Лили была рядом с Хэмметом до конца. Ей так хотелось, чтобы, стоя у края бездны, он сказал ей слова любви. Однако этого не случилось. "А ведь было хорошо, правда?" — нерешительно произнесла она как-то вечером. "Не то чтобы *хорошо*. Просто лучше, чем у многих", — последовал ответ. В минуту кончины не было ничего — ни поцелуя, ни тихого шепота, ни последнего "Прости!". Только полный ужаса взгляд. Но за последующие пятнадцать лет Лилиан постаралась сгладить все острые углы и сочинила историю о сказочной любви.

Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн

Гибельная страсть

ГДЕ-ТО в глубине души каждый из нас носит тайное стремление к гибели, свою личную пропасть, в которую так легко сорваться; и нередко толкает нас туда именно любовь. Связь Амедео Модильяни и Жанны Эбютерн можно назвать историей взаимного разрушения. Читать ее страшно, ибо все в ней — жестокость и разложение. В настоящем саморазрушении нет никакого величия, есть только лишения, боль, безутешное горе.

Патриция Чаплин, автор интересной и необычной книги об Амедео и Жанне, проявляет любопытное стремление представить их жестокие отношения как нежную страсть, изобразить Эбютерн в более выгодном свете. Но, несмотря ни на что, оба эти персонажа едва ли способны вызывать симпа-

тию — разве что жалость, разве что сострадание. Они раздражают, как раздражает и коробит безнадежность деградации.

Вся жизнь Модильяни была стремлением к самоуничтожению. Амедео, еврей-сефард, появился на свет в 1884 году в семье разорившегося банкира. Его мать, женщина утонченная и энергичная, спасла детей от нищеты, открыв на дому школу. Впоследствии она же и содержала младшего сына, высылая ему денежные переводы, а также всячески поддерживала его тягу к искусству. Ведь Модильяни был полон амбиций. В семнадцать лет юноша писал своему другу: "Я нынче сделался игрушкой слишком сильных воздействий, энергия которых то возникает, то исчезает вовсе. А мне бы, напротив, хотелось, чтобы жизнь, как полноводная река, радостно текла по равнине"[1]. Эти мощные воздействия порождал в нем зов несомненного таланта. Так что в 1906 году будущий художник прибыл в Париж, готовый к великим свершениям. Именно тогда и началось его неуклонное скольжение в пропасть.

Внешне Модильяни ничего особенного из себя не представлял. Худосочный и невысокий (всего метр шестьдесят пять), узкоплечий, с впалой грудью. До приезда в столицу Франции он успел переболеть брюшным тифом и плевритом, а также страдал туберкулезом, который в конце концов и свел несчастного в могилу. Однако эта болезненная невзрачность таяла в лучах его магнетизма. Черные кудри, горящий взор, обольстительная красота. И женщины, и мужчины сходили по нему с ума. Кокто называл Модильяни "блистательным". В трезвом состоянии и добром расположении духа (что случалось нечасто) Амедео бывал неотразим. Современники хранят воспоминания о его аристократических манерах, о природном изяществе. Всегда нарядный, аккуратный и чисто выбритый — невероятно, как ему это удавалось при таком образе жизни. Бархатные пиджаки и красный шарф художника стали настоящей притчей во языцех.

Утонченность и крайний индивидуализм проявлялись и в его безоговорочной, мистической, полной романтизма преданности искусству: "Красота — это мучительное право, однако плодом ее являются самые прекрасные веления души"[2]. С молодыми товарищами по цеху Модильяни не находил общего языка, провозглашая власть подсознательного начала, хотя в мире живописи тогда царил кубизм. "Вы стремитесь выров-

1. Цит. по: Кристиан Паризо. Модильяни / Перевод с французского И. Васюченко, Г. Зингера. — М.: Текст, 2008.
2. Цит. по: Коррадо Ауджиас. Модильяни / Перевод с итальянского Татьяны Соколовой. — М.: Молодая гвардия, 2007.

нять мир по линейке, — упрекал он художника-кубиста Фернана Леже, — а ведь это никак не возможно". Разногласия обострились в 1917 году, когда после победы русской революции большинство авангардистов встало на сторону большевиков: Амедео был слишком большим пессимистом и скептиком, чтобы верить в триумф социализма. Художник скорее поладил бы с сюрреалистами, этими непримиримыми противниками всякой власти, но сюрреализм заявил о себе лишь через пять лет после его смерти. Так что Модильяни всегда был одинок, всюду не к месту, чем отчасти и объясняется его жизненный крах.

Картины Амедео никому не нравились. Сейчас трудно объяснить подобное неприятие, ведь для нас творчество Модильяни — классика. Но современникам эти длинные шеи казались нелепыми, стиль представлялся "ужасающим", а чересчур откровенные ню вызывали бурю негодования. Приехав в Париж, художник выставил свои произведения в Осеннем Салоне, однако отзывов не последовало, ни один холст продан не был. В Салоне Независимых его ждал такой же результат. Попытки найти собственного агента ни к чему не привели. Картины не находили спроса. Модильяни увлекся ваянием, но не выдержал всеобщего безразличия и побросал скульптуры в реку. А другие живописцы меж тем наслаждались успехом. Все, кроме него, хотя Амедео *действительно* был талантлив. Подобная несправедливость разъедала душу художника.

И потом, эта богемная жизнь! Жизнь без гроша в кармане, ведь все *мамочкины* деньги он спускал немедленно. К тому же во время Первой мировой войны переводы перестали приходить, и Модильяни впал в крайнюю нищету. Ночевал в третьеразрядных номерах или на скамье в парке. Бродил целыми днями одурманенный гашишем и напивался до потери сознания. А напившись, лез в драку с первым встречным: сказывался его скверный, задиристый, совершенно несносный характер. Как-то раз он в порыве ярости принялся срывать со стен работы соперников, а однажды ухитрился даже вытолкнуть на улицу свою любовницу, английскую писательницу Беатрис Хастингс, пробив ею закрытое окно.

Впрочем, подобные выходки были обычным делом на Монмартре и Монпарнасе тех лет. На страницах биографии Симоны де Бовуар Клод Франси и Фернанда Гонтье рисуют яркий портрет парижской богемы. Вся жизнь Модильяни вращалась вокруг кафе "Ротонда". Там он делал портретные зарисовки за пять франков, чтобы заработать на еду (а чаще на выпивку). В кафе нередко захаживал тип, у которого правая половина носа была выкрашена в красный цвет, а левая — в желтый. Другой завсегдатай выпрашивал деньги у прохо-

жих, угрожая напустить на них разъяренного кота. Все спали с кем попало, вовсю свирепствовали венерические болезни. Время от времени устраивались дикие попойки — они часто заканчивались массовыми арестами или драками, и в пылу битвы кого-нибудь непременно спускали с лестницы. Модильяни прославился тем, что обходил питейные заведения, осушая чужие рюмки, пока не падал замертво. Туристы робко заглядывали в артистические кафе и с дрожью наблюдали за растленной жизнью богемы; Амедео, несомненно, был одним из самых ярких и живописных персонажей в той среде, ведь он предавался самоуничтожению так открыто, так самозабвенно, с таким олимпийским величием.

Однажды в "Ротонде" появилась восемнадцатилетняя Жанна Эбютерн; вместе со своим братом Андре она изучала живопись в Академии Коларосси и происходила из типичной семьи среднего класса — достойной, приличной и совершенно заурядной: отец ее служил кассиром в каком-то магазине. Жанна была хрупкой девушкой с белоснежной кожей и каштановыми волосами, заплетенными в косы. С немногих сохранившихся фотографий на нас смотрят огромные, тревожные голубые глаза. Не дурнушка, нет, но производит странное впечатление. Девушка имела склонность к меланхолии и говорила крайне мало — некоторые друзья Модильяни даже не помнили, чтобы она произнесла в их присутствии хоть слово. Жанна рисовала неплохо, но в ее работах прослеживается сильнейшее влияние Амедео, что не удивительно, учитывая юный возраст начинающей художницы. Модильяни был старше на тринадцать лет.

Гораздо большую оригинальность Эбютерн проявляла в нарядах: носила яркие туники и экзотические тюрбаны. В "Ротонде" ее приняли со сдержанным интересом: должно быть, завсегдатаи гадали, кто же завладеет этой свежей плотью. Повезло Модильяни, ведь не зря о нем ходила слава ловеласа, способного затащить в постель любую натурщицу. Написав портрет Жанны, художник закрутил роман и с ней. Шел 1917 год.

Однако Жанна оказалась девственницей — возможно, первой девственницей в жизни Амедео. Видимо, невинность возлюбленной пробудила в нем покровительственные чувства, искони присущие мужчинам Средиземноморья. Жанна стала чем-то вроде официальной невесты, ибо делила с возлюбленным ложе, но ночевать возвращалась к родителям. К тому же среди двадцати пяти портретов Эбютерн кисти Модильяни нет ни одного ню. Гимн обнаженному телу, трепет чувственной плоти — все это на других картинах художника.

Фигура Жанны предстает на его полотнах бесформенной, тщательно задрапированной, похожей на луковицу.

Впрочем, родители девушки недолго пребывали в неведении: роман открылся, и они выставили дочь из дому. Эбютерн поселилась на улице Гран-Шомьер, в мастерской Модильяни, которую снял для него поляк Леопольд Зборовский, единственный торговец картинами, всерьез интересовавшийся творчеством Амедео; несчастный буквально сбивался с ног, безуспешно пытаясь продать хоть один холст своего подопечного. Надежда забрезжила лишь в 1917 году: некая хозяйка галереи поддалась на уговоры Зборовского и устроила персональную выставку Модильяни. Однако полиция закрыла вернисаж в первый же день: один из портретов ню показался блюстителям порядка чересчур откровенным. Это событие нанесло болезненный удар по расстроенной психике художника.

Так или иначе, совместная жизнь с Эбютерн почти не изменила привычек Амедео. Любовников мало что объединяло. Модильяни ел, где придется, уходил, возвращался, часто оставался работать на квартире у Зборовского и никогда не водил Жанну ни к друзьям, ни в любимые кафе. Он по-прежнему пил без просыпу и в тесном общении вел себя самым несносным образом. Мог, например, выйти за папиросами и вернуться мертвецки пьяным на закорках у какого-нибудь приятеля. Однажды вечером знакомые видели художника в Люксембургском саду: едва держась на ногах от большого количества выпитого, он грубо толкал и таскал за волосы свою невесту. Буйный нрав, что и говорить.

Стоит ли удивляться, что вскоре Жанна занемогла, появились сильные головные боли (а мозг, как известно, отражает состояние всего организма), и бедняжка вернулась в отчий дом, чтобы поправить здоровье. Вместе с матерью они поехали в Бретань, и там девушка поняла, что ждет ребенка. Встревоженные родители поспешили к Модильяни: теперь, как честный человек, он просто обязан жениться на их дочери, хотя, разумеется, нищего еврея, пьяницу и неудачника едва ли следовало считать удачной партией. Но больной, измученный Модильяни выставил чету Эбютерн за дверь — шла война, денежные переводы из Италии прекратились, бедняга буквально умирал с голоду. Тогда Зборовскому пришла в голову гениальная идея: отправить молодых в Ниццу, чтобы Амедео подлечил чахотку, восстановил душевные силы и снова мог работать. План казался вполне привлекательным, но обернулся нелепым фарсом.

Итак, в марте 1918 года вся компания отправилась в путь: Зборовский с супругой, художники Сутин и Фужита, Амедео.

Жанна и... мамаша Эбютерн. Вот он, незрелый и безответственный характер Жанны — все время, прожитое на Лазурном Берегу, она провела с маменькой на одной ферме, тогда как Модильяни обретался на другой (и сделал хозяйке ребенка), а потом и вовсе перебрался в квартал красных фонарей. Художник и мать невесты грызлись из-за девушки, точно собаки из-за кости, а сама виновница раздора пребывала в столбняке, безмолвно созерцая растущий живот.

Наконец, мамаша сдалась. Модильяни ни в какую не желал жениться, не до того было: не успевали его выставить из одной низкопробной гостиницы, как он уже устраивал пьяный дебош в другой. Через две недели после окончания Первой мировой войны Жанна родила девочку. Появление малышки настолько потрясло Амедео, что он лично отправился регистрировать дочь. Но опоздал — слишком увлеченно обмывал по дороге событие, так что бедняжка еще долго оставалась без метрики.

А между тем гибельный недуг разрушения все глубже проникал в жизнь пары. Что бы там ни писала Патриция Чаплин, я не могу поверить, будто Модильяни пылал любовью к Жанне. Вот дочку он действительно любил — по-своему, конечно, — а по отношению к Эбютерн испытывал, вероятно, острое чувство вины, ту гнетущую нежность, какую может вызывать только человек, обожающий нас больше жизни, все ради нас отдавший. Но терзали Амедео и злоба, недовольство, отчаяние: глухая ярость жертвы, угодившей в липкие тенета беззащитного существа.

Так что отношения Амедео и Жанны продолжались, а с ними продолжалась и деградация. Жанна по-прежнему жила отдельно, страдала послеродовой депрессией, потеряла молоко, с трудом могла наскрести денег на кормилицу. Зборовский помогал, как мог, но Амедео все пропивал и тратил на гашиш.

В мае 1919-го Модильяни сбежал в Париж. Предупредил, что уезжает на пару дней, и не вернулся. В столице у него завязались отношения с красавицей-полькой по имени Люния. Он стал меньше пить, взялся за работу, дела пошли на лад. Но разве могла Жанна такое позволить? В конце июня Эбютерн явилась в Париж с дочкой на руках и принесла неприятнейшую новость: она снова беременна. "Не везет нам", — только и сказал Модильяни.

То лето стало сущим адом. Теперь они действительно были неразлучны, и Амедео понимал, что обречен. Город плавился от жары, девочка не переставая плакала, Жанна пребывала в подавленном настроении, а художник стремительно шел навстречу смерти: началось кровохарканье, выпали последние зубы (непе-

реносимый удар для франта Модильяни), чуть ли не каждая ночная попойка заканчивалась в тюрьме из-за пьяных драк. Друзья забили тревогу, забрали малышку из этой преисподней и отдали на попечение чужим людям. А потом Люния и Зборовский решили увезти из Парижа и самого Модильяни. Амедео вроде бы согласился, но в день отъезда мертвенно бледная беременная Жанна спустилась вместе с ним на улицу и заявила, что никуда он без нее не поедет. Последняя попытка бегства сорвалась.

Модильяни не отважился покинуть Жанну. Очевидно, из малодушия; а может, просто потому, что в глубине души он все-таки был неплохим человеком. Или помешала инерция саморазрушения. Ведь стоит раз причаститься боли — и какая-то сила начинает подталкивать нас к еще большему страданию, заставляет снова и снова трогать языком ранку на десне, пока она не превратится в язву. Как знать, может быть, поодиночке Модильяни и Эбютерн сумели бы спастись и обрести счастье. А впрочем, едва ли, ибо каждый из них носил в душе собственный мрак.

И вот так, окутанные этим мраком, прожили они свои последние месяцы. К тому времени поведение Модильяни сделалось настолько невыносимым, что разбежались и последние друзья, даже Зборовский. Амедео и Жанна остались одни — совсем одни на развалинах совместной жизни.

Однажды ночью Модильяни привели домой в горячечном бреду. Подруга уложила его в постель и уселась рядом. Шел январь 1920 года. Уголь закончился, воды не было (беременная Жанна настолько ослабела, что не могла спуститься к фонтанчику во дворе), еды почти не осталось. Целую неделю просидели они взаперти, всеми забытые, дрожа от холода; пили вино и ели консервированные сардины. Художник медленно умирал, а Жанна рисовала автопортрет, на котором пронзала себе грудь стилетом. В дневнике она записала, что в последние дни Модильяни шептал ей нежнейшие слова любви. Вероятно, то была чистая правда: Амедео действительно полюбил свою спутницу. Так любят друг друга животные, вместе ожидающие смерти, так отчаянно любят последние на Земле люди, пережившие Апокалипсис. А потом у Модильяни начались непереносимые боли: развился туберкулезный менингит.

На седьмой день в мастерскую заглянул Ортис де Сарате. Пришел в ужас, вызвал врача, и тот распорядился положить художника в больницу Шарите. Беременную Жанну, пребывавшую в полной прострации, отвели к родителям. Живым возлюбленного она больше не видела. Через три дня, 24 января 1920 года, Модильяни скончался в страшных муках. Ему было тридцать пять лет.

Несколько часов спустя после его смерти, в четыре утра 25 января, находившаяся на сносях Жанна выбросилась спиной вперед из окна шестого этажа родительского дома. Какой-то рабочий подобрал труп и отнес наверх, однако Андре, брат покойной, отказался впустить бедолагу и велел везти сестру в мастерскую Модильяни. Рабочий взвалил на тележку мертвое тело с выпирающим животом и потащился на улицу Гран-Шомьер. Но консьержка прогнала его прочь. Тогда добрый трудяга, движимый беспримерным состраданием, повез всеми отвергнутые останки в полицейский участок. Полиция положила конец этим жутким скитаниям, приказав консьержке поместить труп в мастерской, где он пролежал много часов.

Похороны Модильяни стали громким событием. После смерти художника картины его стремительно возросли в цене — как говорится, вознеслись на вершину славы ценой жизни их создателя. А Эбютерн зарыли где-то за чертой города. Правда, девять лет спустя брат Модильяни распорядился перенести останки несчастной женщины в могилу Амедео. Там любовники по сей день и покоятся — на кладбище Пер-Лашез, под общей могильной плитой, овеянные трогательной легендой о нежной любви.

Эрнан Кортес и Малинче

Любовь и предательство

ПЕРЕД нами повесть о двойном предательстве: донья Марина из любви к Кортесу изменила своему народу, своей расе, своим обычаям. Но и Эрнан Кортес предал беззаветную любовь доньи Марины. Он был авантюристом, сумевшим вполне соответствовать тем героическим временам. Она была индианкой, более известной под именем Малинче, нашей Покахонтас. Или, точнее, Покахонтас следует считать бледной копией Малинче, поскольку история доньи Марины и Эрнана Кортеса — часть величайшей эпохи, когда с грохотом сталкивались миры и рушились могущественные империи. Донья Марина и Кортес впервые встретились в 1519 году; ей исполнилось пятнадцать, ему — тридцать четыре.

Знаменитый конкистадор родился в 1485-м в Эстремадуре в обедневшей дворянской семье. Года два он проучился в Саламанке, штудируя грамматику и латынь, однако подобного непоседу едва ли привлекало звание бакалавра. В возрасте

шестнадцати лет Кортес бросил учебу и пустился во все тяжкие. Слыл он повесой, сорвиголовой, ветреником, хотя отличался также и отвагой, изобретательностью, тщеславием. Самые подходящие качества, чтобы устремиться к берегам огромного и заманчивого Нового Света, только что открытого Колумбом. В 1502 году будущий завоеватель записался было на корабль, но путешествие сорвалось из-за амурного приключения: удирая от обманутого мужа, Кортес упал с крыши и сломал ногу, так что судно уплыло без него. В конце концов, девятнадцатилетний юноша все же пересек океан и добрался до Эспаньолы (Санто-Доминго) в 1504 году.

Вскоре ему посчастливилось получить земли и рабов в награду за участие в борьбе против индейских *мятежников* (эвфемизм того времени), сражавшихся под предводительством женщины-вождя Анакаоны. Несколько лет разбогатевший Кортес только и делал, что купался в дикой роскоши; наживался на рабском труде своих индейцев, забавлялся со своими индианками (одна из которых родила ему дочь) да иногда потехи ради затевал поножовщину с другими испанскими задирами. На память о том славном времени у него остался шрам на губе.

Но вот беда: развернуться на Эспаньоле было негде, все земли конкистадоры уже поделили между собой, так что пришлось искать новых *свершений*. И Кортес решил принять участие в покорении Кубы в качестве секретаря и казначея Диего Веласкеса, впоследствии назначенного губернатором острова.

Отношения с Веласкесом у Кортеса складывались непросто: губернатор не отличался честностью и утаивал от Испанской короны причитавшуюся ей пятую часть дохода с завоеванных земель. Казначей и еще несколько недовольных пригрозили донести королю. Не обошлось тут и без женщины, испанки Каталины Хуарес, *пассии* Кортеса и родной сестры любовницы Веласкеса — сложный сюжет, вполне достойный мыльной оперы. В результате Кортес дважды оказывался в тюрьме и дважды самым таинственным образом ухитрялся освободиться от кандалов и бежать. Наконец, с губернатором Кубы удалось договориться: о жалобе монарху забыли (интересно, на каких условиях?), а Кортес согласился-таки жениться на Каталине, хотя раньше не проявлял к этому особого стремления. Темная история, ничего не скажешь, но за ней смутно угадывается коррупция и интриги, бывшие, по всей видимости, обычным делом в первые годы освоения нового континента.

Покорение Кубы принесло Кортесу богатство, земли, рабов. Однако же теперь он жаждал большего: больше денег,

больше власти и, что главное, больше славы. Этот умный и изворотливый человек всегда был подлинным гением лжи, обольщения, обмана. Он подкупил двух советников Веласкеса, посулив им часть "всего полученного и награбленного" (как пишет епископ Лас Касас), если они предложат губернатору поставить его во главе мексиканской экспедиции. Веласкес так и сделал, но потом, не без оснований опасаясь, что Эрнан присвоит себе новые земли, отозвал назначение и попытался вновь упрятать секретаря за решетку. Поздно: в феврале 1519 года Кортес снарядил одиннадцать кораблей и отплыл к неведомым берегам с пятью сотнями пехотинцев и шестнадцатью кавалеристами, предварительно взяв на абордаж и разграбив несколько торговых судов, чтобы добыть средства.

Добравшись до полуострова Юкатан, Кортес первым делом сразился при Табаско с касиком майя. Победа далась ему легко: индейцы смертельно испугались лошадей, этих невиданных существ, увешанных бубенцами, производившими на скаку невообразимый звон. Берналь Диас дель Кастильо, один из солдат Кортеса, писал в интереснейшей книге "Правдивая история завоевания Новой Испании", что в том бою пали два испанца и восемьсот индейцев. Касик заключил с захватчиками мир и среди прочих даров передал им двадцать индианок, которых Кортес поспешно окрестил, а уж позаботившись о спасении их душ, раздал солдатам. Ведь, несмотря на все свои прегрешения, а может быть, и вследствие их, знаменитый конкистадор был фанатичным католиком и обожал при любой возможности потчевать индейцев длиннейшими проповедями, которые приводили несчастных в трепет. В экспедициях его неизменно сопровождали священники (например, Агилар, служивший также переводчиком), и нередко приходилось им охлаждать религиозный пыл полководца, дабы тот не убеждал первого попавшегося касика выслушать и принять догмат о девстве Богородицы.

Среди двадцати индейских пленниц, преподнесенных в дар правителем Табаско, особо выделялась одна девушка, отличавшаяся красотой, умом и величественной осанкой; испанцы окрестили ее Мариной, а индейцы называли Малиналь или Малинцин (Малинче в испанской интерпретации). Суффикс *-цин* свидетельствовал о знатном происхождении и особом статусе, ведь красавица была дочерью вождя из далеких земель. Судьба обошлась с ней несправедливо: отец умер, мать вышла замуж за другого, и отчим, желая обеспечить своему собственному отпрыску высокое положение (в Новом Свете женщины наравне с мужчинами могли становиться касиками), продал падчерицу какому-то торговцу, а тот отдал ее

в рабство в Табаско. Однако же Малинче не утратила присущего ей достоинства знатной особы, вот почему индейцы добавляли к ее имени *-цин*, а испанцы величали доньей.

Да, для конкистадоров Марина всегда оставалась доньей. Сальвадор де Мадарьяга совершенно справедливо указывает на отсутствие расистских настроений у испанцев, ибо к родовитым индианкам они обращались с неизменным почтением. Хотя лично мне приходит на ум другое объяснение: видимо, классовые предрассудки у колонизаторов были куда сильнее расовых, а потому, хоть на родине, хоть на чужбине, знать полагалось уважать. Несомненно и другое: индианок из аристократических семей отдавали только капитанам, а прижитых ими детей признавали официально и причисляли к высокому испанскому обществу. Мартин, сын Марины и Эрнана Кортеса, стал командором ордена Святого Иакова, что по тем временам считалось огромной честью.

Однако я забегаю вперед. Получив Марину в подарок, Кортес сначала передал ее дворянину Поэртокарреро, которого чрезвычайно ценил за многочисленные заслуги. Но четыре месяца спустя тот вернулся в Испанию, а девушка вновь перешла к Кортесу. Пять лет, с 1519-го по 1524-й, она не покидала конкистадора и, вне всякого сомнения, была самой важной женщиной в его жизни.

К моменту отъезда Пуэртокарреро испанцы уже обнаружили, что Малинче обладает бесценным даром: говорит и на языке майя, и на наречии ацтеков. Она тут же стала "устами" Кортеса, переводя с науатль на майя. С майя на испанский переводил священник Агилар, но вскоре его услуги не понадобились, так как Марина выучила и язык захватчиков. Донья Марина сыграла неоценимую роль в покорении Мексики, поскольку отличалась умом, красноречием и прекрасно знала обычаи тех мест. Все относились к ней с почтением: "Донья Марина была выдающейся личностью и пользовалась непререкаемым авторитетом у коренного населения во всей Новой Испании", — пишет Берналь. Так велико было уважение к ней среди индейцев, что даже Кортеса они стали называть Малинче, словно конкистадор принадлежал наложнице, а не наоборот. И все свое влияние, всю мудрость, весь опыт донья Марина посвятила Кортесу, предав собственный народ.

Как могло такое случиться? Трудно сказать. Хоть Марина и была "устами" Кортеса, мы мало что знаем о чувствах или мыслях этой женщины. В хрониках ее имя почти не упоминается: оно погребено под толщей молчания, как это обычно случается с женщинами и с неудачниками. Видимо, она сделала свой выбор, повинуясь голосу любви, гибельной страсти,

которую Эрнан разжег в ее сердце из корыстных побуждений. Мадарьяга считает, и к его мнению стоит прислушаться, что великий испанец не любил Марину (он вообще никогда никого не любил), но постарался вскружить ей голову, дабы заручиться безоговорочной преданностью переводчицы, от которой зависела жизнь всех, кто его окружал.

Кортеса трудно назвать красавцем. Ростом он не вышел (всего-то метр шестьдесят), но был статным, худым и мускулистым. Русые волосы, жидкая бородка, правильные черты лица, землистая кожа. Особой притягательной силой обладали глаза ("страстные", как пишет Берналь), да еще живая, мужественная натура, умение очаровывать. Хитрый, лживый, нечистый на руку, он поступал с индейцами бесчеловечно, но никогда не превышал среднего уровня жестокости, свойственной тому времени. Санчес-Барба вообще называет Кортеса гуманистом и утверждает, будто тот открыл множество лечебниц по всему Новому Свету (любопытно, не правда ли?); хотя книга Санчеса-Барбы напоминает не столько биографию, сколько житие некоего святого, так что едва ли ей стоит доверять. Впрочем, доподлинно известно, что, когда испанский король запретил Кортесу раздавать индейцев, точно скот, и повелел обращаться с ними как со свободными людьми, конкистадор приказ выполнить отказался. Скорее всего, это был плут высшей пробы, не чуждый сострадания к ближнему, но готовый корысти ради отринуть всякую щепетильность.

Итак, опираясь на поддержку Марины, Кортес ринулся завоевывать Мехико, где тогда правил Моктесума. Действуя тонко и расчетливо, он делал вид, будто ведет с касиком переговоры, а сам поднял против него все соседние народы, находившиеся под игом ацтеков. В священном городе Чолула местная старуха шепнула Марине, что, если ей дорога жизнь, пусть немедленно бросает испанцев и уходит, так как ацтеки готовят завоевателям засаду. Малинче принялась собираться в путь, но тайком предупредила об опасности Кортеса. Тогда он попросил у индейцев 2000 воинов, якобы в качестве носильщиков, а потом согнал их, по всей видимости, безоружных, вместе, с помощью верной переводчицы объявил, что знает о заговоре, и приказал перебить всех до единого.

Кортес вкладывал свои слова в уста Марины и во время этой беспощадной бойни, и во время унижений, которым подвергся Моктесума, взятый под стражу в собственном дворце и убитый своими же подданными в наказание за малодушие, проявленное перед лицом захватчиков. Разумеется, на нескольких страницах не описать тех драматических событий, бесчисленных смертей, ужасов, крови, пролитой при

захвате Мехико. Скажу только, что в конце концов Кортес осадил город и уморил его защитников голодом. Война шла не на жизнь, а на смерть, пленных ацтеков клеймили раскаленным железом и отдавали в рабство, а тласкальтеки, союзники испанцев, не щадили ни женщин, ни детей и чинили над побежденными такие зверства, что даже конкистадоры сетовали на их жестокость (хотя, по всей видимости, не особо пытались ей помешать). Завоевание Мехико стоило жизни 100000 ацтеков, такому же количеству индейцев, вставших на сторону Кортеса, и примерно сотне испанцев. Так что на самом деле то была война одних индейцев против других, а расчетливый Кортес лишь дирижировал событиями. Войско великого конкистадора состояло из 900 соотечественников и 150000 местных жителей. Когда город пал, Кортес велел подвергнуть пытке девятнадцатилетнего принца Куаутемока, взошедшего на трон после смерти Моктесумы. Испанцы надеялись узнать, где ацтеки прячут свое золото. Говорят, что поначалу Кортес не хотел истязать юношу, но вынужден был уступить давлению соратников. Так или иначе, ноги и руки пленника несколько раз погружали в кипящее масло. От него не добились ни слова, Марина, скорее всего, была там — ждала, смотрела, молчала.

В 1522 году в Мехико с Кубы неожиданно приехала Каталина, законная жена Кортеса. Как раз тогда Марина произвела на свет своего первенца Мартина, сына Эрнана, что привело в бешенство бесплодную Каталину. Она прилюдно закатывала Кортесу истерики, а последняя ссора между супругами произошла через три месяца, во время званого ужина. В ту же ночь женщина скончалась на руках у мужа. На судебном процессе, который состоялся несколько лет спустя, свидетели в один голос заявили, будто видели на шее у несчастной следы удушения. Правда, Каталина страдала астмой, отличалась слабым здоровьем, так что ее кончину вполне можно было объяснить естественными причинами. Однако же многие современники продолжали утверждать, что Кортес убил жену собственными руками.

Вскоре после этих событий император Карл V пожаловал Кортесу титул губернатора Новой Испании, узаконив таким образом его положение, ведь до тех пор завоеватель Мехико считался просто мятежником, который взбунтовался против Веласкеса. Наш герой находился в зените славы и достиг всего, к чему так стремился: богатства, власти, известности. Но через пару лет капитан Олид, посланный с экспедицией в Гондурас, восстал против него, как в свое время сам Эрнан восстал против губернатора Кубы. Кортес, не привыкший си-

деть сложа руки, решил действовать немедленно и совершил двойную ошибку: во-первых, лично возглавил карательный отряд, а во-вторых, отправился в Гондурас по суше. Малинче, как всегда, сопровождала его.

Они пустились в путь осенью 1524 года, и поначалу все шло прекрасно — до того самого дня, когда Кортес, "выпив лишнего", как утверждает некий хронист, взял да и выдал донью Марину замуж за одного из своих капитанов, Хуана Харамильо. Какое бессердечие! Теперь, когда Мехико пал, Малинче оказалась лишней. Женщина приняла свою участь мужественно, с присущим ей молчаливым достоинством, которым так восхищался Берналь.

С этого момента в жизни Кортеса все пошло вкривь и вкось, словно Малинче была его талисманом. Экспедиция обернулась сущим кошмаром: целый год путешественники блуждали по сельве, мучимые голодом и болезнями, а тем временем чиновники, оставшиеся в Мехико, сочли губернатора погибшим и растащили его имущество. Кортес пережил этот удар судьбы, дважды побывал в Испании, вступил в новый брак, снова стал отцом. Однако звезда конкистадора померкла, жизнь медленно ползла под откос. Великий завоеватель Новой Испании скончался в 1547 году, в возрасте шестидесяти двух лет.

Что же до Малинче, то она умерла совсем молодой, в 1527 году, — не то от оспы, не то от тоски. До самого конца донья Марина оставалась верной женой Харамильо, родила ему дочь. Этот Харамильо, судя по всему, был хорошим человеком. В 1530-м он, будучи алькальдом Мехико, удостоился высочайшей чести поднять флаг империи в День святого Ипполита, когда испанцы праздновали победу над индейцами. Дабы не участвовать в церемонии, бывший капитан Кортеса покинул город "из уважения к расе своей покойной супруги" и к вящему возмущению завоевателей. Что и говорить: индейская принцесса оставила в сердцах окружающих глубокий след и сумела занять свое место в истории, несмотря на короткую жизнь, навсегда скрытую от нас плотной завесой тайны.

Анатолий Вишневский
"Семья эволюирует..."

"...Семья эволюирует, и потому прежняя форма распадается. Отношения полов ищут новой формы, и старая форма разлагается. Какая будет новая форма, нельзя знать, хотя многое намечается. Может быть большое количество людей, держащихся целомудрия; могут быть браки временными и после рождения детей прекращаться, так что оба супруга после родов детей расходятся и остаются целомудренными; могут дети быть воспитываемы обществом. Нельзя предвидеть новые формы. Но несомненно то, что старая разлагается..."[1].

Несколько старомодная стилистика наведет опытного читателя на мысль, что эти слова сказаны не каким-нибудь современным разрушителем семьи и сказаны не сегодня. Но все же, думаю, многие удивятся, узнав, что они принадлежат Льву Николаевичу Толстому, столь определенно признавшему необратимость изменения древнейшего и почтеннейшего социального института еще в позапрошлом веке.

Отдавая должное проницательности великого писателя, едва ли можно предположить, что причины краха старой формы семьи были понятны ему до конца. Во времена Толстого явственно ощутимые тектонические сдвиги в жизни европейских обществ, сильно затронувшие уже и Россию, связывались в сознании мыслящих людей прежде всего с быстрыми экономическими и политическими переменами, с ростом городов, с развитием промышленности, науки, образования. Казалось, что этими переменами можно объяснить и новейшие изменения семьи, в них видели неизбежное следствие городского образа жизни, а на него многие смотрели косо. В итоге такого рода объяснения тесно переплетались с морализированием, с осуждением падения семейных нравов, хотя у новых семейных порядков были и защитники. Раскол во взглядах на семью был частью общего раскола в общественных представлениях, раскола, неизбежного при эпохальных переменах.

© Анатолий Вишневский, 2011

1. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. / Под ред. П. И. Бирюкова. – Т. 18. – М.: 1913, с. 247.

Увы, морализирование, страсти, пронизывавшие споры о семье, лишь указывали на больное место, но отнюдь не способствовали действительному пониманию проблемы. Видя связь новейшей эволюции семьи с общими историческими сдвигами, даже проницательные наблюдатели не придавали большого значения небывалым демографическим переменам — очень глубоким, но поздно замеченным. А между тем именно они до глубочайших оснований потрясли весь тысячелетний строй семейной жизни и сделали невозможным его сохранение.

Промышленная революция в Англии конца XVIII столетия была ясно осознана уже в середине XIX. О демографической же революции — условно ее начало можно отнести ко времени открытия Дженнером вакцинации оспы, то есть к тому же концу XVIII столетия, — стали смутно догадываться лишь в первой половине XX века ("Демографическая революция" — название книги Адольфа Ландри, вышедшей в 1934 году). Далеко не сразу сложился круг идей, объединенных позднее в концепции "демографического перехода". И только в 1980-х годах бельгиец Рон Лестег и голландец Дирк ван де Каа сформулировали концепцию "второго демографического перехода", указав тем самым на связь современной эволюции семьи и семейных отношений непосредственно с демографическими изменениями.

Поразительное символическое совпадение: работа Дженнера увидела свет в том же 1798 году, что и первое издание знаменитой книги Мальтуса "Опыт закона о народонаселении". Тьмы и тьмы критиков Мальтуса издевались над его утверждением, что "население удваивается каждые 25 лет", хотя ничего подобного Мальтус не говорил. Он писал: "Если возрастание населения не задерживается какими-либо препятствиями, то это население удваивается каждые 25 лет". Но препятствия-то всегда были. Мальтус указывал на два рода препятствий — разрушительные и предохранительные. В додженнеровскую эпоху правили бал разрушительные препятствия, действие которых суммировалось в чрезвычайно высокой смертности, в предохранительных же препятствиях (ограничении потомства) особой нужды не было. Напротив, все культурные установления были направлены на поддержание высокой рождаемости, которая одна только могла противостоять высокой смертности и обеспечивать непрерывность существования человеческих популяций.

В этом и был главный смысл традиционной семьи. Она была синкретическим институтом, выполняла одновременно много разных функций, но все они объединялись вокруг

центрального функционального ядра – производства потомства. Существуя всегда в условиях высокой смертности, семья не могла не быть нацелена на поддержание высокой рождаемости. Выполнение этой миссии семьи обеспечивалось многими социальными механизмами, основным же, и самым надежным среди них, была предписывавшаяся культурой, религией, светскими законами слитность, неразделимая сцепленность трех видов поведения: матримониального, сексуального и прокреативного. Брак почти обязателен и пожизнен, секс без брака – греховен и преступен, секс в браке – "супружеская обязанность", внебрачный ребенок – позор для женщины, рождение ребенка в браке – божья благодать, бесплодие – божье наказание, намеренное отделение секса от зачатия или рождения (предупреждение зачатия, плодоизгнание) – недопустимы.

Нарушения всех этих установлений стары как мир, но они всегда – прискорбное исключение из правил, всегда грех, преступление, нечто аморальное и асоциальное, неизбежно ведущее в ад, в лучшем случае – под колеса паровоза. Большинство же людей следовали общепринятым азам семейного поведения, рожали, сколько могли, платили огромную дань высокой смертности и худо-бедно поддерживали устойчивость человеческих популяций и даже обеспечивали их рост, впрочем, очень медленный, не очевидный. Как писал наш известный демограф Б. Урланис, "еще в XVIII веке направление динамики населения было неясно. Так, например, Монтескье, Кенэ и Мирабо-отец полагали, что население непрерывно убывает... Лишь в конце XVIII века факт роста населения стал ясен большинству современников, и голоса о том, что население уменьшается, смолкли"[1].

Смолкли они не случайно. Именно в конце XVIII века появились верные признаки того, что извечные "разрушительные препятствия", ограничивавшие рост населения, стали ослабевать, тысячелетний баланс рождений и смертей оказался под угрозой. Нарушение этого баланса и беспокоило Мальтуса. Он мог наблюдать только первые слабые признаки снижения смертности (в XVIII веке в Европе они уже были) и не способен был даже и вообразить того обрушения этих препятствий, какое произойдет в постдженнеровском мире. Но и того, что он разглядел, продемонстрировав тем самым незаурядную зоркость или интуицию, какая дается единицам из

1. Б. Ц. Урланис. Историческая демография. Избранные труды. – М.: Наука, 2007, с. 63.

миллионов, было достаточно, чтобы встревожиться. Что делать?

Ответ Мальтуса был прост: нужно изменить поведение семей, противопоставить ослаблению "разрушительных препятствий" усиление препятствий "предохранительных", к которым Мальтус относил "воздержание от супружества, сопровождаемое целомудрием". Он рекомендовал своим соотечественникам поздние браки – для их же блага: "При уверенности, что они выйдут замуж в 28 или 30 лет женщины, без сомнения, по собственному выбору, скорее пожелали бы дождаться этого возраста, чем к двадцати пяти годам уже быть обремененными многочисленной семьей".

Громко прозвучавшие, вызвавшие шквал не утихающей до сих пор критики предложения Мальтуса, сделавшие его знаковой фигурой своей эпохи, не содержали между тем ничего нового. Он лишь, если уместно так сказать, подвел теоретическую базу под сложившуюся практику. Как было показано много позднее, в Европе к этому времени сформировался новый, "европейский" тип брачности – поздней и невсеобщей, то есть именно такой, к какой призывал Мальтус. По оценке исследователя этого феномена Джона Хайнала, в XVIII веке "европейская" брачность была широко распространена к западу от прямой линии, соединяющей Петербург и Триест.

Но в Средние века и в Европе было не так. Хайнал цитирует Пролог Батской ткачихи из "Кентерберийских рассказов" Чосера:

Пять ведь раз
На паперти я верной быть клялась,
В двенадцать лет уж обвенчалась я,
Поумирали все мои мужья.

Хайнал исследовал доступные статистические и нестатистические свидетельства по истории брака в Европе и пришел к выводу, что "в Средние века обручение детей и брак в раннем подростковом возрасте были, очевидно, распространены во всех слоях населения... Эти обычаи практически исчезли к XVIII веку"[1].

Выходит, что европейская семья "эволюирует" очень давно, видимо, гибко адаптируясь к меняющимся условиям. Среди этих условий далеко не последним, с точки зрения сущест-

1. [Хайнал] Джон Хаджнал. Европейский тип брачности в ретроспективе // Брачность, рождаемость, семья за три века / Под ред. А. Г. Вишневского и И. С. Кона. – М.: 1979, с. 45.

вования семьи, было пусть и наметившееся только в XVIII веке снижение смертности — своеобразная "преадаптация" к ее постдженнеровской революции.

Здесь самое время остановиться и оглядеться. Мальтус, которого, в традиции марксистской критики мальтузианства, не называли иначе, как "поп Мальтус", и в самом деле был священник англиканской церкви, что ставило предел его радикализму. Агитируя за поздние браки, он призывал к добрачному целомудрию, к moral restraint — нравственному обузданию, что, при желании, можно истолковать как ханжеское морализирование. Но это позволяло ему с чистым сердцем пропагандировать существовавшую и до него "европейскую" брачность, потому что, с одной стороны, она создавала необходимые "предохранительные" препятствия чрезмерно быстрому размножению, а с другой, — не посягала на святая святых: традиционное триединство матримониального, сексуального и прокреативного поведения людей.

Однако, как это часто бывает, практические рекомендации Мальтуса оказались намного менее долговечными, чем его теоретическое провидение. Европейская брачность могла быть эффективным "предохранительным препятствием" лишь до тех пор, пока "разрушительные препятствия", несколько ослабев, все же еще сохраняли свою грозную силу, и смертность оставалась достаточно высокой. XIX век смешал карты, а XX вообще сделал всю игру бессмысленной.

Даже вступая в первый брак в 25—30 лет, европейская женщина успевала родить, в среднем, четверых-пятерых детей (приблизительно поровну мальчиков и девочек). В XVIII веке лишь примерно половина родившихся девочек доживала до среднего возраста матери, а это означало, что на смену тысяче женщин материнского поколения приходило столько же или чуть больше женщин из поколения дочерей, поэтому население если и росло, то очень медленно. Но в XIX веке доля выживающих детей стала быстро увеличиваться, в результате чего европейская брачность перестала справляться со своей ролью "предохранительного препятствия". Европейские общества быстро ощутили перемены, и начался стихийный поиск новых способов поддержания ускользавшего демографического равновесия.

По мере того как увеличивалось число выживающих детей, становилось все более ясно, что сохранение демографического равновесия невозможно без еще большего сокращения рождаемости, которого уже не могла дать поздняя "европейская" брачность. Его можно было обеспечить, только снизив рождаемость в браке, для чего нужно было разру-

бить казавшуюся неразделимой связь между сексуальным и прокреативным поведением. Технически это можно сделать с помощью предотвращения либо прерывания беременности как естественного следствия полового акта. Как известно, оба эти пути получили широкое распространение, причем на первое место определенно выходит становящееся все более доступным и эффективным предотвращение беременности, вытесняющее нежелательный по многим соображениям искусственный аборт.

Для нас, однако, важна сейчас не техническая сторона разделения секса и производства потомства, а сам факт этого разделения и его культурная легитимация. Небывалое снижение смертности не просто создало возможность автономного, то есть отделенного от прокреации, сексуального поведения — оно сделало его необходимым, перевело его из разряда возможного в разряд должного. О том, что происходит, если при снижении смертности прежняя сцепленность сексуального и прокреативного поведения сохраняется, говорит демографический взрыв в развивающихся странах. В Англии XIX века пропаганда отделения секса от зачатия или рождения детей воспринималась как экстравагантная и мало приличная затея небольшой кучки гонимых "неомальтузианцев". Сегодня в Китае, Индии или Иране, во многих десятках других развивающихся стран как можно более скорое внедрение этой "затеи" оказывается настолько важным, что становится одной из главных забот правительств, каковые и добиваются его с разной степенью решительности и успешности, иногда сильно рискуя своей популярностью, а иногда получая общественную поддержку, включая и поддержку религиозных авторитетов.

Но если снижение смертности безоговорочно требует разрушения неразделимой триады матримониального, полового и прокреативного поведения, то тем самым оно неизбежно убивает традиционную семью и традиционный брак.

В самом деле, если секс не привязан жестко к рождению детей, то почему он должен быть привязан к браку? Почему брак должен быть привязан к производству потомства, а не может рассматриваться как самостоятельная ценность? Стоит потянуть за эту веревочку, и сразу всплывает вопрос: что плохого в однополых браках? Почему браки не могут быть временными — и не обязательно с сохранением целомудрия после их распадения, что специально оговаривал Толстой?

Список этих вопросов может быть продолжен. Их задает не автор статьи — упаси Бог! — их задают сотни миллионов, а может быть, и миллиарды людей, пусть и смутно, но осознаю-

щих новизну ситуации. Миллионы и миллиарды людей в разных странах вступают в полосу поиска, который длится уже на протяжении жизни нескольких поколений и приводит к постепенному преодолению инерции прошлого, отказу от сложившихся установлений. Мало-помалу вырабатываются новые институциональные формы и новая культурная регламентация индивидуальной, частной, личной жизни людей, трассирования их индивидуального жизненного пути.

Понятно, что они двигаются ощупью, поиск ведется единственным возможным в таких случаях путем — методом проб и ошибок, идет отбор наиболее конкурентоспособных, эффективных форм и норм, причем, в силу их исторической новизны, как правило, сразу нельзя сказать, имеют ли они окончательный или промежуточный, преходящий характер. Очень непросто взвесить плюсы и минусы происходящих перемен.

Обособление сексуального поведения от прокреативного повышает самоценность сексуального поведения и его гедонистической составляющей. Союз мужчины и женщины становится более интимным, в одних случаях более глубоким, в других — более поверхностным, но всегда не слишком требующим внешнего, официального оформления брачных уз.

Новое значение приобретает избирательность в поиске долговременного партнера в супружестве, но понижаются требования к кратковременным сексуальным партнерам, связь с которыми вовсе не обязательно превращается в прочный брак. Такие связи воспринимаются и самими партнерами, и социальным окружением как подготовка к браку, как эпизоды на пути проб и ошибок, что было совершенно несвойственно для традиционного брака. Он не признавал права на ошибку, заключался в молодом возрасте раз и навсегда, а часто — не по воле и даже против воли будущих супругов.

В то время как традиционная семья предоставляла человеку единственный, более или менее однотипный даже в разных культурах вариант организации его частной жизни, в современных условиях перед ним открывается огромное разнообразие равноправных и признаваемых или, во всяком случае, обсуждаемых обществом вариантов. Некоторая часть людей проживает жизнь в одиночестве, большинство все же имеет партнеров, обзаводится детьми. Всякое ли партнерство или родительство дает основание говорить о семье? Это вопрос, скорее, терминологический, возможно, вопрос самоопределения, субъективного ощущения себя членом семьи либо временным постояльцем.

Попытаемся бегло перечислить разные жизненные варианты, которые позитивно или негативно ассоциируются в нашем сознании с понятием "семья" в его традиционном значении.

Вследствие исчезновения слитности матримониального, сексуального и прокреативного поведения возраст полового дебюта все чаще перестает совпадать с возрастом вступления в брак, момент начала фактического брака, даже если брак впоследствии и регистрируется, отделяется от момента регистрации, время зачатия или рождения детей становится мало связанным со временем начала фактических брачных отношений.

Соответственно, наряду с привычным единственным типом брака, начинающегося с регистрации и продолжающегося до конца жизни одного из супругов, существуют нерегистрируемые браки, браки, начавшиеся без регистрации, а затем зарегистрированные, повторные браки как после формального развода, если брак был зарегистрирован, или овдовения, так и после прекращения предыдущего официально неоформленного сожительства, причем повторные браки еще чаще, чем первые, могут оставаться незарегистрированными, не переставая от этого быть браками. Естественной частью этого безграничного континуума становятся и однополые браки или сожительства.

Есть браки сознательно бездетные, малодетные и многодетные. Если добавить к этому, что дети рождаются как в браке, так и вне брака, брачные партнеры, зарегистрированные или нет, нередко имеют детей от разных браков, а так как развод не стигматизируется, то дети поддерживают отношения с обоими родителями и нередко ощущают себя членами двух новых семей, образовавшихся после развода родителей, — получается очень сложная мозаичная картина.

Прокреативное поведение не только отделилось от сексуального и матримониального, но и само усложнилось и дифференцировалось, придав новые измерения понятию родительства. Оно не было однозначным и прежде. Социальное родительство — усыновление, удочерение — существовало, наряду с биологическим, всегда, было социально одобряемым, но оно никак не затрагивало прокреативного поведения. Напротив, биологическое родительство, отделенное от социального ("незаконнорожденность") — что тоже, конечно, не новость, — как правило, социально осуждалось, было чем-то маргинальным. Но теперь появление и развитие новых репродуктивных технологий — экстракорпорального оплодотворения, в том числе с использованием донорского генетического материала, суррогатного материнства, —

породило массу новых вариантов прокреации и связанных с ними вариантов родительства.

Семья, как видим, "эволюирует" очень основательно. Куда приведет этот дрейф? Боюсь, нам это еще менее ясно, чем Толстому более ста лет назад. Поиск продолжается. Хотя он ведется коллективно, он ставит вопросы и перед каждым отдельным человеком, которому постоянно приходится делать моральный выбор, балансировать между старыми и новыми ценностями, нередко принимать болезненные решения.

И все же, мне кажется, пик драматизма и даже трагизма личных ситуаций, несколько столетий питавших искусство всех жанров, уже пройден. Страсти, сопровождающие личную, интимную жизнь человека, еще бушуют, но для сегодняшнего общества это какой-то бытовой, рядовой уровень, какой едва ли способен вдохновить на новую "Госпожу Бовари" или "Анну Каренину", даже на новую "Монахиню". Тем не менее литература, театр, кинематограф, живопись, в той мере, в какой они остаются искусством и не смешиваются с общелягушечьим гламуром, сохраняют роль разведчика, "вперед смотрящего", обнаруживающего и обнажающего все новые и новые драматические коллизии нашего индивидуального бытия. Оставим им право на разведку, на заблуждения и на боль, они помогают осмыслить новую реальность каждому из нас. И, пожалуй, единственное, чего, мне кажется, не следует делать, так это метать громы и молнии по поводу каждого нового поворота массового поиска рода человеческого, оказавшегося в исторически небывалых обстоятельствах. Здесь, как и везде, особенно опасен тот, кто "знает, как надо".

Светлана Силакова

Новые слова для новой семьи

Тему этого исследования подсказал... телевизор. В сериале "Шерлок", где действие рассказов Конан-Дойла перенесено в современный Лондон, Холмс представляет Ватсона словами: "Это мой партнер".

Сценаристы определенно позаимствовали фразу из оригинала (например, в "Союзе рыжих" Холмс представляет Ватсона: "Мой партнер и помощник по многим из самых успешных дел"). Вот только в Лондоне 2010-го фраза "Это мой партнер" может означать, что Холмс и Ватсон — супруги. А точнее, состоят в "гражданском партнерстве" — официальном союзе: согласно закону от 2004 года, однополая пара наделена примерно теми же юридическими правами и обязанностями, что и гетеросексуальная.

Собственно, в значении "законный супруг" слово "partner" употребляется давно, но имеет налет официальности (употребляется, например, в анкетах вместо husband/wife — муж/жена) или высокопарности (в словосочетаниях типа "partner for life" — "спутник жизни").

ЖЖ-пользователь electric-druid[1] отмечает: "По моему опыту, partner обычно употребляется по отношению к парам, которые не состоят в законном браке. Иногда этот термин употребляют и женатые, если он их больше устраивает, но так случается редко. Пожалуй, всего точнее будет сказать, что это слово ассоциируется не только с гомосексуальными, но и с другими 'негетеронормативными' отношениями: partner вместо слов 'жена', 'спутник жизни', 'парень', 'девушка' и тому подобных — и часто используется, когда люди состоят в открытом браке или полиаморных отношениях. Итак, мне всегда казалось, что слово 'partner' — самый нейтраль-

1. Все примеры и разъяснения, кроме случаев, где это не оговорено особо, взяты из материалов сообщества linguaphiles на Livejournal.com. Сообщество объединяет в основном профессиональных лингвистов и людей, вдумчиво относящихся к изучению иностранных языков; как правило, члены сообщества дают серьезные и взвешенные ответы. В большинстве своем это носители английского языка. Если я не указываю ников, это означает, что пользователь попросил скрыть его комментарий.

© Светлана Силакова, 2011

ный термин для указания на интимную и/или романтическую связь с кем-то"

Вот как рассказывает об эволюции термина "partner" ЖЖ-пользователь dorsetgirl: "Еще пять-десять лет назад крупные газеты подразумевали под partner исключительно делового партнера. О спутнике жизни некого гея газета вообще не упомянула бы, жену так и назвала бы wife, а женщину, с которой герой статьи живет в незарегистрированном браке, – long-term girlfriend.

Сегодня – думаю, перемена произошла в 2005 году с вступлением в силу Закона о гражданском партнерстве – все кардинально изменилось. Когда речь идет о деловом партнере, журналисты обязательно указывают business partner, а выражение 'партнер Тома Брауна' автоматически трактуется как 'человек, с которым Том Браун состоит в интимных отношениях и делит кров'.

В переходный период между этими двумя этапами слово 'partner' употреблялось, чтобы намекнуть на гомосексуальную ориентацию. Сегодня всем уже неважно, какая у кого ориентация, поэтому partner может обозначать и гомосексуалиста, и гетеросексуала. Газета вряд ли будет уточнять, какого пола partner персонажа, если для сюжета это не важно".

Правда, как посетовала британская блоггерша The Cunning Linguaphile, анкеты для скрепляющих свои узы остались старомодными. "Когда мы пошли подавать документы на гражданское партнерство, мне пришлось записаться в графу 'жених'! Фу-у-у!" – написала она, поясняя, что они с партнершей предпочитают именовать друг дружку "моя жена"[1].

По поводу эвфемизмов интернет-обозреватель, пишущая под псевдонимом Miss Manners, ехидно заметила: "Когда кого-то арестовывают за избиение матери его детей, в полицейской хронике он непременно именуется 'жених потерпевшей'".

Некоторые информаторы особо выделяют устойчивое выражение: "This is my... umm... partner"/"this is my... umm... friend", то есть: "Это мой... ну-у-у... друг" – тонкий намек, что вас связывает не просто дружба.

Но если англичанин или американец называет кого-то friend безо всякого лукавого подмигивания, то это "отношения, никогда не предполагающие раздевания", по выражению блоггера monotran[2]. Автор рассказывает печальную историю из своей юности: "Мне страшно нравилась одна немецкоязычная девушка. И как же мне стало больно, когда до меня дошло: если немка говорит о ком-то 'mein Freund', а не 'ein Freund von mir' (с неопределенным артиклем), то она подразумевает: 'мой парень'".

Надо сказать, что сегодня многие жители западных стран не оформляют своих от-

1. См. блог по адресу http://cunninglinguaphile.blogspot.com/
2. http://monotran.blogspot.com

ношений даже после многолетней совместной жизни и/или появления общих детей. По некоторым данным, в Британии без регистрации живет каждая четвертая пара. Эти люди не соблазняются даже налоговыми льготами, которые дает законный брак. Общественное движение "Equal Love" — "Равенство в любви" — считает несправедливым, что гетеросексуальные пары могут заключить союз исключительно под названием "брак". Госслужащий Том Фримен и аспирантка Кэтрин Дойл, члены этой организации, демонстративно подают заявление не на заключение брака, а на гражданское партнерство (пока безуспешно). Кэтрин так поясняет свою позицию: "Для нас с Томом роли 'муж' и 'жена' — слишком узкие рамки, наследие времен, когда женщина пресмыкалась перед мужчиной. Мы с Томом в повседневной жизни чувствуем себя не супружеской парой, а гражданскими партнерами".

Нелишне вспомнить, что partner восходит к латинскому partitio — делить — и традиционно обозначает любого человека, который связан с другим общим делом и/или общей собственностью: можно быть партнером по деловому товариществу, по танцам, по игре в карты. По умолчанию предполагается, что партнеры равноправны.

Те, кто высоко ценит равноправие полов, находят в слове "partner" еще одну положительную сторону — оно не обозначает ни половой принадлежности, ни какой-либо из традиционных социально-гендерных ролей. Как-никак, многих смущает завет апостола Павла: "Да убоится жена мужа своего".

Американская колумнистка Дебра Нуссбаум Коэн разъяснила: "Я называю своего законного мужа my partner, для того чтобы правильно описать наши отношения. А именно: вопреки огорчительным американским нормам, муж — мой равный партнер по домашним хлопотам и воспитанию детей. Кстати, мы оба работаем вне дома".

Кому-то слово "partner" кажется суховатым: "Нас ведь связывает любовь, а не коммерческий контракт". Другие с ним мирятся: "Мы называем друг дружку partners, так как boyfriend и girlfriend в нашем возрасте звучало бы глупо, а lady friend и gentleman friend — чересчур жеманно и старомодно". Третьи предпочитают кокетливое "старик" и "старуха", а на Филиппинах, по словам одного из информаторов, распространено "мамочка" и "папочка" ("мы как бы репетируем, чтобы наши будущие дети с рождения знали, как к нам обращаться").

Между тем есть еще одно универсальное, абсолютно политкорректное, гендерно-нейтральное слово. Это "significant other" (на письме, особенно в Интернете, часто SO) — дословно "значимый другой". Многие находят это слово чересчур прозаичным. И действительно, родилось оно как психиатрический термин ("человек, от которого пациент находится в психологической зависимости").

ЖЖ-пользователь nyxelestia отмечает: "Очень многие гомосексуальные пары, состоящие в прочных длительных отношениях (особенно если они заключили гражданское партнерство), подчеркнуто называют себя традиционными словами 'муж' и 'жена'. Таким образом они акцентируют, что их супружество — самое настоящее и ничем не отличается от гетеросексуального брака. Мне приходилось наблюдать, как одна пара очень сердилась, когда знакомые называли их 'подругами'. Как-то мне захотелось отдубасить гомофоба, который называл их 'подругами', просто чтобы подколоть..." На это другой ЖЖ-пользователь отвечает: "Верно, но не всегда: я состою в гражданском партнерстве, но всегда немедленно пресекаю попытки назвать мою партнершу 'твоя жена'. Мне 'жена' ни к чему, и сама я быть 'женой' не желаю!"

Еще одна респондентка, называющая себя пансексуалкой, поведала: "Меня часто принимают за гетеросексуалку, а мне это неприятно. Поэтому моего друга, с которым я встречаюсь 10 лет, я демонстративно называю my significant other".

Как бы то ни было, и partner, и significant other предполагают более-менее серьезные отношения. А если все крайне неопределенно? Или не хочется отсекать себе путь к свободной охоте? Именно для таких ситуаций и жизненных установок создатели социальных сетей изобрели вариант статуса "it's complicated" (русский аналог "все сложно"), стоящий в одном ряду с однозначными "помолвлен", "женат", "разведен". Самое забавное, что в разговорной речи "it's complicated" превратилось в существительное: "А это Пол, мой it's complicated".

Классификации подверглись и гибриды друга с любовником в разных пропорциональных отношениях. Fuckbuddy — человек, с которым ты удовлетворяешь потребность в сексе. Friend with benefits (друг с правом на доступ к телу) — почти то же самое: человек, с которым тебя связывают и дружеские отношения, и интимная связь без обязательств. Friend with benefits and more — "зачастую употребляется в шутку, как намек, что вы много времени проводите в койке, но серьезный роман между вами — пока на начальной стадии" (пояснили на linguaphiles).

И как же прикажете переводить всех этих partners и significant others? Русский язык, в отличие от английского, неблагосклонен к гендерной нейтральности, поскольку существительные имеют грамматический род. Остается лишь употреблять существительные среднего рода ("а это мое новое увлечение"). Остается лишь надеяться, что переводчика выручит метод компенсации. И сознание того, что не всякий партнер — компаньон и пайщик.

Новые детские книги – мосты между взрослыми и детьми

Вы видели когда-нибудь, чтобы человек ехал на самокате и на ходу читал книжку? Ну, разумеется! Сумасшедший самокатчик — эмблема одного из лучших и едва ли не самого смелого из российских детских издательств. Не боясь ухабов и непроторенных дорожек, оно на свой страх и риск доставляет читателям тщательно отобранные новинки детской литературы. В каталоге "Самоката" немало переводных книг, и многие из них имеют самое прямое отношение к проблемам сегодняшней семьи. О том, как эти проблемы преломляются в современной западной литературе, адресованной младшим поколениям, Наталья Мавлевич побеседовала с главным редактором издательского дома "Самокат" Ириной Балахоновой.

Наталья Мавлевич. Взрослые всегда старались оберегать мир ребенка от всего, что может повредить его неокрепшей психике, поколебать его веру в людей, доверие к взрослым и безусловное уважение к родителям. Но в последние десятилетия что-то изменилось в европейской детской литературе, поменялся ее тон и значительно расширилась тематика. С детьми заговорили о вещах совсем не детских. Это относится ко многим книгам вашего издательства. Как принимают их российские читатели?

Ирина Балахонова. Действительно, такая, условно говоря, новая литература для детей появилась на Западе примерно в 70-е годы XX века и все больше развивается. Писатели заговорили с детьми, причем иногда совсем маленькими, на такие прежде запретные темы, как развод родителей, смерть, тяжелая болезнь. Справедливости ради надо сказать, что и отечественные авторы уже в 90-е годы стали открыто упоминать о многом, что прежде было табу. Достаточно назвать книги Екатерины Мурашовой, еще тогда, в 90-е, переведенные на немецкий язык, но таких писателей у нас немного. Что касается того, как принимают читатели попытки откровенно говорить с детьми о проблемах современной семьи, то нужно уточнить, кого мы имеем в виду. Читатели-дети принимают легко, а вот у взрослых такая тенденция часто вызывает протест. Взять хотя бы замечательную книгу австрийской писательницы Кристине Нёстлингер "Само собой и вообще", переведенную с немецкого Верой Комаровой. В ней дети

страдают, оттого что их родители расстаются. Мне приходилось слышать неодобрительные отзывы: дескать, говоря о разводе, вы вырабатываете у детей неправильные стереотипы. И уж совсем не принято у нас упоминать в детских книжках о смерти. Не дай бог, травмируешь ребенка!

Н. М. Странно, что на родине Толстого тема смерти затушевывается.

И. Б. Конечно. Русская классика, в том числе та, которую изучают в школе, вообще не похожа на сахарный сироп. И когда в спорах с библиотекарями мне не хватает аргументов, я прибегаю к последнему, говорю: "Вы же даете одиннадцатилетнему ребенку в руки 'Капитанскую дочку', и вас ничего не смущает!" Но таковы особенности постсоветского сознания – важно не содержание, а подпись под текстом. Есть авторы безусловно правильные, а есть неправильные.

Н. М. Иными словами, в книге для детишек все должно происходить на фоне идеальной семьи, это как в школьных задачках по физике: в расчете на идеальные условия, без учета трения и отклоняющих векторов.

И. Б. Между тем идеальных семей не бывает. Если вернуться к теме развода, то надо понять вот что: дети всегда склонны винить в том, что родители расстаются, себя, это вам любой психолог скажет. Им надо помочь понять, что же происходит. Иногда это и самим взрослым нелегко сделать. Вот вам живой пример. Недавно я получила от знакомых благодарность за уже упоминавшуюся книгу Кристине Нёстлингер. Их близкие родственники находились в процессе мучительного развода, а дети бились в клетках, которые создали им родители, и ни те ни другие не умели разрешить ситуацию. Вообще у таких авторов, как Нёстлингер или Ульф Старк, один из лучших шведских писателей, пишущих для детей, и один из наших любимейших авторов (мы издали три его книги в переводе Ольги Мяэотс), можно увидеть неожиданный поворот извечной темы конфликта поколений. Очень часто младшие герои стремятся понять старших и даже заботятся о них. У нас все больше пишут о том, что взрослые должны понять ребенка, а вот о том, что они сами нуждаются в понимании с его стороны, как-то не думают.

Н. М. Похоже, мы живем в мире инфантильных взрослых и рано взрослеющих детей...

И. Б. Во всяком случае, проблемы взрослых зачастую родом из детства, и у нас многие люди эти свои проблемы вовремя не осмыслили и не решили. В силу разных причин, связанных даже и с историческими условиями, в которых они жили, когда были детьми, решить их нередко было просто невозмож-

но. И вот они живут дальше, внешне выглядят взрослыми, и уже свои дети у них подрастают, а на самом деле они глубоко инфантильны. Наступает время, когда такие "недозревшие взрослые" опять сталкиваются с недопонятым, недодуманным через проблемы собственных детей. А чтение хорошей подростковой литературы позволяет возвратиться к этим нерешенным вопросам и ответить на них в диалоге с ребенком.

Н. М. Само понятие литературы для подростков возникло сравнительно недавно. С чем, на ваш взгляд, это связано?

И. Б. Тому было несколько причин. Во-первых, на Западе довольно давно столкнулись с тем, что так заботит сегодня нас: резко сократилось количество читающих детей. Литература, которую им предлагали прежде, то есть либо нарочито "детская", либо морализаторская, либо взрослая классика, перешедшая в разряд детского чтения, стала им неинтересна, утратила связь с их реальной жизнью. С другой стороны, западный рынок понял, что ребенок любого возраста, в том числе подросток, тоже может быть его потребителем, что с ним можно разговаривать, создавая качественный продукт, который отвечал бы его насущным потребностям, и что этот продукт может приносить реальный доход.

Н. М. Значит ли это, что такая литература изготавливается по мерке потребителя и по социальному заказу?

И. Б. Разумеется, нет. То есть в этой области, как и в любой другой, подвизается немало изготовителей книг, которые пытаются попасть в струю или в рамки той или иной издательской серии. Но мы выбираем книги прежде всего исходя из их художественной ценности. Да, можно выстроить книги по тематике: о том-то и о том-то... Но это не значит, что издатели решили и заказали: надо написать книги на такие-то темы. Все сложнее. Если автор по-настоящему хорошей книги — а читатель, особенно подросток, всегда отличит искренность от фальши — пишет, к примеру, о больных или одиноких детях, значит, ему важно высказаться. Несколько лет назад мы издали книгу француженки Мари-Од Мюрай "Oh, boy!"...

Н. М. За перевод которой Наталья Шаховская получила премию Гильдии переводчиков...

И. Б. Да. Так вот, эта книга вызвала самые горячие споры среди критиков. В частности, было и такое обвинение: она написана как популярный учебник толерантности и явно по заказу. Но потом Мари-Од приехала в Москву на книжную ярмарку, читатели и критики увидели ее.

Н. М. Я тоже видела. Она сама похожа на трудного подростка. Пришла в какой-то хулиганской кепочке набекрень, се-

ла на угол стола и, болтая ногами, принялась рассказывать о своих пристрастиях.

И. Б. А критик, который обвинял ее в ангажированности, стал свидетелем такой сцены. Мари-Од воспользовалась тем, что ярмарку посетил министр экономики Франции, вцепилась в его руку и не выпускала, пока не высказала все, что она и целое объединение детских писателей думают о политике правительства в отношении детей эмигрантов, которых тогда высылали из страны. И критику стало ясно: то, что пишет Мюрай, отражает ее человеческую позицию. "Oh, boy!" оказалась первой и чуть ли не единственной детской книгой на русском языке, где среди героев есть гомосексуал. Там, в центре повествования, дети, у которых погибли родители, и их опекуном становится сводный брат, вот этот самый гей-пофигист, которому даром не нужны никакие детки. Образ явно утрированный, в духе Мюрай. Она не задается целью принять или заклеймить такой образ жизни, книга о другом. О том, может ли человек, слабый маргинал, повзрослеть и взять на себя ответственность за детей.

Н. М. Бросается в глаза, что среди книг, которые вы издаете, очень много скандинавских. Ульф Старк, Анника Тор, Юн Эво, Мария Парр — шведские, норвежские авторы. Это потому, что у "Самоката" сложились более тесные отношения со скандинавскими издателями?

И. Б. Нет. Просто в скандинавских странах действительно больше книг для подростков, многие успели стать классикой. Из наших последних я бы отметила книгу норвежца Юна Эво "Солнце — крутой бог". Кстати, ее переводчица, Любовь Горлина, разделила премию с Натальей Шаховской. Шестнадцатилетний герой романа хочет стать взрослым и составляет список вещей, которым ему надо для этого научиться, но взрослеет благодаря совершенно другим обстоятельствам. Один из этапов взросления — помощь отцу, которого мальчик сначала подозревает в супружеской измене, но вскоре узнает, что отец болен раком, боится болезни и замыкается в ней. В скандинавских странах много талантливых писателей, бесконечно внимательных к тому, что происходит с подростками. И пишут они максимально честно, без соплей, что подкупает и взрослых, и юных читателей.

Н. М. Возможно то, что в нашей детской литературе еще довольно мало аналогичных книг, — следствие советского воспитания. Рискованные темы не становятся органичными для писателей, их подсознательно продолжают считать недетскими.

И. Б. И это несмотря на то, что есть проблемы, которые буквально бросаются в глаза. В России, где не только мужской,

но и женский алкоголизм становится национальным бедствием, разрушает семьи, эта тема никак не присутствует в книгах, адресованных детям. А в книге Эндре Люнда Эриксена "Осторожно, Питбуль-Терье!", переведенной с норвежского языка Ольгой Дробот, сошлись два героя-горемыки: у одного отец пьет, у другого мать страдает депрессией. Еще одна животрепещущая тема — свободные и вместе с тем уважительные отношения в семье. Одна из наших последних книг — переведенная со шведского Александром Туревским — повесть Мони Нильсон-Брэнстрем "Цацики идет в школу". Я бы определила ее как книгу про абсолютную любовь. Мать семилетнего героя, рок-певица, назвала его в честь своего любимого греческого блюда. Папа у Цацики — грек, но он его никогда не видел. Он плод этакой курортной любви. Влюбляется мальчик, влюбляется мама, и они обсуждают друг с другом свои сердечные дела. Я опасалась, как воспримут эту новинку, а она, непонятно почему, оказалась очень востребованной. Вообще судьбу книги невозможно предугадать, иначе все издавали бы только хиты.

Н. М. Я вспоминаю первую книгу, выпущенную издательством "Самокат" и тоже переведенную Натальей Шаховской, — повесть "Собака Пес" французского писателя и педагога Даниэля Пеннака. Вот это был ошеломительный успех!

И. Б. Это история девочки, которую родители кормят, одевают, выполняют все ее прихоти, но при этом в упор не видят других и не научили этому ее. Положение, очень характерное для современной семьи.

Впрочем, отношение к детям и у нас постепенно начинает изменяться — взрослые все больше видят в них отдельные, самостоятельные личности, пытаются наладить диалог как с равными. Хочется верить, что в этих изменениях есть и наша заслуга, не напрасно мы на протяжении семи лет издаем книги, затрагивающие вопросы взаимопонимания между поколениями, вообще между совершенно разными людьми, которые должны научиться уважать и слышать друг друга. Раз уж наше государство тут пока бессильно, роль просветителей, строителей незримых мостов между взрослыми и детьми, между культурами, играют педагоги, издатели, правозащитники.

Н. М. Если попробовать найти что-то общее, свойственное буквально всем книгам новой детской литературы, то это, пожалуй, как раз и будет внимательное отношение к личности, взрослой, ребячьей или даже собачьей, то самое умение видеть и понимать другого. Этот другой может говорить на другом языке, жить по другим обычаям, быть чудны́м, больным, толстым, угрюмым, нервным... Все это называется

словом, ключевым для современной цивилизации и так плохо приживающимся у нас, — словом "толерантность".

И. Б. Не в слове дело, слова можно найти и другие, сказать "сопереживание", "сочувствие", "человеколюбие". В любом случае, с детьми надо начинать не с терминов, а с ситуаций, вызывающих в них сопереживание. Сегодня в мире многие понятия сместились. Например, понятие о силе стало совсем не таким, каким оставалось на протяжении многих веков. Сила интеллекта стала важнее физической силы, умение хорошенько врéзать и дать сдачи отошло на второй план. Об этом у нас тоже есть книжка, предназначенная для семейного чтения, — "Как стать настоящим львом" Ханса Ципперта, перевод с немецкого Евгения Воропаева. Она очень смешная, но, по существу, это попытка изложить гуманную позицию современного общества. Герои книжки: папа-лев, альфа-самец, хищник, привыкший все решать силой, и львенок-вегетарианец, которому отвратительно всякое насилие. Как им ужиться?

Н. М. И что, уживаются?

И. Б. В конечном счете — да. Это же все-таки детская книжка!

Среди книг

с Верой Калмыковой

Забавы романистов, или Можно ли постичь всю правду о человеке?

Милан Фюшт *История моей жены: Записки капитана Штэрра* / Пер. с венгерского Т. Воронкиной. — М.: Водолей, 2010. — 416 с.

Что бы ни говорили приверженцы литературы non-fiction, а роман бессмертен. Потому ли, что неисчерпаемы человеческие отношения, потому ли, что всегда привлекательна возможность хоть чуть-чуть развеять потемки чужой души, или еще по какой причине — Бог весть, но целиком заменить вымысел жизненной правдой ни у кого и ни в какой культуре не получится.

Роман Милана Фюшта "История моей жены" с тем же успехом мог бы называться "История моей любви", "История моей жизни", а еще точнее — "История моей души". Автор проводит своего героя, человека в начале повествования простого и незамысловатого, через испытания любовью (только любовью! ничего общественного, ничего политического!). И в результате "на выходе" возникает образ сложный, загадочный — нерасплетаемый клубок мыслей и ощущений, фантазий и веры. И это превращение столь тонко и незаметно, что номинирование произведения на Нобелевскую премию, имевшее место во время оно, кажется совершенно правомерным. Хотя нет в "Истории моей жены" никаких социальных реалий, могущих что-то там "вскрыть" или тем паче "обличить". Только любовь.

Первое ощущение от капитана Штэрра — ну вот Гаргантюа, только унылый. "Интересы мои постепенно переключились на еду... Один из моих знакомых... как-то раз в моем присутствии рискнул заметить, что человек, мол, хуже свиньи, поскольку норовит отведать-попробовать все на свете. Я же на этот счет противоположного мнения. Как иначе постигнуть чужие вкусы и обычаи? Да и вообще, я убежден, что, если хочешь проникнуть в душу того или иного народа, надобно прежде всего вкусить их блюд. <...> Знакомые называли меня 'чудовищем' за то, что я норовил все опробовать и съесть".

А в конце исповеди Штэрра перед нами человек, почти свободный от власти материального мира. Перед ним встает виде́ние умершей жены — бывшей жены, если учитывать формальности: "Небрежно и, по всей видимости, рассеянно она брела по залитой солнцем улице; на ней был черный плащ, застегнутый у ворота. Не зря я так долго распространялся об игре черного цвета и золотистого сияния. Вот и сейчас повторилось то же самое: ее фигура казалась воздушной, призрачной, бестелесной. И выглядела жена на удивление молодо... невероятно, непостижимо юная, она невольно наводила на мысль, будто бы время не властно над нею".

Так что, если верить Милану Фюшту (и, разумеется, переводчику Татьяне Воронкиной), бывших жен не бывает...

Роберт Гулрик *Верная жена:* Роман / Пер. с англ. Н. Омельянович. — М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2011. — 304 с.

Роман не только бессмертен, он еще и демократичен. Для него не существует имущественных, сословных, интеллектуальных ограничений: кстати говоря, в отличие от помянутого non-fiction. В рекламной листовке (а какое произведение зарубежной литературы в России обходится сегодня без репрезентативных вкладышей!) к изданию "Верной жены" Роберта Гулрика указывается, что за шесть месяцев на Amazon.com было продано более 3 000 000 экземпляров. Показатель, что и говорить, выразительный.

А вместе с тем перед нами — произведение, написанное изысканным языком и вообще, кажется, относящееся к "высокой литературе". Вряд ли его покупали — и читали! ведь читали же! — исключительно интеллектуалы (не станем задаваться вопросом, наберется ли на родине автора столько интеллектуалов). Изложенная чуть попроще история Ральфа Труита и Кэтрин Лэнд могла бы, став сюжетом дамского любовного романа, уместиться под мягкими обложками покетбука и насытить воображение пары тысяч немолодых заокеанских бухгалтерш... если бы не авторский стиль, психологически точный и метафорический, захватывающий буквально с первых страниц: "Труит ощущал страшное одиночество. Всю жизнь он словно находился в огромной ледяной глыбе, отовсюду к нему тянулись жадные руки, каждое сердце чего-то от него хотело. Труиту казалось, что у всех есть причина для существования и свое предназначение на земле. У всех, кроме него. У него не было ничего. В промозглом и жестоком мире для него не нашлось места".

И так же вряд ли перед нами случай, аналогичный давнишней ситуации с переводами Курта Воннегута работы Риты Райт. Тогда, помнится, американцы потешались над тем, что "русский Воннегут" оказался существенно привлекательнее, гм. нативного. Перевод Н. Омелья-

нович... Неплохо бы, кстати говоря, издательствам взять за правило указывать *имя* переводчика: все-таки без него произведение не существовало бы по-русски. Что означает это загадочное "Н."? Николай? Никита? Или, осмелюсь предположить, Наталья?!...Итак, перевод замечателен, но вряд ли метафоры могут оказаться в этом случае произволом русского "толковника". Обычно такого все же не происходит.

Но, отвлекаясь от стиля, обратимся к захватывающему сюжету, в котором — и мужчина, пробудившийся от сна в духе *сомнительного Фройда*, и женщина, которая в лучших традициях русской классики *коня на скаку остановит* (у Гулрика — даже двух), и тайный яд страстей, и ложь, и... хеппи-энд с неожиданным кратким завершением: "Такое случается".

Не только в бульварной литературе. В высокой, оказывается, тоже. Что ж — обнадеживает.

Хербьёрг Вассму *Сто лет* / Пер. с норвежского Л. Горлиной. — М.: АСТ, Астрель, 2010. — 640 с.

В подавляющем большинстве зарубежных романов, попадающих сегодня к русскому читателю, есть некая общая черта. Те из них, которые не обращены к глубокому полуисторическому прошлому (времен, скажем, Александра Македонского), почти обязательно — за редчайшим, в общем-то, исключением — имеют в фабульной основе какой-нибудь — на выбор автора — год из отрезка 1890—1913. То есть из области бель-эпок или модерна (зависит от опять же авторских эстетических пристрастий).

Возникает ощущение, что вся Европа ищет свои истоки в *довоенном* (имеется в виду, конечно, Первая война, 1914—1918 годы, положившая *всему* начало) прошлом. Не только наша страна, но и другие, которые мы из своего извечного далека называем благополучными. Видимо, наше ощущение посторонних — не совсем отвечает действительности.

Норвежская писательница Хербьёрг Вассму вся во власти столетней семейной любовной драмы, и оттого она, конечно, склонна к модерну. Переживая историю своей семьи (она погружается в себя, думая о любви давно умерших людей и опять — только любовь, социальное проходит довольно скромным фоном), — любит сама. Собственно, так всегда и бывает. "Мне помогает, когда я вижу единство нашего рода. Не скрытность, не позор и не ненависть, а все остальное. Помогает, когда я вижу людей там, где они находились в определенное время, а не такими, какими стали потом. <...> Можно ли постичь всю правду о человеке?"

О переводчике "Ста лет" Любови Горлиной говорить нет нужды: все сказала премия "Мастер", присуждаемая гильдией "Мастера литературного перевода". 27 декабря 2010 года премия была вручена Любови Горлиной.

Без комментариев.

У монитора

со Светланой Силаковой

"Не мать, а тигрица": об одной буре в англоязычном Интернете

"Многие гадают: 'Как китайцы воспитывают детей, которые воплощают в себе все стереотипные представления об успехе? Как удается родителям вырастить столько блестящих математиков и юных виртуозов?'".

Так начинается статья гарвардского профессора правоведения Эми Чуа "Почему китайские матери лучше", которая появилась в газете "Уолл-стрит джорнэл" 8 января 2011 года и собрала почти восемь тысяч комментариев. Собственно, статья представляет собой отрывки из автобиографической книги Чуа "Боевой гимн матери-тигрицы"[1].

Чуа, мать двух дочерей, делится своим личным опытом: "Вот неполный список того, что я категорически запрещала моим Софии и Луизе: 1) ходить в гости с ночевкой; 2) ходить в гости поиграть; 3) приглашать детей поиграть к себе домой; 4) участвовать в школьных спектаклях; 5) ныть: 'Ну почему нам нельзя участвовать в школьных спектаклях?!'; 6) смотреть телевизор и играть в компьютерные игры; 7) самим выбирать кружки и студии; 8) получать оценки ниже высшего балла; 9) не быть лучшими в классе по всем предметам, кроме физкультуры и театрального искусства; 10) играть на каких бы то ни было инструментах, кроме фортепиано и скрипки; 11) не играть на фортепиано и скрипке". (Дочери Чуа с раннего возраста учились музыке и снискали признание; старшая, София, выступала в Карнеги-холле.)

Режим — поистине драконовский. Но самую сильную эмоциональную реакцию читателей вызвали не предполагаемые мытарства девочек, а тот факт, что Чуа противопоставляет свои педагогические методы "западным". Она называет себя "китайской мамой" (правда. подчеркивая, что в переносном смысле). "Я знала родителей ро-

1. Эми Чуа заявляет, что текст, напечатанный в "Уолл-стрит джорнэл", — тенденциозная компиляция из фрагментов книги, которую с ней не согласовали. "Они даже не намекнули, что книга рассказывает о моей эволюции, о том, как жизнь меня заслуженно проучила, как я отказалась от крайне суровой китайской модели воспитания", — поясняет она. И все же, вероятно, именно газетная публикация помогла "Боевому гимну матери-тигрицы" в первый же день продаж занять шестое место среди бестселлеров магазина "Амазон".

дом из Кореи, Ганы, Ирландии и Ямайки, которые тоже заслуживают звания 'китайская мама', и некоторых родителей китайского происхождения, которые его не заслуживают". И все равно читатели обиделись – дескать, Чуа смотрит свысока на другие народы. По иронии судьбы, китайская диаспора отказалась признать Чуа своей: "Она родилась в Америке, ее муж – белый, ее дети вряд ли говорят по-китайски[1]. Она полностью оторвалась от китайской культуры. Так как же она смеет называть свои методы 'китайскими'?"

Как бы то ни было, главный тезис статьи – "китайские педагогические методы лучше, чем западные" – подкрепил страх американского (да и не только) обывателя перед безудержным развитием Китая. Почти половина американцев, опрошенных в конце 2010 года, ошибочно считает, что китайская экономика лидирует во всем мире. Накануне визита министра обороны США в Пекин китайская сторона "по случайному совпадению" впервые подняла в воздух сверхсовременный истребитель, конкурирующий с американскими аналогами. Шанхайские школьники возглавили мировой рейтинг по уровню знаний, а их американские ровесники отброшены во вторую десятку. И вот теперь – миллионы вундеркиндов, якобы подрастающих в Китае! Немудрено, что обыватели делают из статьи Чуа свой вывод: "Ну вот, через пятьдесят лет китайцы обратят нас в рабство. Зато, в отличие от них, мы живем себе в удовольствие!"

Эми Чуа пишет: "Если западные родители полагают, что учеба должна приносить удовольствие, то китайские осознают: удовольствие получаешь лишь от того дела, с которым справляешься. Чтобы хорошо справляться, нужно усердно учиться, а дети никогда не станут усердствовать добровольно. Поэтому главное – не считаться с желаниями ребенка". "Китайская" стратегия создает, как выражается Чуа, "счастливый круг": под нажимом родителей ребенок кропотливо занимается, становится виртуозом, удостаивается заслуженных похвал и, окрыленный, штурмует новые высоты.

Чуа нашла три крупных различия между менталитетом так называемых китайских и западных родителей.

Первое: западные родители боятся, что критика породит комплекс неполноценности, и говорят "Молодец!", даже когда ребенок приносит тройку. Китайская мама, увидев пять с минусом, хватается за сердце, а при виде четверки рвет на себе волосы. "Китайские родители требуют отличных оценок, так как уверены, что их ребенок способен учиться на отлично – если не учится, значит, мало старается", – пишет Чуа. Ребенка отчитывают, наказывают и стыдят, заведомо предполагая, что его психика все выдержит.

Тактичность западных родителей не доведет до добра, уверена Чуа. "Отец одной моей знакомой поднял тост: 'За мою

1. Сама Чуа в интервью утверждает, что нанимала дочерям нянь со знанием литературного китайского языка – сама их не учила, так как хорошо знает лишь хоккиенский диалект, воспринятый от родителей.

дочь, красивую и талантливую!' Потом она мне призналась, что в этот момент почувствовала себя никчемной неудачницей".

Второе: китайские родители уверены, что дети обязаны им всем на свете. Китайские дети должны быть всю жизнь благодарны родителям — слушаться их, оправдывать их надежды. Типичный представитель западных родителей — муж Эми Чуа, Джед, — возражает: "Это родители произвели на свет детей, а значит, обязаны их обеспечить. Дети ничего своим родителям не должны. Обязанности у них возникнут только по отношению к их собственным детям". "По-моему, для западных родителей это очень невыгодная сделка!" — восклицает Чуа (кстати, специалист по международным коммерческим контрактам).

Третье: китайские родители уверены, что доподлинно знают, что́ ребенку на пользу, и не считаются с его собственными желаниями и вкусами. Лучший способ оградить дитя от бед — научить трудиться, привить ценные навыки и уверенность в себе, которых никто не отнимет.

Чуа рассказывает, как целую неделю безуспешно разучивала со своей семилетней дочерью Лулу трудную фортепианную пьесу "Белый ослик". "Наконец, за день до урока с учителем, Лулу объявила, что сил ее больше нет, и хлопнула дверью.

— Немедленно вернись за пианино, — приказала я.

— Ты меня не заставишь!

— Еще как заставлю.

Вернувшись за пианино, Лулу на мне отыгралась. Дралась, толкалась, лягалась. Разорвала ноты в клочья. Я склеила ноты скотчем и вставила в пластиковую папку, чтобы Лулу не смогла уничтожить их вновь. Потом отнесла в машину кукольный домик и заявила, что пожертвую его Армии спасения, если до завтра она не научится играть 'Белого ослика' без запинки. <...> Мы занимались до ночи, пропустили ужин. Я держала Лулу за пианино — не отпускала даже попить воды, даже в туалет. Дом превратился в поле брани, я охрипла от крика, но никакого прогресса не было заметно — наоборот, Лулу играла все хуже. Даже я засомневалась, что у нее получится. И вдруг, нежданно-негаданно, Лулу сыграла пьесу правильно. <...> И буквально засветилась изнутри: 'Гляди, мама, это совсем просто!' После этого ее нельзя было оторвать от пианино: она играла 'Ослика' с начала до конца вновь и вновь. В ту ночь она легла спать со мной, мы лежали в обнимку, щекотали и смешили друг дружку". "Если родитель позволит ребенку опустить руки, то лишь пошатнет его самооценку. И наоборот, лучшее подспорье веры в себя — когда решаешь задачу, которую считал для себя непосильной", — заключает Чуа.

Автор также разъясняет, что "китайские мамы" посвящают своим детям массу времени: делают вместе с ними пробные контрольные, проверяют домашние задания, не чураются элементарного шпионажа. В Америке таких родительниц неодобрительно прозвали "мама-вертолет": мол, вечно нависает над ребенком. Но фактически в этой системе отношений мать — не просто летучий надсмотрщик, а некое всевидя-

щее и мудрое существо, которое срослось с ребенком. Мать — разум ребенка, его воля, его мозговой центр, который принимает решения и выбирает правильный сценарий поведения. Как в анекдоте: "— Боря, домой! — Мама, я замерз? — Нет, ты хочешь кушать!" Или: "Зародыш становится человеком, когда получает диплом врача!"

В XX веке такой подход ассоциировался со стереотипным образом "еврейской мамы" из комических монологов. Но, как полагает американский исследователь Моше Хартман, подобные системы воспитания детей характерны для иммигрантов вне зависимости от национальности. Те, кто иммигрировал в другую страну уже в солидном возрасте, поневоле реализуют свои мечты о карьере через детей. (В этом плане случай Эми Чуа — нетипичный: ее отец приехал в Америку по стипендии Массачусетского технологического института, сделал блестящую научную карьеру и, видимо, учил дочерей далеко не на медные деньги[1].)

Итак, дети — продолжение родителей и обязаны поступать так, чтобы родители ими гордились. Такая установка свойственна архаическому обществу, где отдельный человек — не что иное, как часть семейного клана, механизм воспроизводства традиций. Напротив, индустриальное и постиндустриальное общество требуют, чтобы человек как можно быстрее адаптировался к новым условиям, а дети при необходимости учили родителей жить (так, поколению нынешних 50—60-летних пришлось перенимать у детей и внуков компьютерную грамотность). "Она учит воспитывать покорных винтиков системы!" — восклицают русскоязычные критики Чуа. "Запад изобретает, Китай только копирует!" — пишут американские комментаторы с затаенной досадой — как-никак Японию Китай уже обогнал. Между тем Китай в XX веке научился копировать именно потому, что остался "сиротой" в международном сообществе: Мао рассорился с СССР, Москва прекратила поставки запчастей, пришлось налаживать собственное производство. Голь на выдумки хитра.

Система запретов, составленная Эми Чуа для дочерей: невозможность увидеть, как живут другие дети (ни в гостях, ни на телеэкране), неучастие в школьных коллективных проектах, — смахивает на государственную политику изоляционизма. Неужели маме-тигрице не сказали, что коммуникабельность тоже в жизни пригодится? Или Чуа слишком боится пагубного чужого влияния на дочек?

Любопытно, что среди многочисленных статей, оспаривающих систему Чуа, целых две — с подзаголовком: "Ответ еврейской мамы". "Русская", "испаноязычная" и "афроамериканская" мамы пока отмалчиваются. "Почему среди юристов так много евреев? В семье еврейские дети вечно пререкаются со старшими. А мы, мамы,

1. Леон О. Чуа, китаец по национальности, родился на Филиппинах. Авторитетный специалист по электротехнике. Считается отцом нелинейной теории электрических цепей. Изобрел так называемую "электрическую цепь Чуа".

поощряем их как минимум бессознательно: мы сами любим поспорить не меньше, чем давать непрошеные советы", — пишет Венди Сакс. Эйлет Уолдмен рассказывает, как ее дочь Рози во втором классе победила дислексию, потому что очень любила книги: "Каждый день, когда мы приезжали за ней на курсы для дислексиков, она выходила вся зареванная, шатаясь от усталости. Мы умоляли ее бросить курсы — не могли смотреть, как она мучается. Но она уперлась". Через месяц Рози научилась читать, и родители гордятся ее самостоятельностью и силой воли.

Уолдмен и другие приверженцы "западной" модели воспитания подчеркивают: ребенок — не придаток родителя, а личность с собственной волей и собственными вкусами, которые так легко загубить чрезмерным нажимом. Но тут же на сайте газеты идет голосование: "Какая система воспитания лучше — попустительская западная или строгая китайская?" И что же вы думаете — на 2 февраля 2011 года 62 с лишним процента читателей "Уолл-стрит джорнэл" отдали предпочтение китайским строгостям. Заглянем в опрос, казалось бы, на другую тему: "Китай для США — скорее шанс на новые рынки и сотрудничество или угроза трудоустройству и экономической безопасности американцев?" Тема другая, цифры почти те же: 61 % американцев видят в Китае угрозу. Неясно, насколько совпадают группы респондентов, но вывод напрашивается: американцы видят в Китае опасного конкурента и подсознательно готовы перенимать секрет его успеха. "Уолл-стрит джорнэл" предположила: "Головокружительный успех книги Эми Чуа объясняется тем, что граждане демократических стран склонны терзаться из-за своих гипотетических недоработок и изъянов. Эта мнительность по-своему полезна. Свободные социумы, которые беспрестанно адаптируются к переменам общественного мнения, инновациям на рынке и т. д., почти нерушимы".

Тем временем китайская элита выбирает для своих детей западную модель образования. Посмотрим, чем кончится это взаимное копирование образцов.

Антониу Лобу Антунеш
António Lobo Antunes
[р. 1942]. Португальский писатель и журналист. Лауреат премии Союза писателей Португалии [1985, 1999], *Европейской литературной премии* [2000], премии Камоэнса [2007], премии Хуана Рульфо [2008] и др. Удостоен высшей награды Португалии – ордена Сантьяго-Меченосца [2005].

Автор романов *Познание ада* [*Conhecimento do Inferno*, 1980], *Трактат о птицах* [*Explicação dos Pássaros*, 1981], *Смерть Карлоса Гарделя* [*A Morte de Carlos Gardel*, 1994], *Пособие для инквизиторов* [*Manual dos Inquisidores*, 1996], *Я не видел тебя вчера в Вавилоне* [*Ontem Não te vi em Babilónia*, 2006], *Архипелаг бессонницы* [*O Arquipélago da Insónia*, 2008] и др.
Текст публикуется по изданию *Que Farei Quando Tudo Arde?* [Portugal, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2001].

Дагоберто Гилб
Dagoberto Gilb
[р. 1950]. Американский писатель. Лауреат премии Национального фонда искусств [1992], премии имени Эрнеста Хемингуэя [1993], премии Фонда Гугенхайма [1995] и др.

Автор сборников рассказов *Ставка на выигрыш и другие рассказы* [*Winners on the Pass Line and Other Stories*, 1985] и *Магия крови* [*The Magic of Blood*, 1993], романов *Последнее пристанище Мики Акуньи* [*The Last Known Residence of Mickey Acuña*, 1994] и *Цветы* [*The Flowers*, 2008], сборника новелл *Изборождившие чарами сердце* [*Woodcuts of Women*, 2001], сборника преимущественно автобиографических очерков *Крики души* [*Gritos*, 2003]. Составитель антологии *Литературная жизнь Техаса: антология произведений латиноамериканских авторов* [*Hecho en Tejas: An Anthology of Texas Mexican Literature*, 2006].
Публикуемый рассказ *Uncle Rock* взят из журнала *The New Yorker* [May 10, 2010].

Петер Фаркаш
Péter Farkas
[р. 1955]. Венгерский писатель, живет в Германии.

Автор книг *Сеть* [*Háló*, 1996], *Возмещение* [*Törlesztés*, 2004], *Креатура* [*Kreatúra*, 2009] и др.
Повесть публикуется по изданию *Nyolc perc / Acht Minuten* [Budapest: Magvető, 2007].

Фруде Грюттен
Frode Grytten
[р. 1960]. Норвежский писатель, журналист, эссеист. Лауреат Брагеровской премии [1999], премии, приуроченной к столетию Нурдаля Грига [2002], премии за язык и стиль

Автор сборника стихов *Старт* [*Start*, 1983], сборников рассказов: *Пловцы на длинные дистанции* [*Langdistansesvømmar*, 1990], *Больше, чем дождь* [*Meir enn regn*, 1995], *Попса* [*Popsongar*, 2001], романа *Летающие медведи* [*Flytande bjørn*, 2005] и др.
Текст публикуется по изданию *Песнь пчелиного улья* [*Bikubesong*. Oslo: Det Norske Samlaget, 2001].

[2003], премии Ривертона за лучший детектив [2005].

Тереза Боучкова
Tereza Boučková
Чешская сценаристка, писательница.

Автор сборника повестей *Индийский бег* [*Indiánský běh*, 1999] и др., сценариев к фильмам *Паршивцы* [*Smradi*, 2002], *Как рай земной* [*Zemský ráj to na pohled*, 2009] и др.
Текст публикуется по изданию *Rok kohouta* [Odeon, 2008].

Инна Геннадьевна Безрукова
Славист, переводчик с чешского, словацкого и польского языков.

В ее переводе публиковались произведения В. Гавела, Б. Грабала, Л. Фукса, И. Кратохвила, Р. Вайнера и др. В *ИЛ* напечатаны ее эссе об И. Коларже [1997, № 10], а также перевод повести Л. Фукса *Крематор* [1993, № 8] и *Эссе о Праге* Я. Сейферта [2005, № 3].

Маргарет Этвуд
Margaret Atwood
Канадская писательница, поэт, критик. Лауреат *Букеровской премии* [2000] и многих других национальных и международных литературных премий. С 1984 по 1986 гг. – президент англо-канадского национального ПЕН-клуба.

Автор романов *Лакомый кусочек* [*The Edible Woman*, 1969; рус. перев. 2004], *Рассказ служанки* [*The Handmaid's Tale*, 1986; рус. перев. 2006], *Слепой убийца* [*The Blind Assassin*, 2000; рус. перев. 2003], *Пенелопиада* [*Penelopiad*, 2005; рус. перев. 2006], сборников рассказов, поэтических сборников, книг для детей и др.
В *ИЛ* опубликованы ее рассказ *Восход солнца* [1997, № 6], фрагменты романа *Та самая Грейс* [1994, № 4] и эссе *Выбор профессии: "Кем ты себя воображаешь?"* [2006, № 11].
Эссе *Orphan Stories* взято из книги *Шатер* [*The Tent*. Bloomsbury, 2006].

Тадеуш Ружевич
Tadeusz Różewicz
[р. 1921]. Польский поэт, прозаик, драматург, эссеист. Лауреат нескольких международных и национальных наград, в том числе самой престижной польской премии *Нике* [2000].

Автор сборников стихов *Разговор с принцем* [*Rozmowa z księciem*, 1960], *Третье лицо* [*Twarz trzecia*, 1968], *Всегда фрагмент. recycling* [*zawsze fragment. recycling*, 1998], *Выход* [*Wyjście*, 2004], сборников рассказов *Опали с деревьев листья* [*Opadły liście z drzew*, 1955], *Подготовка к авторскому вечеру* [*Przygotowanie do wieczoru autorskiego*, 1971], полного собрания пьес в 2-х томах *Театр* [*Teatr*, 1988] и др.
На русском языке изданы сборник стихов *Беспокойство* [1963], *Избранное* [1979], *Стихотворения и поэмы* [1985], *Три пьесы* [2004], сборник рассказов *Грех* [2005].
В *ИЛ* публиковались его стихи и рассказы [1956, № 8; 1967, № 2; 1969, № 7; 1978, № 5; 1989, № 3, 1998, № 7; 2000, № 8; 2005, № 5], пьеса *Западня* [*Pułapka*, 1989, №3], поэма *Фрэнсис Бэкон, или Диего Веласкес в кресле дантиста* [*Francis Bacon czyli Diego Velázquez na Fotelu Dentystycznym*, 1998, № 7], рассказы [2005, №5], теленовеллы *Телетрендели* [2006, № 8].
Тексты публикуются по изданию *Наш старший брат* [*Nasz starszy brat*. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004].

Роса Монтеро
Rosa Montero
Испанская писательница, журналистка. Лауреат Национальной премии по журналистике [1980], премии *Примавера* [1997], премии *Гринцане Кавур* [2005] и др.

Автор романов *Обнаженная жизнь* [*La vida desnuda*, 1994], *Дочь Каннибала* [*La hija del canibal*, 1997], *Сердце Тартара* [*El corazón del Tártaro*, 2001], *Руководство по спасению мира* [*Instrucciones para salvar al mundo*, 2008] и др.
Текст публикуется по изданию *Истории страсти. О счастливых и несчастливых любовных историях, изменивших мир* [*Pasiones. Amores y desamores que han cambiado la Historia*. Suma de Letras, 2000].

Анатолий Григорьевич Вишневский
[р. 1935]. Демограф, экономист. Доктор экономических наук, действительный член РАЕН, директор Института демографии Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Кавалер французского ордена Академических пальм.

Автор более 350 научных публикаций на русском и иностранных языках, в том числе книг *Демографическая революция* [1976], *Воспроизводство населения и общество* [1982], *Серп и рубль* [1998], *Русский или прусский?* [2005], *Демографическая модернизация России, 1900–2000* [2006; в соавторстве], *Сбережение народа или депопуляция России?* [2010]; а также документального романа *Перехваченные письма*, опубликованного по-русски [2001, 2008] и по-французски [2001].
Публикуемая статья написана специально для *ИЛ*.

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премий *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [СпБ, 1996], имени А. М. Зверева [2007] и *Иностранка* [2008].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Э. Энрайт, М. Фигераса и др. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Издательские планы*. В *ИЛ* печатались ее переводы романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4], Д. Делилло *Мао II* [2003, № 11–12] и *Падающий* [2010, № 4], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Д. Эггерса [2007, № 12] и Д. Седариса [2011, № 1], эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Б. Сарло [2010, № 10], путевых очерков П. Теру [2007, № 12] и Л. Даррелла [2007, № 12], автобиографических заметок М. Спарк *Curriculum vitae* [2007, № 4], *Писем из путешествий* Р. Киплинга [2008, № 11] и др.

Наталья Самойловна Мавлевич
Переводчик с французского. Лауреат премии *Иностранка* [1999] и премии имени Мориса Ваксмахера [2001].

В ее переводах издавались произведения М. Эме, Б. Виана, М. Юрсенар, Э. Ионеско, Лотреамона, Л. Арагона, М. Жакоба, М. Шагала, Б. Шагал, А. Жарри, Э. Чорана, Э. Ажара и др. В *ИЛ* печатались *Песни Мальдодора* Лотреамона [1993, № 1], романы А. Сарразен *Перелом* [1993, № 10, 11], Э. Ажара *Голубчик* [1995, № 7], А. Нотомб *Антихриста* [2004, № 10], Дай Сы-цзе *Комплекс Ди* [2005, № 8], миниатюры Ф. Делерма [2002, № 7], пьеса Э.-Э. Шмитта *Гость* [2004, № 6], фрагменты книги П. Брюкнера *Вечная эйфория* [2006, № 3], мини-рассказы Ф. Делерма [2006, № 9], фрагменты романа Р. де Са Морейры *Книжник* [2007, № 11] и др.

Вера Владимировна Калмыкова
Поэт, филолог, кандидат филологических наук. Главный редактор издательства Русский импульс.

Автор поэтической книги *Первый сборник* [2002], книг по истории искусства и истории литературы, в том числе *Венецианская живопись XV–XVI вв.* [Белый город, 2008], *XIX век. Национальные школы* [в соавторстве с В. Темкиным; Белый город, 2008], принимает участие в издании словарей, энциклопедий и других справочных изданий по вопросам теории и истории литературы. Постоянно печатается в журналах *Нева*, *Октябрь*, *Юный художник*, в одесском альманахе *Дерибасовская-Ришельевская* и др.

Переводчики номера

Екатерина Александровна Хованович
Переводчик с испанского и португальского языков. Победитель первого конкурса *Современная зарубежная художественная литература*, проводившегося Издательской программой Института *Открытое общество* [Фонд Сороса; 1998], призер конкурса переводчиков поэзии Пабло Неруды, проводимого Фондом Пабло Неруды, посвященного столетию поэта [2004].

В ее переводе печатались произведения М. Скляра, Х. Кортасара, Х. Х. Арреолы, Г. Мистраль, П. Неруды, В. Уидобро и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Андрей Александрович Светлов
[р. 1980]. Переводчик с английского.

В его переводе издавались учебники и монографии по филлотаксису, молекулярной биологии, биоинформатике и материаловедению. В *ИЛ* публикуется впервые.

Юрий Павлович Гусев
[р. 1939]. Литературовед, переводчик с венгерского, доктор филологических наук. Лауреат премии Тибора Дёри [1997], международной литературной премии *Памятный меч Балинта Балашши* [2008], кавалер ордена *Золотой Почетный Крест* Венгерской Республики [2009].

В его переводе были опубликованы романы *Вина* и *Милосердие* Л. Немета, *Старомодная история* М. Сабо, *Градоосновательница* и *Соучастник* Д. Конрада, романы *Без судьбы*, *Кадиш по нерожденному ребенку*, *Самоликвидация* и повести *По следам*, *Английский флаг* и *Протокол* И. Кертеса. В *ИЛ* в его переводе были напечатаны повесть Д. Конрада *Тяжелый день* [1991, № 4], дневники Шандора Мараи [1993, № 12], рассказы М. Корниша [1995, № 3], Л. Дарваши [1997, № 2], Л. Краснахоркаи 2007, № 12], роман С. Эрдега *Безымянная могила* [1998, № 5], главы из романа *Гунны в Париже* Д. Ийеша [2003, № 7], главы из романа *Белый король* Д. Драгомана [2008, № 7], фрагменты романа И. Силади *Камень в сухом колодце* [2010, № 5], стихи Д. Петри [1998, № 10], И. Оравца [2001, № 3], Б. Балашши [2006, № 4], Ф. Кёльчеи [2009, № 12], Л. Сабо [2010, № 8] и др.

Вера Дмитриевна Дьяконова
Переводчик с норвежского, преподаватель.

В ее переводах издавались произведения современных норвежских писателей Н. Фробениуса, В. Йорт, А. Б. Рагде, пьесы Ю. Фоссе и книги для детей К. Хагерюпа и Х. Ховланда. В *ИЛ* опубликован ее перевод рассказа Ю. Фоссе *Я не мог тебе сказать* [2005, № 11].

Нина Яковлевна Фальковская
Переводчик с чешского и английского языков.

В ее переводе опубликованы сборники рассказов и эссе *Банщик* Р. Вайнера, *Мои опасные путешествия* И. Климы, стихи В. Ренча, И. М. Иоруса и книги по искусству, в том числе *Музеи Берлина* К. Эйслер и *Тициан* Ф. Педрокко.

Тамара Яковлевна Казавчинская
Переводчик с английского и польского языков. Обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2009].

В ее переводе выходили эссе Д. Дефо, У. М. Теккерея, Ш. Бронте, Дж. Б. Пристли, Г. Грина, рассказы и повести У. Коллинза, Э. Бульвера-Литтона, Р. Киплинга, С. Моэма, Г. Лавкрафта, М. Спарк и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны эссе У. М. Теккерея [1986, № 12], главы книги *Западный канон* Х. Блума [1998, № 12], фрагменты книги Г. Стайн *Париж Франция* [1999, № 7], главы *Автобиографии* Б. Рассела [2000, № 12], английские эссе *Национальные предрассудки* [2007, № 8], повесть Д. Лоджа *Горькая правда* [2009, № 4], фрагмент книги Г. К. Честертона *Джордж Бернард Шоу* [2010, № 8], главы из книги Д. Лоджа *Автора на сцену!* [2011, № 1] и др.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986], польского ПЕН-клуба [2004], польского Института Книги *Трансатлантик* [2008].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, С. Хвина, Г. Кралль, Е. Анджеевского, М. Хласко, Е. Пильха, О. Токарчук, П. Хюлле и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3—4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7—9], М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], П. Хюлле *Касторп* [2005, № 12], повестей Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и З. Ментцеля *Все языки мира* [2006, № 10], теленовелл Т. Ружевича *Телетрендели* [2006, № 8], фрагментов из книги Я. Андермана *Фотографии* [2006, № 8], рассказа Я. Ю. Щепанского [2008, № 3], рассказов Е. Пильха [2009, № 2], фрагментов книги В. Шимборской *Литературная почта, или Как стать / не стать писателем* [2009, № 7], фрагментов романа А. Барта *Фабрика мухоловок* [2010, № 5], рассказов З. Хаупта [2010, № 8] и др.

Марина Игоревна Киеня
Переводчик с испанского и каталанского языков, член Союза писателей г. Москвы.

В ее переводе публиковались рассказы С. Эсприу, П. Кальдерса, Ф. Аялы и М. Ауба, повесть М. де Педролу *Временное пристанище*, роман Х. Пардо *А теперь пора умирать*, философский трактат Х. Антонио Марины *Анатомия страха* и др.
В *ИЛ* в ее переводе опубликованы рассказы М. Барбаль [2010, № 11], а также документальная проза Ж. Пла и Ж. М. Эспинаса [2010, № 11] и др.

В оформлении обложки использован фрагмент картины бельгийского художника Фернана Бутона [1901–1973] *Рабочая семья* [1919]

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ; телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.04.2011
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 31.
Тираж 7000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости"
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

[6] 2011

РОМАН АЛЕКСАНДАРА ХЕМОНА “ПРОЕКТ “ЛАЗАРЬ”” / ДИТЕР ВЕЛЛЕРСХОФФ, МИЛЕНКО ЕРГОВИЧ, ЧАРЛЬЗ БЕРНСТИН И МАРИОН ИНГРЭМ В РУБРИКЕ “ДВАДЦАТЫЙ ВЕК. КАЗАЛОСЬ, ВОЙН НЕ БУДЕТ...” / НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ МАРИО ВАРГАСЫ ЛЬОСЫ “ПОХВАЛА ЧТЕНИЮ И ЛИТЕРАТУРЕ” / “ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА”: АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ, ИСАЙЯ БЕРЛИН, АРЛЕН БЛЮМ